

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен

АНГЛИЯ (1852 – 1864)

ГЛАВА I. ЛОНДОНСКИЕ ТУМАНЫ

Когда на рассвете 25 августа 1852 я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замарано-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его.

Весь под влиянием мыслей, с которыми я оставил Италию, болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом, я не мог ясно взглянуть на то, что делал. Мне будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомых истин для того, чтоб снова поверить тому, что я давно знал или должен был знать.

Я изменил своей логике и забыл, как розен современный человек в мнениях и делах, как громко начинает он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы.

Месяца два продолжались ненужные встречи, бесплодное искание, разговоры тяжелые и совершенно бесполезные, и я все чего-то ожидал... чего-то ожидал. Но моя реальная натура не могла остаться долго в этом призрачном мире, я стал мало-помалу разглядывать, что здание, которое я выводил, не имеет грунта, что оно непременно рухнет.

Я был унижен, мое самолюбие было оскорблено, я сердился на самого себя. Совесть угрызала за святотатственную порчу горести, за год суеты, и я чувствовал страшную, невыразимую усталость... Как мне была нужна (3) тогда грудь друга, которая приняла бы без суда и осуждения мою исповедь, была бы несчастна – моим несчастьем – но кругом стлалась больше и больше пустыня, никого близкого... ни одного человека... А может, это было и к лучшему.

Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне.

Решившись остаться, я начал с того, что нашел себе дом в одной из самых дальних частей города, за Режент-парком, близ Примроз-Гиля.

Дети оставались в Париже, один Саша был со мною. Дом на здешний манер был разделен на три этажа. Весь средний этаж состоял из огромного, неудобного, холодного drawing-room<sup>1</sup>. Я его превратил в кабинет. Хозяин дома был скульптор и загромоздил всю эту комнату разными статуэтками и моделями... Бюст Лолы Монтеc стоял у меня пред глазами вместе с Викторией.

Когда на второй или третий день после нашего переезда, разобравшись и устроившись, я взшел утром в эту комнату, сел на большие кресла и просидел часа два в совершеннейшей тишине, никем не тормозимый, я почувствовал себя как-то свободным, – в первый раз после долгого, долгого времени. Мне было не легко .от этой свободы, но все же я с приветом смотрел из окна на мрачные деревья парка, едва сквозившие из-за дымчатого тумана, благодаря их за покой.

По целым утрам сживал я теперь один-одинехонек, часто ничего не делая, даже не читая, иногда прибежал Саша, но не мешал одиночеству. Гауг, живший со мной, без крайности никогда не входил до обеда, обедали мы в седьмом часу. В этом досуге разбирал я факт за фактом все бывшее, слова и письма, людей и себя; ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлеченье другими. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот... Были тяжелые минуты, и не раз слеза скатывалась по щеке; но были и другие, не радостные, но мужественные; я чувствовал в себе силу, я не надеялся (4) ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился независимее от всех.

Пустота кругом скрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, то есть не искал с ними истинного сближения; я и не избегал никого, но лица мне сделались равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. Я был чужой между посторонними, сочувствовал больше одним, чем другим, но не был ни с кем тесно соединен. Оно и прежде так было; но я не замечал этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарад кончился, домино были сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел другие черты, не те, которые я предполагал. Что же мне было делать? Я не мог не показывать, что я многих меньше люблю, то есть больше знаю; но не чувствовать этого я не мог, и, как я сказал,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
эти открытия не отняли у меня мужества, но скорее укрепили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Его образ жизни, расстояния, климат, самые массы народонаселения, в которых личность пропадает, все это способствовало к тому вместе с отсутствием континентальных развлечений. Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь, точно так же как здешний воздух, вредна слабому, хилому, ищущему опоры вне себя, ищущему привет, участие, внимание; нравственные легкие должны быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отделять из продывленного тумана кислород. Масса спасается завоевыванием себе насущного хлеба, купцы – недосугом стяжания, все – суетой дел; но нервные, романтические натуры, любящие жить на людях, умственно тянуться и праздно млет, пропадают здесь со скуки, впадают в отчаяние.

Одиноко бродя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным коридорам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями – я много прожил.

Обыкновенно вечером, когда мой сын ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни к кому не заходил; читал газеты, всматривался в тавернах в незнакомое племя, останавливался на мостах через Темзу. (5)

С одной стороны прорезываются и готовы исчезнуть сталактиты парламента, с другой – опрокинутая миска св. Павла... и фонари... фонари без конца в обе стороны. Один город, сытый, заснул; другой, голодный, еще не проснулся пусто, только слышна мерная поступь полисмена с своим фонариком. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душе делается тише и мирнее. И вот за все за это я полюбил этот страшный муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умерших с голода, возле отелей, в которых нельзя обедать, не истративши двух фунтов.

Но такого рода переломы, как бы быстро ни приходили, не делаются разом, особенно в сорок лет. Много времени прошло, пока я сладил с новыми мыслями. Решившись на труд, я долго ничего не делал или делал не то, что хотел.

Мысль, с которой я приехал в Лондон, – искать суда своих – была верна и справедлива. Я это и теперь повторяю с полным и обдуманном сознанием. К кому же, в самом деле, нам обращаться за судом, за восстановлением истины? за обличением лжи?

Не идти же нам тягаться перед судом наших врагов, судящих по другим началам, по законам, которых мы не признаем.

Можно разведаться самому, можно, без сомнения. Самоуправство вырывает силой взятое силой и тем самым приводит к равновесию; месть такое же простое и верное человеческое чувство, как благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняют. Может же случиться, что человеку в объяснении – главное дело, может быть ему восстановление правды дороже мести.

Ошибка была не в главном положении – она была в прилагательном; для того чтоб был суд своих, надобно было прежде всего иметь своих. Где же они были у меня?..

Свои у меня были когда-то в России. Но я так вполне был отрезан на чужбине, надобно было во что бы ни стало снова завести речь с своими – хотелось им рассказать, что тяжело лежало на сердце. Писем не пропускают – книги сами пройдут; писать нельзя – буду печатать, и я принялся мало-помалу за "Былое и думы" и за устройство русской типографии. (6)

## ГЛАВА II. ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

Центральный европейский комитет. – Маццини. – Ледрю-Роллен. – Кошут.

Издавая прошлую "Полярную звезду", я долго думал – что следует печатать из лондонских воспоминаний и что лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложил, теперь я печатаю из нее несколько отрывков.

Что же изменилось? – 59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партии уяснились,  
Страница 2

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
одни окрепли, другие улетучились, с напряженным вниманием, останавливая не только всякое суждение, но самое биение сердца, следили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то вырезывались из него с такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымом. На сию минуту он рассеялся, и на сердце легче, все дорогие головы целы!

А еще дальше за этим дымом, в тени, без шума битв, без ликований торжества, без лавровых венков одна личность достигла колоссальных размеров.

Осыпaeмый проклятиями всех партий: обманутым плебеем, диким попом, трусом-буржуа и пиэмонтской дрянью; оклеветанный всеми органами всех реакций, от папского и императорского "монитора" до либеральных кастратов Кавура и великого евнуха лондонских менял "Теймса" (который не может назвать имени Маццини, не прибавив площадной брани), - он остался не только... "неколебим пред общим заблуждением"... но благословляющим с радостью и восторгом врагов и друзей, исполнявших его мысль, его план. Указывая на него, как на какого-то Абадонну,

Народ, таинственно спасаемый тобою,

Ругался над твоей священной сединою...

...Но возле него стоял не Кутузов, а Гарибальди. В лице своего героя, своего освободителя Италия не разрывалась с Маццини. Как же Гарибальди не отдал ему полвенка своего? Зачем не признался, что идет с ним рука в руку? Зачем оставленный триумvir римский не предъявил своих прав? Зачем он са"ф просил не поми(7)нать его, и зачем народный вождь, чистый, как отрок, молчал и лгал разрыв?

Обоим было что-то дороже их личностей, их имени, их славы - Италия!

И пошлая современность их не поняла. У ней не хватило емкости на столько величия; бухгалтерской книги их не достало до того, чтоб подвести итог таких credit и debet!2

Гарибальди сделался еще больше "лицом из Корнелия Непота";3 он так антично велик в своем хуторе, так простодушно, так чисто велик, как описание Гомера, как греческая статуя нигде ни риторички, ни декораций, ни дипломаций, - в эпоху они были не нужны; когда она кончилась и началось продолжение календаря, тогда король отпустил его, как отпускают доvezшего ящика, и, сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголял Австрию колоссальной неблагодарностью; а Гарибальди и не рассердился, он, улыбаясь, с пятидесятью скудами в кармане вышел из дворцов стран, покоренных им, предоставляя дворовым усчитывать его расходы и рассуждать о том, что он испортил шкуру медведя. Пускай себе тешатся, половина великого дела сделана лишь бы Италию сколотить в одно и прогнать белых кретинов.

Были минуты тяжелые для Гарибальди. Он увлекается людьми; как он увлекся А. Дюма, так увлекается Виктором-Эммануилом; не деликатность короля огорчает его; король это знает и, чтоб задобрить его, посылает фазанов, собственноручно убитых, цветы из своего сада и любовные записки, подписанные: "Sempre il tuo amico Vittorio"4.

Для Маццини - люди не существуют, для него существует дело, и притом одно дело; он сам существует, "живет и движется" только в нем. Сколько ни посылай ему король фазанов и цветов, он его не тронет. Но он сейчас соединится не только с ним, которого он считает за доброго, но пустого человека, - но с его маленьким Талейраном, которого он вовсе не считает ни за доброго, ни за порядочного человека. Маццини - аскет, Кальвин, (8) Прочида итальянского освобождения. Односторонний, вечно занятый одной идеей, вечно на страже и готовый, Маццини с тем "упорством и терпением, с которым он создал, из разбросанных людей и неясных стремлений, плотную партию и, после десяти неудач, вызвал Гарибальди и его войско, полсвободной Италии и живую, непреложную надежду на ее единство, - Маццини не спит. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видят худую, печальную руку Маццини, указывающую на Рим, и они еще пойдут туда!

Я дурно сделал, что выпустил, в напечатанном отрывке, несколько страниц об Маццини; его усеченная фигура вышла не так ясно, я остановился именно на его

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
размолвке с Гарибальди в 1854 и на моем разномыслии с ним. Сделано было это мною из деликатности, но эта деликатность мелка для Маццини. О таких людях нечего умалчивать, их щадить нечего!

После своего возвращения из Неаполя он написал мне записку; я поспешил к нему, сердце щемило, когда я его увидел; я все же ждал найти его грустным, оскорбленным в своей любви, положение его было в высшей степени трагическое; я действительно его нашел телесно состаревшимся и помолоделым душой; он бросился ко мне, по обыкновению протягивая обе руки, со словами:

"Итак, наконец-то, сбывается!.." - в его глазах был восторг, и голос дрожал.

Он весь вечер рассказывал мне о времени, предшествовавшем экспедиции в Сицилию, о своих сношениях с Виктором-Эммануилом, потом о Неаполе. В увлечении, в любви, с которыми он говорил о победах, о подвигах Гарибальди, было столько же дружбы к нему, как в его брани за его доверчивость и за неумение распознавать людей.

Слушая его, я хотел поймать одну ноту, один звук обиженного самолюбия, и не поймал; ему грустно, но грустно, как матери, оставленной на время возлюбленным сыном, она знает, что сын воротится, и знает больше этого - что сын счастлив; это покрывает все для нее!

Маццини исполнен надежд, с Гарибальди он ближе, чем когда-нибудь. Он с улыбкой рассказывал, как толпы неаполитанцев, подбитые агентами Кавура, окружили (9) его дом с криками: "Смерть Маццини!" Их, между прочим, уверили, что Маццини "бурбонский республиканец". "У меня в это время было несколько человек наших и один молодой русский, он удивлялся, что мы продолжали прежний разговор. "Вы не опасайтесь, - сказал я ему в успокоение, - они меня не убьют, они только кричат!"

Нет, таких людей нечего щадить!

31 января 1861.

В Лондоне я спешил увидеть Маццини не только потому, что он принял самое теплое и деятельное участие в несчастьях, которые пали на мою семью, но еще и потому, что я имел к нему особое поручение от его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапо, Козенц, Бертани и другие были недовольны направлением, которое давалось из Лондона; они говорили, что Маццини плохо знает новое положение, жаловались на революционных царедворцев, которые, чтоб подслужиться, поддерживали в нем мысль, что все готово для восстания и ждет только сигнала. Они хотели внутренних преобразований, им казалось необходимым ввести гораздо больше военного элемента и иметь во главе стратегов, вместо адвокатов и журналистов. Для этого они желали, чтоб Маццини сблизился с талантливymi генералами вроде Уллоа, стоявшего возле старика Пепе в каком-то недовольном отдалении.

Они поручили мне рассказать все это Маццини долею потому, что они знали, что он имел ко мне доверие, а долею и потому, что мое положение, независимое от итальянских партий, развязывало мне руки.

Маццини меня принял как старого приятеля. Наконец речь дошла до порученного мне от его друзей. Он меня сначала слушал очень внимательно, хотя и не скрывал, что ему не совсем нравится оппозиция; но когда из общих мест я дошел до частных и личных вопросов, тогда он вдруг прервал мою речь:

- Это совершенно не так, тут нет ни слова дельного!

- Однако, - заметил я, - нет полутора месяца, как я оставил Геную, и в Италии был два года без выезда, и могу сам подтвердить многое из того, что говорил ему от имени друзей. (10)

- Оттого-то вы это и говорите, что вы были в Генуе. Что такое Генуя? Что вы могли там слышать? Мнение одной части эмиграции. Я знаю, что она так думает, я и то знаю, что она ошибается. Генуя очень важный центр, но это одна точка, а я знаю всю Италию; я знаю потребность каждого местечка от Аbruцц до Форальберга. Дружья наши в Генуе разобщены со всем полуостровом, они не могут судить об его потребностях, об общественном настроении.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Я сделал еще два-три опыта, но он уже был en garde<sup>5</sup>, начинал сердиться, нетерпеливо отвечал... Я замолчал с чувством грусти; такой нетерпимости я прежде в нем не замечал.

- Я вам очень благодарен, - сказал он, подумав. - Я должен знать мнение наших друзей; я готов взвесить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нет, это - другое дело; на мне лежит большая ответственность не только перед совестью и богом, но перед народом итальянским.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывал свое 3 февраля 1853 года; дело для него было решенное, а друзья его не были с ним согласны.

- Знакомы вы с Ледрю-Ролленом и Кошуттом?

- Нет.

- Хотите познакомиться?

- Очень.

- Вам надобно с ними повидаться, я вам напишу к обоим несколько слов. Расскажите им, что вы видели, как оставили наших. Ледрю-Роллен, - продолжал он, взяв перо и начав записку, - самый милый человек в свете, но француз jusqu'au bout des ongles: он твердо верует, что без революции во Франции Европа не двинется, - Le peuple initiateur!..<sup>7</sup> А где французская инициатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшие Францию, шли из Италии или из Англии. Вы увидите, что новую эру революции начнет Италия! Как вы думаете?

- Признаюсь вам, что я этого не думаю. (11)

- Что же, - сказал он, улыбаясь, - славянский мир?

- Я этого не говорил; не знаю, на чем Ледрю-Роллен основывает свои верования, но весьма вероятно, что ни одна революция не удастся в Европе, пока Франция в том состоянии протрации, в которой мы ее видим.

- Так и вы еще находитесь под prestigeм Франции?

- Под престижем ее географического положения, ее страшного войска и ее естественной опоры на Россию, Австрию и Пруссию<sup>8</sup>.

- Франция спит, мы ее разбудим.

Мне оставалось сказать: "Дай бог, вашими устами мед пить!"

Кто из нас был прав, на ту минуту - доказал Гарибальди. В другом месте я говорил о моей встрече с ним в вест-индских доках, на его американском корабле "Commonwealth".

Там за завтраком у него, в присутствии Орсини, Гауга и меня, Гарибальди, говоря с большой дружбой о Маццини, высказывал открыто свое мнение о 3 февраля 1853 (это было весной 1854) и тут же говорил о необходимости соединения всех партий в одну военную

В тот же день, вечером, мы встретились в одном доме; Гарибальди был не весел, Маццини вынул из кармана лист "Italia del Popolo" и показал ему какую-то статью. Гарибальди прочитал ее и сказал:

- Да, написано бойко, а статья превредная: я скажу откровенно: за такую статью стоит журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всеми силами раздор между нами и Пиэмонтом в то время, когда мы только имеем одно войско войско сардинского короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступления.

Маццини отстаивал журнал; Гарибальди сделался еще скучнее.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Когда он собирался ехать с корабля, он говорил, что ночью будет поздно возвращаться в доки и что он поедет спать в отель, я предложил вместо отеля ехать спать ко мне, Гарибальди согласился.

После этого разговора, осажденный со всех сторон неустрашимым легионом дам, Гарибальди ловкими мар(12)шами и контрмаршами выпутался из хоровода и, подойдя ко мне, шепнул мне на ухо:

- Вы до которого часа останетесь?
- Поедьте хоть сейчас.
- Сделайте одолжение.

Мы поехали; на дороге он сказал мне:

- Как мне жаль, как мне бесконечно жаль, что Перро так увлекается и с благороднейшим, чистейшим намерением делает ошибки. Я не мог вытерпеть давеча: тешится тем, что выучил своих учеников дразнить Пиэмонт. Ну что же, если король бросится совсем в реакцию, свободное слово итальянское смолкнет в Италии и последняя опора пропадет. Республика, республика! Я всегда был республиканец, всю жизнь, да дело теперь не в республике. Массы итальянские я знаю лучше Маццини, я жил с ними, их жизнью. Маццини знает Италию образованную и владеет ее умами; но войска, чтоб выгнать австрийцев и папу, из них не составишь; для массы, для народа итальянского одно знамя и есть - единство и изгнание иноземцев! А как же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственно сильное королевство в Италии, которое, из каких бы причин ни было, хочет стать за Италию и боится; вместо того чтоб его звать к себе, его толкают прочь и обижают. В тот день, в который молодой человек поверит, что он ближе к эрцгерцогам, чем к нам, судьбы Италии затормозятся на поколение или на два.

На другой день было воскресенье, он ушел гулять с моим сыном, сделал у Калдези его дагерротип и принес мне его в подарок, а потом остался обедать.

Середь обеда меня вызывает один итальянец, посланный от Маццини, он с утра отыскивал Гарибальди; я просил его сесть с нами за стол.

Итальянец, кажется, хотел говорить с ним наедине, я предложил им идти ко мне в кабинет.

- У меня никаких секретов нет, да и чужих здесь нет, говорите, - заметил Гарибальди.

В продолжение разговора Гарибальди еще раз повторил, и притом раза два, то же, что мне говорил, когда мы ехали домой. (13)

Он внутренне был совершенно согласен с Маццини, но расходился с ним в исполнении, в средствах. Что Гарибальди лучше знал массы, в этом я совершенно убежден. Маццини, как средневековый монах, глубоко знал одну сторону жизни, но другие создавал; он много жил мыслью и страстью, но не на дневном свете; он с молодых лет до седых волос жил в карбонарских юнтах, в кругу гонимых республиканцев, либеральных писателей; он был в сношениях с греческими гетериями и с испанскими exaltados<sup>10</sup>, он конспирировал с настоящим Каваньяком и поддельным Ромарино, с швейцарцем Джемсом Фази, с польской демократией, с молдо-валахами... Из его кабинета вышел благословенный им восторженный Конарский, пошел в Россию и погибнул. Все это так, но с народом, но с этим solo interprete della legge di-vina<sup>11</sup>, но с этой густой толщей, идущей до грунта, то есть до полей и плуга, до диких калабрийских пастухов, до факинов и лодочников, он никогда не был в сношениях, а Гарибальди не только в Италии, но везде жил с ними, знал их силу и слабость, горе и радость; он их знал на поле битвы и середь бурного океана и умел, как Бем, сделать легендой, в него верили больше, чем в его патрона Сан-Джузеппе. Один Маццини не верил ему.

И Гарибальди, уезжая, сказал:

- Я еду с тяжелым сердцем: я на него не имею влияния, и он опять предпримет что-нибудь до срока!

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Гарибальди угадал, не прошло года, и снова две-три неудачные вспышки; Орсини был схвачен пизмонтскими жандармами, на пизмонтской земле, чуть не с оружием в руках, в Риме открыли один из центров движения, и та удивительная организация, о которой я говорил<sup>12</sup>, разрушилась. Испуганные правительства усилили полицию; свирепый трус, король неаполитанский, снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпел и напечатал свое известное письмо. "В этих несчастных восстаниях могут участвовать или сумасшедшие, или враги итальянского дела". (14)

Может, письма этого и не следовало печатать. Маццини был побит и несчастен, Гарибальди наносил ему удар... Но что его письмо совершенно последовательно с тем, что он мне говорил и при мне – в этом нет сомнения.

На другой день я отправился к Ледрю-Роллену – он меня принял очень приветливо. Колоссальная, импозантная фигура его – которой не надобно разбирать en détail<sup>13</sup>, – общим впечатлением располагала в его пользу. Должно быть, он был и bon enfant и bon vivant<sup>14</sup>. Морщины на лбу и проседь показывали, что заботы и ему не совсем даром прошли. Он потратил на революцию свою жизнь и свое состояние – а общественное мнение ему изменило. Его странная, непрямая роль в апреле и мае, слабая в Июньские дни – отдалила от него часть красных не сблизив с синими. Имя его, служившее символом и произносимое иной раз с ошибкой<sup>15</sup> мужиками, но все же произносимое, – реже было слышно. Самая партия его в Лондоне таяла больше и больше, особенно когда и Феликс Пиа открыл свою лавочку в Лондоне.

Усевшись покойно на кушетке, Ледрю-Роллен начал меня гарангировать<sup>16</sup>.

– Революция, – говорил он, – только и может лучиться (rayonner) из Франции. Ясно, что, к какой бы стране вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать нам – для вашего собственного дела. Революция только может выйти из Парижа. Я очень хорошо знаю, что наш друг Маццини не того мнения, он увлекается своим патриотизмом. Что может сделать Италия с Австрией на шее и с Наполеоновыми солдатами в Риме? Нам надобно Париж, Париж – это Рим, Варшава, Венгрия, Сицилия, и, по счастью, Париж совершенно готов – не ошибайтесь совершенно готов! Революция сделана – la révolution est faite: cest clair (15) comme bonjour<sup>17</sup>. Я об этом и не думаю, я думаю о последствиях, о том, как избежать прежних ошибок...

Таким образом он продолжал с полчаса и вдруг, спохватившись, что он и не один и не перед аудиторией, добродушнейшим образом сказал мне:

– Вы видите, мы с вами совершенно одинакового мнения.

Я не раскрывал рта. Ледрю-Роллен продолжал:

– Что касается до материального факта революции, – он задержан нашим безденежьем, средства наши истощились в этой борьбе, которая идет годы и годы. Будь теперь, сейчас в моем распоряжении сто тысяч франков – да, мизерабельных<sup>18</sup> сто тысяч франков – и послезавтра, через три дня революция в Париже.

– Да как же это, – заметил я, наконец, – такая богатая нация, совершенно готовая на восстание, не находит ста, тысяч, полмиллиона франков.

Ледрю-Роллен немного покраснел, но, не запинаясь, отвечал:

– Pardon, pardon, вы говорите о теоретических предположениях – в то время как я вам говорю о фактах, о простых фактах.

Этого я не понял.

Когда я уходил, Ледрю-Роллен, по английскому обычаю, проводил меня до лестницы и еще раз, подавая мне свою огромную, богатырскую руку, сказал:

– Надеюсь, это не в последний раз, я буду всегда рад... Итак, au revoir<sup>19</sup>.

– В Париже, – ответил я.

– Как в Париже?

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Вы так убедили меня, что революция за плечам" что я, право, не знаю, успею ли я побывать у вас здесь.

Он смотрел на меня с недоумением, и потому я поторопился прибавить:

- По крайней мере я этого искренно желаю - в этом, думаю, вы не сомневаетесь.

- Иначе вы не были бы здесь, - заметил хозяин, и мы расстались.

Кошута в первый раз я видел собственно во второй раз. Это случилось так: когда я приехал к нему, меня (16) встретил в парлоре<sup>20</sup> военный господин, в полувенгерском военном костюме, с извещением, что г. губернатор не принимает.

- Вот письмо от Маццини.

- Я сейчас передам. Сделайте одолжение. - Он указал мне на трубку и потом на стул. Через две-три минуты он возвратился.

- Господин губернатор чрезвычайно жалеет, что не может вас видеть сейчас, он оканчивает американскую почту... Впрочем, если вам угодно подождать, то он будет очень рад вас принять.

- А скоро он кончит почту?

- К пяти часам непременно.

- Я взглянул на часы - половина второго.

- Ну, трех часов с половиной я ждать не стану.

- Да вы не приедете ли после?

- Я живу не меньше трех миль от Ноттинг-Гиля. Впрочем, - прибавил я, - у меня никакого спешного дела к господину губернатору нет.

- Но господин губернатор будет очень жалеть.

- Так вот мой адрес.

Прошло с неделю, вечером является длинный господин с длинными усами венгерский полковник, с которым я летом встретился в Лугано.

- Я к вам -от господина губернатора: он очень беспокоится, что вы у него не были.

- Ах, какая досада. Я ведь, впрочем, оставил адрес. если б я знал время, то непременно поехал бы к Кошуту сегодня - или... - прибавил я вопросительно, - как надобно говорить, к господину губернатору?

- Zu dem Olten, zu dem Olten<sup>21</sup>, - заметил, улыбаясь, гонвед. - Мы его между собой всё называем der Olte. Вот увидите человека!.. такой головы в мире нет, не было и... - полковник внутренне и тихо помолился Кошуту.

- Хорошо, я завтра в два часа приеду.

- Это невозможно, завтра среда, завтра утром старик принимает одних наших, одних венгерцев.

Я не выдержал, засмеялся, и полковник засмеялся.

- Когда же ваш старик пьет чай?

- В восемь часов вечера. (17)

- Скажите ему, что я приеду завтра в восемь часов, но, если нельзя, вы мне напишите.



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
- Он будет очень рад - я вас жду в приемной.

На этот раз, как только я позвонил, длинный полковник меня встретил, а короткий полковник тотчас повел в кабинет Кошута.

Я застал Кошута, работающего за большим столом; он был в черной бархатной венгерке и в черной шапочке; Кошут гораздо лучше всех своих портретов и бюстов; в первую молодость он был, вероятно, красавцем и должен был иметь страшное влияние на женщин особенным романически задумчивым характером лица. Черты его не имеют античной строгости, как у Маццини, Саффи, Орсини, но (и, может, именно поэтому он был роднее нам, жителям севера) в печально кротком взгляде его сквозил не только сильный ум, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и несколько восторженная речь окончательно располагали в его пользу. Говорит он чрезвычайно хорошо, хотя и с резким акцентом, равно остающимся в его французском языке, немецком и английском. Он не отделяется фразами, не опирается на битые места; он думает с вами, выслушивает и развивает свою мысль, почти всегда оригинально, потому что он свободнее других от доктрины и от духа партии. Может, в его манере доводов и возражений виден адвокат, но то, что он говорит, - серьезно и обдуманно.

Кошут много занимался до 1848 года практическими делами своего края; это дало ему своего рода верность взгляда. Он очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон, что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут, лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным. И вот причина, между прочим, почему Кошут уступает Маццини в огненной деятельности, и почему, с другой стороны, Маццини делает непрерывные опыты, натягивает попытки, а Кошут их не делает вовсе.

Маццини глядит на итальянскую революцию - как фанатик; он верует в свою мысль об ней; он ее не подвергает критике и стремится *oia e sempre*<sup>22</sup>, как стрела, пущенная из лука. Чем меньше обстоятельств он берет (18) в расчет, тем прочнее и проще его действие, тем чище его идея.

Революционный идеализм Ледрю-Роллена тоже не сложен, его можно весь прочесть в речах Конвента и в мерах Комитета общественного спасения. Кошут принес с собою из Венгрии не общее достояние революционной традиции, не апокалиптические формулы социального доктринаризма, а протест своего края, который он глубоко изучил, - края нового, неизвестного ни в отношении к его потребностям, ни в отношении к его дико-свободным учреждениям, ни в отношении к его средневековым формам. В сравнении с своими товарищами Кошут был специалист.

Французские рефюжье<sup>23</sup>, с своей несчастной привычкой рубить плеча и все мерить на свою мерку, сильно упрекали Кошута за то, что он в Марселе выразил свое сочувствие к социальным идеям, а в речи, которую произнес в Лондоне с балкона *Mansion House*, с глубоким уважением говорил о парламентаризме.

Кошут был совершенно прав. Это было во время его путешествия из Константинополя, то есть во время самого торжественно-эпического эпизода темных лет, шедших за 1848 годом. Североамериканский корабль, вырвавший его из занесенных когтей Австрии и России, с гордостью плыл с изгнанником в республику и остановился у берегов другой. В этой республике ждал уже приказ полицейского диктатора Франции, чтоб изгнанник не смел ступить на землю будущей империи. Теперь это прошло бы так; но тогда еще не все были окончательно надломлены, толпы работников бросились на лодках к кораблю приветствовать Кошута, и Кошут говорил с ними очень натурально о социализме. Картина меняется. По дороге одна свободная сторона выпросила у другой изгнанника к себе в гости. Кошут, всенародно благодаря англичан за прием, не скрыл своего уважения к государственному быту, который его сделал возможным. Он был в обоих случаях совершенно искренен; он не представлял вовсе такой-то партии; он мог, сочувствуя с французским работником, сочувствовать с английской конституцией, не сделавшись орлеанистом и не предав республики. Кошут это знал и отрицательно (19) превосходно понял свое положение в Англии относительно революционных партий; он не сделался ни гюкистом, ни пиччинистом, он держал себя равно вдалеке от Ледрю-Роллена и от Луи Блана. С Маццини и Ворцелем у него был общий *terrain*<sup>24</sup>, смежность границ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; с ними он и сошелся с первыми.

Но Маццини и Ворцель давным-давно были, по испанскому выражению, *a francesados*<sup>25</sup>. Кошут, упираясь, туго поддавался им, и очень замечательно, что он уступал по той

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
мере, по которой надежды на восстание в Венгрии становились бледнее и бледнее.

Из моего разговора с Маццини и Ледрю-Ролленом видно, что Маццини ждал революционный толчок из Италии и вообще был очень недоволен Францией, но из этого не следует, чтоб я был неправ, назвав и его afrancesado. Тут, с одной стороны, в нем говорил патриотизм, не совсем согласный с идеей братства народов и всеобщей республики; с другой – личное негодование на Францию за то, что в 1848 она ничего не сделала для Италии, а в 1849 все, чтоб погубить ее. Но быть раздраженным против современной Франции не значит быть вне ее духа; французский революционаризм имеет свой общий мундир, свой ритуал, свой символ веры; в их пределах можно быть специально политическим либералом или отчаянным демократом, можно, не любя Франции, любить свою родину на французский манер; все это будут вариации, частные случаи, но алгебраическое уравнение останется то же.

Разговор Кошута со мной тотчас принял серьезный оборот, в его взгляде и в его словах было больше грустного, нежели светлого; наверное, он не ждал революции завтра. Сведения его об юго-востоке Европы были огромны, он удивлял меня, цитируя пункты екатерининских трактатов с Портой.

– Какой страшный вред вы сделали нам во время нашего восстания, – сказал он, – и какой страшный вред вы сделали самим себе. Какая узкая и противуславянская политика – поддерживать Австрию. Разумеется, Австрия и "спасибо" не скажет за спасение, разве вы (20) думаете, что она не понимает, что Николай не ей помогал, а вообще деспотической власти.

Социальное состояние России ему было гораздо меньше известно, чем политическое и военное. Оно и не удивительно, многие ли из наших государственных людей знают что-нибудь о нем, кроме общих мест и частных, случайных, ни с чем не связанных замечаний. Он думал, что казенные крестьяне отправляют барщиной свою подать, расспрашивал о сельской общине, о помещичьей власти; я рассказал ему, что знал.

Оставив Кошута, я спрашивал себя, да что же общего у него, кроме любви к независимости своего народа, с его товарищами. Маццини мечтал Италией освободить человечество, Ледрю-Роллен хотел его освободить в Париже и потом строжайше предписать свободу всему миру. Кошут вряд заботился ли обо всем человечестве и был, казалось, довольно равнодушен к тому, скоро ли провозгласят республику в Лиссабоне, или дей Триполи будет называться простым гражданином одного и нераздельного Триполийского Братства.

Различие это, бросившееся мне в глаза с первого взгляда, обличилось потом рядом действий. Маццини и Ледрю-Роллен, как люди, независимые от практических условий, каждые два-три месяца усиливались делать революционные опыты: Маццини восстаниями, Ледрю-Роллен посылкою агентов. Мацциниевские друзья гибли в австрийских и папских тюрьмах, ледрю-ролленовские посланцы гибли в Ламбессе или Кайенне, но они с фанатизмом слепо верующих продолжали отправлять своих Исааков на заклание. Кошут не делал опытов; Лебени, ткнувший ножом австрийского императора, не имел никаких сношений с ним.

Без сомнения, Кошут приехал в Лондон с более сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было от чего закружиться в голове. Вспомните опять эту постоянную овацию, это царственное шествие через моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему навстречу и вести в свои стены. Двумиллионный гордый Лондон ждал его на ногах у железной дороги, карета лорд-мэра стояла приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его морем волнующегося народа, приветствовавшего его криками и бросаньем шляп вверх. И когда он (21) вышел с лордом-мэром на балкон Меншен Гоуза, его приветствовало то громогласное "ура!", которого Николай не мог в Лондоне добиться ни протекцией Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизанством каким-то лошадям на скачках.

Надменная английская аристократия, уезжавшая в свои поместья, когда Бонапарт пировал с королевой в Виндзоре и бражничал с мещанами в Сити, толпилась, забыв свое достоинство, в колясках и каретах, чтоб увидеть знаменитого агитатора; высшие чины представлялись – ему, изгнаннику. "Теймс" нахмурил было брови, но до того испугался перед криком общественного мнения, что стал ругать Наполеона, чтоб загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошут воротился из Америки полный упований. Но, проживши в

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Лондоне год-другой и видя, куда и как идет история на материке и как в самой Англии остывал энтузиазм, Кошут понял, что восстание невозможно и что Англия плохая союзница революции.

Раз, еще один раз, он исполнился надеждами и снова стал адвокатом за прежнее дело перед народом английским, это было в начале Крымской войны.

Он оставил свое уединение и явился рука об руку с Ворцелем, то есть с демократической Польшей, которая просила у союзников одного воззвания, одного согласия, чтоб рискнуть восстание. Без сомнения, это было для Польши великое мгновение – *oggi o mai*<sup>26</sup>. Если б восстановление Польши было признано, чего же было бы ждать Венгрии? Вот почему Кошут является на польском митинге 29 ноября 1854 года и требует слова. Вот почему он вслед за тем отправляется с Ворцелем в главные города Англии, проповедуя агитацию в пользу Польши. Речи Кошута, произнесенные тогда, чрезвычайно замечательны и по содержанию и по форме. Но Англии на этот раз он не увлек; народ толпами собирался на митинги, рукоплескал великому дару слова, готов был делать складчины; но вдаль движение не шло, но речи не вызывали тот отзвук в других кругах, в массах, который бы мог иметь влияние на парламент или заставить правительство изменить свой путь. Прошел 1854 год, настал 1855, умер Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегом Крыма; о восста(22)новлении польской национальности нечего было и думать; Австрия стояла костью в горле союзников; все хотели к тому же мира, главное было достигнуто – статский Наполеон покрылся военной славой.

Кошут снова сошел со сцены. Его статьи в "Атласе" и лекции о конкордате, которые он читал в Эдинбурге, Манчестере, скорее должно считать частным делом. Кошут не спас ни своего достояния, ни достояния своей жены. Привыкший к широкой роскоши венгерских магнатов, ему на чужбине пришлось выработать себе средства; он это делает, несколько не скрывая.

Во всей семье его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тут прошли великие события и что они подняли диапазон всех. Кошут еще до сих пор окружен несколькими верными сподвижниками; сперва они составляли его двор, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему события; он сильно состарелся в последнее время, и тяжело становится на сердце от его покоя.

Первые два года мы редко видались; потом случай нас свел на одной из изящнейших точек не только Англии, но и Европы, на Isle of Wight<sup>27</sup>. Мы жили в одно время с ним месяц времени в Вентноре, это было в 1855 году.

Перед его отъездом мы были на детском празднике, оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцевали вместе с моими детьми... Кошут стоял у дверей и как-то печально смотрел на них, потом, указывая с улыбкой на моего сына, сказал мне:

- Вот уже и юное поколение совсем готово нам на смену.

- Увидят ли они?

- Я именно об этом и думал. А пока пусть попляшут, - прибавил он и еще грустнее стал смотреть. Кажется, что и на этот раз мы думали одно и то же. А увидят ли отцы? И что увидят? Та революционная эра, к которой стремились мы, освещенные догорающим заревом девятых годов, к которой стремилась либеральная Франция, юная Италия, Маццини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему, эти люди не делаются ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая жизнь?. (23)

Их религия, их язык, их движение, их цель – все это и родственно нам, и с тем вместе чужое... звуки церковного колокола тихим утром праздничного дня, литургическое пение и теперь потрясают душу, но веры все же в ней нет!

Есть печальные истины – трудно, тяжело прямо смотреть на многое, трудно и высказывать иногда что видишь. Да вряд и нужно ли? Ведь это тоже своего рода страсть или болезнь. "Истина, голая истина, одна истина!" Все это так; да сообразно ли ведение ее с нашей жизнью? Не разъедает ли она ее, как слишком крепкая кислота разъедает стенки сосуда? Не есть ли страсть к ней страшный недуг, горько казнящий того, кто воспитывает ее в груди своей?

Раз, год тому назад, в день, памятный для меня, – мысль эта особенно поразила меня.

В день кончины Ворцеля я ждал скульптора в бедной комнатке, где домучился этот страдалец. Старая служанка стояла с оплывшим желтым огарком в руке, освещая исхудалый труп, прикрытый одной простыней. Он, несчастный, как Иов, заснул с улыбкой на губах, вера замерла в его потухающих глазах, закрытых таким же фанатиком, как он, – Маццини.

Я этого старика грустно любил и ни разу не сказал ему всей правды, бывшей у меня на уме. Я не хотел тревожить потухающий дух его, он и без того настрадался. Ему нужна – была отходная, а не истина. И потому – то он был так рад, когда Маццини его умирающему уху шептал обеты и слова веры!

### ГЛАВА III. ЭМИГРАЦИИ В ЛОНДОНЕ

Немцы, французы. – Партии. – В. Гюго. – Феликс Пиа. – Луи Блвн и Арман Барбес. – "On liberty"<sup>28</sup>.

Сидехом и плакахом на берегах вавилонских...

Псалтырь.

Если б кто-нибудь вздумал написать, со стороны, внутреннюю историю политических выходцев и изгнанников с 1848 года в Лондоне, какую печальную стра(24)ницу прибавил бы он к сказаниям о современном человеке. Сколько страданий, сколько лишений, слез... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бедность умственных сил, запасов, понимания, какое упорство в раздоре и мелкость в самолюбии...

С одной стороны люди простые, инстинктом и сердцем понявшие дело революции и приносящие ему наибольшую жертву, которую человек может принести, добровольную нищету, составляют небольшую кучку праведников. С другой – эти худо прикрытые затаенные самолюбия, для которых революция была служба, *position sociale*<sup>29</sup>, и которые сорвались в эмиграцию, не достигнув места; потом всякие фанатики, мономаны всех мономаний, сумасшедшие всех сумасшествий; в силу этого нервного, натянутого, раздраженного состояния – верчение столов наделало в эмиграции страшное количество жертв; кто не вертел столов – от Виктора Гюго и Ледрю-Роллена до Квирика Филопанти, который пошел дальше... и узнавал все, что человек делал лет тысячу тому назад?..

Притом ни шагу вперед. Они, как придворные версальские часы, показывают один час, час, в который умер король... и их, как версальские часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показывают одно событие, одну кончину какого-нибудь события. Об нем они говорят, об нем думают, к нему возвращаются. Встречая тех же людей, те же группы месяцев через пять-шесть, года через два-три, становится страшно – те же споры продолжаются, те же личности и упреки, только морщин, нарезанных нищетою, лишениями, – больше; сертуки, пальто – вытерлись; больше седых волос, и все вместе старее, костлявее, сумрачнее... а речи все те же и те же!

Революция у них остается, как в девяностых годах, – метафизикой общественного быта, но тогдашней наивной страсти к борьбе, которая давала резкий колорит самым тощим всеобщностям и тело сухим линиям их политического сруба, – у них нет и не может быть, всеобщности и отвлеченные понятия тогда были радостной новостью, откровением. В конце XVIII столетия люди в первый раз не в книге, а на самом деле начали освобож(25)даться от рокового, таинственно тяготевшего мира теологической истории и пытались весь гражданский быт, выросший помимо сознания и воли, основать на сознательном понимании. В попытке разумного государства, как в попытке религии разума, была в 1793 могучая, титаническая поэзия, которая принесла свое, но с тем вместе выветрилась и оскудела в последние шестьдесят лет. Наши наследники титанов этого не замечают. Они, как монахи Афонской горы, которые занимаются своим, ведут те же речи, которые вели во время Златоуста, и продолжают жизнь, давно задвинутую турецким владычеством, которое само уж приходит к концу... собираясь в известные дни поминать известные события, в том же порядке, с теми же молитвами.

Другой тормоз, останавливающий эмиграции, состоит в отстаивании себя друг против

Былое и думы (часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru друга; это страшно убивает внутреннюю работу и всякий добросовестный труд. Объективной цели у них нет, все партии упрямо консервативны, движение вперед им кажется слабостью, чуть не бегством; стал под знамя, так стой под ним, хотя бы со временем и разглядел, что цвета не совсем такие, как казались.

Так идут годы – исподволь все меняется около них. Там, где были сугробы снега, – растет трава, вместо кустарника – лес, вместо леса – одни пни... они ничего не замечают. Некоторые выходы совсем обвалились и засыпались, они в них-то и стучат; новые щели открылись, свет из них так и врывается полосами, но они смотрят в другую сторону.

Отношения, сложившиеся между разными эмиграциями и англичанами, могли бы сами по себе дать удивительные факты о химическом сродстве разных народностей.

Английская жизнь сначала ослепляет немцев, подавляет их, потом поглощает или, лучше сказать, распускает их в плохих англичан. Немец, по большей части, если предпринимает какое-нибудь дело, тотчас бреется, поднимает воротнички рубашки до ушей, говорит "yes"<sup>30</sup> вместо "ja"<sup>31</sup> и "well"<sup>32</sup> там, где ничего не надобно го(26)ворить. Года через два он пишет по-английски письма и записки и живет совершенно в английском кругу. С англичанами немцы никогда не обходятся как с равными, а как наши мещане с чиновниками и наши чиновники с столбовыми дворянами.

Входя в английскую жизнь, немцы не в самом деле делаются англичанами, но притворяются ими и долею перестают быть немцами. Англичане в своих сношениях с иностранцами такие же капризники, как во всем другом; они бросаются на приезжего, как на комедианта или акробата, не дают ему покоя, но едва скрывают чувство своего превосходства и даже некоторого отвращения к нему. Если приезжий удерживает свой костюм, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанин шпыняет над ним, но мало-помалу привыкает в нем видеть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранец начинает подлаживаться под его манеры, он не уважает его и снисходительно трактует его с высоты своей британской надменности. Тут и с большим тактом трудно найтись иной раз, чтоб не согрешить по минусу или по плюсу, можно же себе представить, что делают немцы, лишенные всякого такта, фамильярные и подобострастные, слишком вычурные и слишком простые, сентиментальные без причины и грубые без вызова.

Но если немцы смотрят на англичан, как на высшее племя того же рода, и чувствуют себя ниже их, то из этого не следует никак, чтоб отношение французов, и преимущественно французских рефюжэ, было умнее. Так, как немец все без разбору уважает в Англии, француз протестует против всего и ненавидит все английское. Это доходит, само собой разумеется, до уродливости самой комической.

Француз, во-первых, не может простить англичанам, что они не говорят по-французски; во-вторых, что они не понимают, когда он Чаринг Крос называет Шаранкро или Лестер-сквер – Лесестер-скуар. Далее, его желудок не может переварить, что в Англии обед состоит из двух огромных кусков мяса и рыбы, а не из пяти маленьких порций всяких рагу, фритюр, салми и проч. Затем, он не может примириться с "рабством", по которому трактиры заперты в воскресенье и весь народ скучает богу, хотя вся Франция семь дней в не(27)делю скучает Бонапарту. Затем, весь habitus<sup>33</sup>, все хорошее и дурное в англичанине ненавистно французам. Англичанин плотит ему той же монетой, но с завистью. Смотрит на покрой его одежды и карикатурно старается подражать ему.

Все это очень замечательно для изучения сравнительной физиологии, и я совсем не для смеха рассказываю это. Немец, как мы заметили, сознает себя, по крайней мере в гражданском отношении, низшим видом той же породы, к которой принадлежит англичанин, – и подчиняется ему. Француз, принадлежащий к другой породе, не настолько различной, чтоб быть равнодушным, как турок к китайцу, ненавидит англичанина, особенно потому, что оба народа слепо убеждены каждый о себе, что они представляют первый народ в мире. И немец внутри себя в этом уверен, особенно auf dem theoreti-schen Gebiete<sup>34</sup>, но стыдится признаться.

Француз действительно во всем противоположен англичанину; англичанин существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное; француз стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно параллельные развития, между которыми Ла-манш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет, в лавку надо.

Два краеугольных камня всего английского быта: личная независимость и родовая традиция – для француза почти не существуют. Грубость английских нравов выводит француза из себя, и она действительно противна и отравляет лондонскую жизнь; но за ней он не видит той суровой мощи, которою народ этот отстаивал свои права, того упрямства, вследствие которого из англичанина можно все сделать, льстя его страстям, – но не раба, веселящегося галунами своей ливреи, восхищающегося своими цепями, обвитыми лаврами.

Французу так дик, так непонятен мир самоуправления, децентрализации, своеобразно, капризно разросшийся, что он, как долго ни живет в Англии, ее политической и гражданской жизни, ее прав и судопроизводства не знает. Он теряется в неспетом разноначалии английских законов, как в темном бору, и совсем не замечает, какие огромные и величавые дубы составляют его и сколько прелести, поэзии, смысла в самом разнообразии. То ли дело маленький кодекс с посыпанными дорожками, с подстриженными деревьями и с полицейскими садовниками на каждой аллее.

Опять Шекспир и Расин.

Видит ли француз пьяных, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящего с спокойствием постороннего и любопытством человека, следящего за петушиным боем, – он приходит в неистовство, зачем полисмен не выходит из себя, зачем не ведет кого-нибудь *au violon*<sup>35</sup>, он и не думает о том, что личная свобода только и возможна, когда полицейский не имеет власти отца и матери и когда его вмешательство сводится на страдательную готовность – до тех пор, пока его позовут. Уверенность, которую чувствует каждый бедняк, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, изменяет взгляд человека. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами иногда прячется преступник, – пускай себе. Гораздо лучше, чтоб ловкий вор остался без наказания, нежели чтоб каждый честный человек дрожал, как вор, у себя в комнате. До моего приезда в Англию всякое появление полицейского в доме, в котором я жил, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился *en garde* против врага. В Англии полицейский у дверей и в дверях только прибавляет какое-то чувство безопасности.

В 1855, когда жерсейский губернатор, пользуясь особым бесправием своего острова, поднял гонение на журнал "L'homme" за письмо Ф. Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел В. Гюго и другим рефюжье, протестовавшим в пользу журнала, оставить Жерсей, – здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власти, что им следует остаться и сделать процесс ему. "Daily News" обещал с другими журналами взять на себя издержки. (29) Но это продолжалось бы долго, да и как, – "будто возможно выиграть процесс против правительства". Они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом истории – и гордо отступили в Гернсей.

Расскажу один пример французского понимания английских нравов. Однажды вечером прибегает ко мне один рефюжье и после целого ряда ругательств против Англии и англичан рассказывает мне следующую "чудовищную" историю.

Французская эмиграция в то утро хоронила одного из своих собратьев. Надо сказать, что в томной и скучной жизни изгнания похороны товарища почти принимаются за праздник, – случай сказать речь, пронести свои знамена, собраться вместе, пройтись по улицам, отметить, кто был и кто не был, а потому демократическая эмиграция отправилась *au grand complet*<sup>36</sup>. На кладбище явился английский пастор с молитвенником. Приятель мой заметил ему, что покойник не был христианин и что, в силу этого, ему не нужна его молитва. Пастор, педант и лицемер, как все английские пасторы, с притворным смирением и национальной флегмой, отвечал, что, может, покойнику и не нужна его молитва, но что ему по долгу необходимо сопровождать каждого умершего молитвой на последнее жилище его. Завязался спор, и, так как французы стали горячиться и кричать, упрямый пастор позвал полицейских.

– Allons done, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacree liberte!<sup>37</sup> прибавил главный актер этой сцены после покойника и пастора.

– Ну, что же сделала, – спросил я, – *la force bru-tale au service du noir fanatisme?*<sup>38</sup>

- Пришли четыре полицейских, et le chef de la bande<sup>39</sup> спрашивает: "кто говорил с пастором?" Я прямо вышел вперед, - и, рассказывая, мой приятель, обедавший со мною, смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами, - cest moi, "monsieur", (30) car je men garde bien de dire "citoyen"<sup>40</sup> a ces gueux-la<sup>41</sup>. - Тогда le chef des sbires<sup>42</sup> с величайшей дерзостью сказал мне: "Переведите другим, чтоб они не шумели, хороните вашего товарища и ступайте по домам. А если вы будете шуметь, я вас всех велю отсюда вывести". - Я посмотрел на него, снял с себя шляпу и громко, что есть силы, прокричал: "Vive la republique democratique et sociale!"<sup>43</sup> Едва удерживая смех, я спросил его:

- Что же сделал "начальник сбиров"?

- Ничего, - с самодовольной гордостью заметил француз. - Он переглянулся с товарищами, прибавил:

"Ну, делайте, делайте ваше дело!" и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имеют дело не с английской чернью... у них тонкий нос!

Что-то происходило в душе серьезного, плотного и, вероятно, выпившего констабля во время этой выходки? Приятель и не подумал о том, что он мог себе доставить удовольствие прокричать то же самое перед окнами королевы, у решетки Букингемского дворца, без малейшего неудобства. Но еще замечательнее, что ни мой приятель, ни все прочие французы при таком происшествии и не думают, что за подобную проделку во фран(31)ции они бы пошли в Кайенну или Ламбессу. Если же им это напомнишь, то ответ их готов: "A bah! Cest une halte dans la boue... ce nest pas normal!"<sup>44</sup>

А когда же у них свобода была нормальна?

Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохранила все раздоры, все партии. Сумрачная среда чужой и неприязненной страны, не скрывавшей, что она хранит свое право убежища не для ищущих его - а из уважения к себе, - раздражала нервы.

А тут оторванность от людей и привычек, невозможность передвижения, разлука с своими, бедность - вносили горечь, нетерпимость и озлобление во все отношения. Столкновения стали злее, упреки в прошедших ошибках - беспощаднее. Оттенки партий расходились до того, что старые знакомые перерывали все сношения, не кланялись...

Были действительные, теоретические и всяческие раздоры... но рядом с идеями стояли лица, рядом со знаменами - собственные имена, рядом с фанатизмом - зависть и с откровенным увлечением - наивное самолюбие.

Антагонизм, некогда выражавшийся возможным Мартином Лютером и последовательным Томасом Мюнцером, лежит, как семенные доли при каждом зерне: логическое развитие, расчленение всякой партии непременно дойдет до обнаружения его. Мы его равно находим в трех невозможных Гракхах, то есть, считая тут же и Гракха Бабефа, . и в слишком возможных Суллах и Сулуках всех цветов. Возможна одна диагональ, возможен компромисс, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему: сословию, богатству, пониманию. Из Лиги и гугенотов - делается Генрих IV, из Стюартов и Кромвеля - Вильгельм Оранский, из революции и легитимизма - Людвиг-Филипп. После него антагонизм стал между возможной республикой и последовательной; возможную назвали демократической, последовательную - социальной - из их столкновения вышла империя, но партии остались.

Несговорчивые крайности очутились в Кайенне, Ламбессе, Бель Иле и долею за французской границей, преимущественно в Англии. (32)

Как только они в Лондоне перевели дух и глаз их привык различать предметы в тумане, старый спор возобновился с особенной нетерпимостью эмиграции, с мрачным характером лондонского климата.

Председатель Люксембургской комиссии был, de jure, главное лицо между социалистами в лондонской эмиграции. Представитель организации работ и эгалитарных<sup>45</sup> рабочих обществ, он был любим работниками; строгий по жизни, неукоризненной чистоты в мнениях, вечно работающий ,сам, sobre<sup>46</sup>, мастер

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru говорить, популярный без фамильярности, смелый и вместе осторожный, он имел все средства, чтоб действовать на массу.

С другой стороны, Ледрю-Роллен представлял религиозную традицию 93 года, для него слова республика и демократия обнимали все: насыщение голодных, право на работу, освобождение Польши, сокрушение Николая, братство народов, падение папы. Работников было меньше около него, его хор состоял из parasites<sup>47</sup>, то есть из адвокатов, журналистов, учителей, клубистов и проч.

Двойство этих партий ясно, и именно поэтому я никогда не умел понять, как Маццини и Луи Блан объясняли свое окончательное распадение частными столкновениями. Разрыв лежал в самой глубине их воззрения, в задаче их. Им вместе нельзя было идти, но, может, не нужно было и ссориться публично.

Дело социализма и итальянское дело различались, так сказать, чередом или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономического устройства в Италии. То же мы видели в Польше 1831, в Венгрии 1848. Но тут нет места полемике, это скорее вопрос о хронологическом разделении Труда. чем о взаимном уничтожении. Социальные теории мешали прямому, сосредоточенному действию Маццини, мешали военной организации, которая для Италии была необходима; за это он сердился, не соображая, что для французов такая организация только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, он напал на социалистов, и в особенности на Луи Блана, в небольшой брошюре, оскорбительной и ненужной. По (33) дороге зацепил он и других, так, например, называет Прудона "демоном"... Прудон хотел ему отвечать, но ограничился только тем, что в следующей брошюре назвал Маццини "архангелом". Я два раза говорил, шутя, Маццини:

- Ne reveillez pas le chat qui dort<sup>48</sup>, а то с такими бойцами трудно выйти без сильных рубцов.

Лондонские социалисты отвечали ему тоже желчно, с ненужными личностями и дерзкими выражениями.

Другого рода вражда, и вражда больше основательная, была между французами двух революционных толков. Все опыты соглашения формального республиканизма с социализмом были неудачны и делали только очевиднее неоткровенность уступок и непримиримый раздор; через ров, их разделявший, ловкий акробат бросил свою доску и провозгласил себя на ней императором.

Провозглашение империи было гальваническим ударом, судорожно вздрогнули сердца эмигрантов и ослабли.

Это был печальный, тоскливый взгляд больного, убедившегося, что ему не встать без костылей. Усталъ, скрытная безнадежность стала овладевать теми и другими. Серьезная полемика начинала бледнеть, сводиться на личности, на упреки, обвинения.

Еще года два оба французские стана продержались в агрессивной готовности: один, праздную 24 февраля, другой - июльские дни. Но к началу Крымской войны и к торжественной, прогулке Наполеона с королевой Викторией по Лондону бессилие эмиграции стало очевидно. Сам начальник лондонской Metropolitan Police<sup>49</sup> Роберт Мен засвидетельствовал это. Когда консерваторы благодарили его, после посещения Наполеона, за ловкие меры, которыми он предупредил всякую демонстрацию со стороны эмигрантов, он отвечал: "Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Лед-рю-Роллена и Луи Блана".

Признак, еще больше намекавший на близкую кончину, обнаружился около того же времени в подразделениях партий во имя лиц или личностей, без серьезных причин. (34)

Партии эти составлялись так, как у нас выдумывают министерства или главные управления, для помещения какого-нибудь лишнего сановника, так, как иногда компонисты придумывают в операх партии для Гризи и Лаблаша не потому, чтоб эти партии были необходимы, а потому, что Гризи или Лаблаша надобно было употребить...

Года через полтора после coup d'Etat приехал в Лондон Феликс Пиа - из Швейцарии.



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Бойкий фельетонист, он был известен процессом, который имел скучной комедией "Диоген", понравившейся французам своими сухими и тощими сентенциями, наконец успехом "Ветошника" на сцене Porte-Saint-Martin. Об этой пьесе я когда-то писал целую статью<sup>50</sup>. Ф. Пиа был членом последнего законодательного собрания, сидел на "Горе", подрался как-то в палате с Прудоном, замешался в протест 113 июня 1849 - и вследствие этого должен был оставить Францию тайком. Уехал он, как я, с молдавским видом и ходил в Женеве в костюме какого-то мавра, - вероятно, для того, чтоб его все узнали. В Лозанне, куда он переехал, составил Ф. Пиа небольшой круг почитателей из французских изгнанников, живших манною его острых слов и крупными его мыслями. Горько ему было из кантональных вождей перейти в какую-нибудь из лондонских партий. Для лишнего кандидата на великого человека - не было партии, приятели и поклонники его выручили из беды - они выделились из всех прочих партий и назвались лондонской революционной коммуной.

La commune revolutionnaire<sup>51</sup> должна была представлять самую красную сторону демократии и самую коммунистическую - социализма. Она считала себя вечно начеку, в самых тесных связях с Марьянной и с тем вместе вернейшей представительницей Бланки in partibus infidelium<sup>52</sup>.

Мрачный Бланки, суровый педант и доктринер своего дела, аскет, исхудавший в тюрьмах, расправил в образе (35) Ф. Пиа свои морщины, подкрасил в алый цвет свои черные мысли и стал морить со смеху парижскую коммуны в Лондоне. Выходки Ф. Пиа в его письмах к королеве, к Валевскому, которого он назвал ex-refugie и ex-Polonais<sup>53</sup>, к принцам и проч. были очень забавны - но в чем сходство с Бланки, я никак не мог добраться, да и вообще в чем состояла отличительная черта, делившая его от Луи Блана, например, простым глазом видеть было трудно.

То же должно сказать о жерсейской партии Виктора Гюго.

Виктор Гюго никогда не был в настоящем смысле слова политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии - чтоб быть им. И, конечно, я это говорю не в порицание ему. Социалист-художник, он вместе с тем был поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий, - виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря - это пышная, великая личность - но не глава партии, несмотря на решительное влияние, которое он имел на два поколения. Кого не заставил задуматься над вопросом смертной казни "Последний день осужденного" и в ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести резкие, страшно и странно освещенные, на манер Турнера, - картины общественных язв, бедности и рокового порока?

Февральская революция застала Гюго врасплох, он не понял ее, удивился, отстал, наделал бездну ошибок и был до тех пор реакционером, пока реакция, в свою очередь, не опередила его. Приведенный в негодование ценсурой театральных, пьес и римскими делами, он явился на трибуне конституирующего Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции. Успех и рукоплескания увлекли его дальше и дальше. Наконец, 2 декабря 1851 он стал во весь рост. Он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию, под пулями протестовал против coup d'Etat и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Раздраженным львом отступил он в Жерсей - оттуда, едва переводя дух, он бросил в императора своего "Napoléon le petit", потом свои "Châtiments". Как ни старались бонапартистские агенты при(36)мирить старого поэта с новым двором не могли. "Если останутся хоть десять французов в изгнании - я останусь с ними, если три - я буду в их числе, если останется один - то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию".

Отъезд Гюго из Жерсея в Гернсей, кажется, убедил еще больше его друзей и его самого в политическом значении, в то время как отъезд этот мог только убедить в противном. Дело было так. Когда Ф. Пиа написал свое письмо к королеве Виктории - после ее посещения к Наполеону, он, прочитав его на митинге, отослал его в редакцию "L'Opinion". Свентославский, печатавший "L'Opinion" на свой счет в Жерсее, был тогда в Лондоне. Он вместе с Ф. Пиа приезжал ко мне и, уходя, отвел меня в сторону и сказал, что ему знакомый его Lawyer<sup>54</sup> сообщил, что за это письмо легко можно преследовать журнал в Жерсее, состоящем на положении колонии, а Пиа хочет непременно в "L'Opinion". Свентославский сомневался и хотел знать мое мнение.

- Не печатайте.

- Да я и сам думаю так, только вот что скверно: он подумает, что я испугался.

- Как же не бояться при теперешних обстоятельствах потерять несколько тысяч франков?

- Вы правы - этого я не могу, не должен делать. Свентославский, так премудро рассуждавший, уехав в Жерсей и письмо напечатал.

Слухи носились, что министерство хотело что-то сделать. Англичане были обижены - за тон, с которым Пиа обращался к квинне<sup>55</sup>. Первым результатом этих слухов было то, что Ф. Пиа перестал ночевать у себя дома: он боялся в Англии *visite domiciliaire*<sup>56</sup> и ночного ареста - за напечатанную статью! Преследовать судом правительство и не думало, министры подмигнули жерсейскому губернатору, или как там он у них называется, и тот, пользуясь незаконными правами, которые существуют в колониях, - велел Свентославскому выехать с острова. Свентославский протестовал и с ним человек (37) десять французов - в том числе В. Гюго. Тогда полицейский Наполеон Жерсея велел выехать всем протестовавшим. Им следовало не слушаться донельзя - пусть бы полиция схватила кого-нибудь за шиворот и выбросила бы с острова; тогда можно было бы поставить вопрос о высылке перед суд. Это и предлагали французам англичане. Процессы в Англии безобразно дороги - но издатели "Daily News" и других либеральных листов обещали собрать какую надобно сумму, найти способных защитников. Французам путь легальности показался скучен и долог, противен, и они с гордостью оставили Жерсей, увлекая с собой Свентославского и С. Телеки.

Объявление полицейского приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейский чиновник вошел к нему, чтоб прочесть приказ, Гюго позвал своих сыновей, сел, указал на стул чиновнику и, когда все уселись, - как в России перед отъездом, - он встал и сказал: "Господин комиссар, мы делаем теперь страницу истории. (Nous faisons maintenant une page de l'histoire.) Читайте вашу бумагу". Полицейский, ожидавший, что его выбросят за двери, был удивлен легостью победы, обязал Гюго подпиской, что он едет, и ушел, отдавая справедливость учтивости французов, - давших даже ему стул. Гюго уехал, и другие с ним вместе оставили Жерсей. Большая часть поехали не дальше Гернсея; другие отправились в Лондон; дело было проиграно, и право высылать осталось непочатым.

Серьезных партий, как мы сказали, было только две, то есть партия формальной республики и насильственного социализма, - Ледрю-Роллена и Луи Блана. Об нем я еще не говорил, а знал его почти больше, чем всех французских изгнанников.

Нельзя сказать, чтоб воззрение Луи Блана было неопределенно, - оно во все стороны обрезано, как ножом, Луи Блан в изгнании приобрел много фактических сведений (по своей части, то есть по части изучения первой французской революции), несколько устоялся и успокоился, но в сущности своего воззрения не подвинулся ни на один шаг с того времени, как писал "Историю десяти лет" и "Организацию труда". Осевшее и устоявшееся было то же самое, что бродило смолду. (38)

В маленьком тельце Луи Блана живет бодрый и круто сложившийся дух, *tres éveillé*<sup>57</sup>, с сильным характером, с своей определенно вываянной особенностью и притом совершенно французской. Быстрые глаза, скорые движения придают ему какой-то вместе подвижный и точный вид, не лишенный грации. Он похож на сосредоточенного человека, сведенного на наименьшую величину, - в то время как колоссальность его противника Ледрю-Роллена похожа на разбухнувшего ребенка, на карлу в огромных размерах или под увеличительным стеклом. Они оба могли бы чудесно играть в Гулливеровом путешествии.

Луи Блан - и это большая сила и очень редкое свойство - мастерски владеет собой, в нем много выдержки, и он в самом пылу разговора не только публично, но и в приятельской беседе никогда не забывает самые сложные отношения, никогда не выходит из себя в споре, не перестает весело улыбаться... и никогда не соглашается с противником. Он мастер рассказывать и, несмотря на то что много говорит - как француз, никогда не скажет лишнего слова - как корсиканец.

Он занимается только Францией, знает только Францию и ничего не знает, "разве ее". События мира, открытия науки, землетрясения и наводнения занимают его по той мере, по которой они касаются Франции. Говоря с ним, слушая его тонкие замечания, его занимательные рассказы, легко изучить характер французского ума, и тем легче, что мягкие образованные формы его не имеют в себе ничего

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru вызывающего раздражительную колкость или ироническое молчание, тем самодовольным, иногда простодушным, нахальством, которое делает так несносным сношения с современными французами.

Когда я ближе познакомился с Луи Бланом, меня поразил внутренний невозмутимый покой его. В его разумении все было в порядке и решено; там не возникало вопросов, кроме второстепенных, прикладных. Свои счеты он свел: er war im klaren mit sich<sup>58</sup>, ему было нравственно свободно – как человеку, который знает, что он прав. В частных ошибках своих, в промахах друзей он сознавался добродушно, теоретических угрызений совести (39) у него не было. Он был доволен собой после разрушения республики 1848, как Моисеев бог – после создания мира. Подвижной ум его, в ежедневных делах и подробностях – был японски неподвижен во всем общем. Эта незыблемая уверенность в основах однажды принятых, слегка проветриваемая холодным рациональным ветерком, – прочно держалась на нравственных подпорочках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложкой обводили его китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения<sup>59</sup>.

Я иногда, шутя, останавливал его на общих местах – которые он, вероятно, повторял годы, не думая, чтоб можно было возражать на такие почтенные истины, и сам не возражая: "Жизнь человека – великий социальный долг; человек должен постоянно приносить себя на жертву обществу..."

– Зачем же? – спросил я вдруг.

– Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица – благосостояние общества.

– Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.

– Это игра слов.

– Варварская сбивчивость понятий, – говорил я, смеясь. (40)

– Мне никак не дается материалистическое понятие о духе, – говорил он раз, – все же дух и материя разное, – тесно связанное, так тесно, что они и не являются врозь, но все же они не одно и то же... – И видя, что как-то доказательство идет плохо, он вдруг прибавил: – Ну вот, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата – вижу его черты, слышу его голос – где же материальное существование этого образа?

Я сначала думал, что он шутит, но, видя, что он говорит совершенно серьезно, я заметил ему, что образ его брата на сию минуту в фотографическом заведении, называемом мозгом, и что вряд есть ли портрет Шарля Блана отдельно от фотографического снаряда...

– Это совсем другое дело, материально в моем мозгу нет изображения моего брата.

– Почему вы знаете?

– А вы почему?

– По наведению.

– Кстати – это напоминает мне преуморительный анекдот...

И тут, как всегда, рассказ о Дидро или m-me Ten-sin, очень милый, но вовсе не идущий к делу.

В качестве преемника Максимилиана Робеспьера Луи Блан – поклонник Руссо и в холодных отношениях с Вольтером. В своей "Истории" он по-библейски разделил всех деятелей на два стана. Одесную – агнцы братства, ошуйю – козлы алчности и эгоизма. Эгоистам вроде Монтеня пощады нет, и ему досталось порядком. Луи Блан в этой сортировке ни на чем не останавливается и, встретив финансиста Лау, смело зачислил его по братству – чего, конечно, отважный шотландец никогда не ожидал.

В 1856 году приезжал в Лондон из Гааги – Барбес. Луи Блан привел его ко мне. С

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
умилением смотрел я на страдальца, который провел почти всю жизнь в тюрьме. Я прежде видел его один раз, - и где? В окне Hotel de Ville 15 мая 1848, за несколько минут перед тем, как ворвавшаяся Национальная гвардия схватила его<sup>60</sup>. (41)

Я звал их на другой день обедать, они пришли, и мы просидели до поздней ночи.

Они просидели до поздней ночи, вспоминая о 1848 годе; когда я проводил их на улицу и возвратился один в мою комнату, мною овладела бесконечная грусть, я сел за свой письменный стол и готов был плакать...

Я чувствовал то, что должен ощущать сын, возвращаясь после долгой разлуки в родительский дом; он видит, как в нем все почернело, покривилось, отец его постарел, не замечая того; сын очень замечает, и ему тесно, он чувствует близость гроба, скрывает это, но свиданье не оживляет его, не радуется, а утомляет.

Барбес, Луи Блан! ведь это все старые друзья, почетные друзья кипучей юности. "Histoire de dix ans"<sup>61</sup>, процесс Барбеса перед Камерой пэров, все это так давно обжило в голове, в сердце, со всем с этим мы так сроднились - и вот они налицо.

Самые злые враги их никогда не осмеливались заподозрить неподкупную честность Луи Блана или набросить тень на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоих все видели, знали во всех положениях, у них не было частной жизни, не было закрытых дверей. Одного из них мы видели членом правительства, другого за полчаса до гильотины. В ночь перед казнью Барбес не спал, а спросил бумаги и стал писать; строки эти сохранились, я их читал. В них есть французский идеализм, религиозные мечты, но ни тени слабости; его дух не смутился, не уныл; с ясным сознанием приготавливался он положить голову на плаху и покойно писал, когда рука тюремщика сильно стукнула в дверь. "Это было на рассвете, я (и это он мне рассказывал сам) ждал исполнителей", но вместо палачей взошла его сестра и бросилась к нему, на шею. Она выпросила без его ведома у Людвига-Филиппа перемену наказания и скакала на почтовых всю ночь, чтоб успеть.

Колодник Людвига-Филиппа через несколько лет является наверху гражданского торжества, цепи сняты ликующим народом, его везут в триумфе по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось, он явился первым обвинителем Временного правительства за руанские убийства. Реакция росла около него, спасти республику (42) можно было только дерзкой отвагой, и Барбес 15 мая сделал то, чего не делали ни Ледрю-Роллен, ни Луи Блан, чего испугался Косидьер! Coup d'Etat не удался, и Барбес, колодник республики, снова перед судом. Он в Бурже так же, как в Камере пэров, говорит законникам мешанского мира, как говорил грешному старцу Пакье: "Я вас не признаю за судей, вы враги мои, я ваш военнопленный, делайте со мною что хотите, но судьями я вас не признаю". И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за ним.

Случайно, против своей воли, вышел он из тюрьмы; Наполеон его вытолкнул из нее почти в насмешку, прочитав во время Крымской войны письмо Барбеса, в котором он, в припадке галльского шовинизма, говорит о военной славе Франции. Барбес удалился было в Испанию, перепуганное и тупое правительство выслало его. Он уехал в Голландию и там нашел покойное, глухое убежище.

И вот этот-то герой и мученик вместе с одним из главных деятелей февральской республики, с первым государственным человеком социализма, вспоминали и обсуживали прошедшие дни славы и невзгодья!

А меня давила тяжелая тоска, я с несчастной ясностью видел, что они тоже принадлежат истории другого десятилетия, которая окончена до последнего листа, до переплета!

Окончена не для них лично, а для всей эмиграции, и для всех теперешних политических партий. Живые и шумные десять, даже пять лет тому назад, они вышли из русла и теряются в песке, воображая, что всё текут в океан. У них нет больше ни тех слов, которые, как слово "республика", пробуждали целые народы, ни тех песен, как "Марсельеза", которые заставляли содрогаться каждое сердце. У них и враги не той же величины и не той же пробы; нет ни седых феодальных привилегий короны, с которыми было бы трудно сражаться, ни королевской головы, которая бы,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru скатываясь с эшафота, уносила с собой целую государственную организацию. Казните Наполеона, из этого не будет 21 января; разберите по камням Мазас, из этого не выйдет взятия Бастилии! Тогда в этих громах и молниях раскрывалось новое откровение, откровение государства, основанного на разуме, новое искупление из средневекового мрачного (43) рабства. С тех пор искупление революцией обличилось несостоятельным, на разуме государство не устроилось. Политическая реформация выродилась, как и религиозная, в риторическое пустословие, охраняемое слабостью одних и лицемерием других. "Марсельеза" остается святым гимном, но гимном прошедшего, как "Qottes feste Burg", звуки той и другой песни вызывают и теперь ряд величественных образов, как в макбетовском процессе теней – все цари, но все мертвые.

Последний едва еще виден в спину, а об новом только слухи. Мы в междуцарствии; пока, до наследника, полиция все захватила, во имя наружного порядка. Тут не может быть и речи о правах, это временные необходимости, это Lynch Law<sup>62</sup> в истории, экзекуция, оцепление, карантинная мера. Новый порядок, совместивший все тяжкое монархии и все свирепое якобинизма, огражден не идеями, не предрассудками, а страхами и неизвестностями. Пока одни боялись, другие ставили штыки и занимали места. Первый, кто прорвет их цепь, пожалуй, и займет главное место, занятое полицией, только он и сам делается сейчас кварталным.

Это напоминает нам, как Косидьер вечером 24 февраля пришел в префектуру с ружьем в руке, сел в кресла только что бежавшего Делессера, позвал секретаря, сказал ему, что он назначен префектом, и велел подать бумаги. Секретарь так же почтительно улыбнулся, как Делессеру, так же почтительно поклонился и пошел за бумагами, бумаги пошли своим чередом, ничего не переменялось, только ужин Делессера съел Косидьер.

Многие узнали пароль префектуры, но лозунга истории не знают. Они, когда было время, поступили точно так, как Александр I. Они хотели, чтоб старому порядку был нанесен удар, но не смертельный; а Бенигсена или Зубова у них не было.

И вот почему, если они снова сойдут на арену, они ужаснутся людской неблагодарности и пусть останутся при этой мысли, пусть думают, что это одна неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многих других.

А еще лучше им вовсе не ходить туда; пусть они нам и нашим детям повествуют о своих великих делах. Сердиться за этот совет нечего, живое меняется, неизменное (44) становится памятником. Они оставили свою бразду так; как свою оставят за ними идущие, и их обгонит в свою очередь свежая волна, а потом все: бразды... живое и памятники – все покроется всеобщей амнистией вечного забвения!

На меня сердятся многие за то, что я высказываю эти вещи. "В ваших словах, – говорил мне очень почтенный человек, – так и слышится посторонний зритель".

А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я очень вынослив, но выбился, наконец, из сил.

Я пять лет не видал светлого лица, не слышал простого смеха, понимающего взгляда. Все фельдшеры были возле да прозекторы. Фельдшеры все пробовали лечить, прозекторы все указывали им по трупам, что они ошиблись, – ну, и я, наконец, схватил скальпель; может, резнул слишком глубоко с непривычки.

Говорил я не как посторонний, не для упрека; говорил оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непонимание выводило из терпения. Что я раньше отрезвел, это мне ничего не облегчило. Это и из фельдшеров только самые плохие самодовольно улыбаются, глядя на умирающего. "Вот, мол, я сказал, что он к вечеру протянет ноги, он и протянул".

Так зачем же я вынес?

В 1856 году лучший из всей немецкой эмиграции человек, Карл Шурц, приезжал из Висконсина в Европу. Возвращаясь из Германии, он говорил мне, что его поразило нравственное запустение материка. Я перевел ему, читая, мои "Западные арабески", он оборонялся от моих заключений, как от привидения, в которое человек не хочет верить, но которого боится.

– Человек, – сказал он мне, – который так понимает современную Европу, как вы,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
должен бросить ее.

- Вы так и поступили, - заметил я.

- Отчего же вы этого не делаете?

- Очень просто: я могу вам сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал в гордом припадке самобытности - "у меня в Швабии есть свой король", у меня в России есть свой народ!

.....

.....

Сходя с вершин в средние слои эмиграции, мы увидим, что большая часть была увлечена в изгнание бла(45)городным порывом и "риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, то есть за их музыку, не давая себе никогда ясного отчета в смысле их. Они их любили горячо и верили в них, как католики любили и верили в латинские молитвы, не зная по-латыни. "La fraternite univer-selle comme base de la republique universelle" - это конечно и принято! "Point de salaries, et la solidarite des peuples!"<sup>63</sup> - и, покраснейте, этого иному достаточно, чтоб идти на баррикаду, а уж коли француз пойдет, он с нее не побежит.

"Pour moi, voyez-vous, la republique nest pas une forme gouvernementale, cest une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera", - говорил мне один участник всех восстаний со времени ламарковских похорон. "Et lorsque la religion sera une republique", - добавил я. "Precisement!"<sup>64</sup> - отвечал он, довольный тем, что я вывернул наизнанку его фразу.

Массы эмиграции представляют своего рода вечно открытое угрызение совести перед глазами вождей. В них все их недостатки являются в том преувеличенном и смешном виде, в котором парижские моды являются где-нибудь в русском уездном городе.

И во всем этом есть бездна наивного. За декламацией на первом плане la mise en scene<sup>65</sup>.

Античные драпри и торжественная постановка Конвента так поразила французский ум своей грозной поэзией, что, например, с именем республики ее энтузиасты представляют не внутреннюю перемену, а праздник федерализации, барабанный бой и заунывные звуки tocsin<sup>66</sup>. Отечество возвещается в опасности, народ встает массой на его защиту в то время, как около деревьев свободы празднуется торжество цивилизма; девушки в белых платьях пляшут под напев патриотических гимнов, и Франция в фригийской шапке посылает громадные армии для освобождения народов и низвержения царей! (46)

Главный балласт всех эмиграции, особенно французской, принадлежит буржуазии; этим характер их уже обозначен. Марка или штемпель мещанства так же трудно стирается, как печать дара духа святого, которую прикладывают наши семинарии своим ученикам. Собственно купцов, лавочников, хозяев в эмиграции мало, и те попали в нее как-то невзначай, вытолкнутые большей частью из Франции после 2 декабря за то, что не догадались, что на них лежит священная обязанность изменить конституцию. Их тем больше жаль, что положение их совершенно комическое, они потеряны в красной обстановке, которой дома не знали, а только боялись; в силу национальной слабости им хочется себя выдавать за гораздо больших радикалов, чем они в самом деле; но, не привыкнув к революционному jargon, они, к ужасу новых товарищей, беспрестанно впадают в орлеанизм. Разумеется, они были бы все рады возвратиться, если б point dhonneur<sup>67</sup>, единственная крепкая, нравственная сила современного француза, не воспрещал просить дозволения.

Над ними стоящий слой составляет лейб-компанейскую роту эмиграции: адвокаты, журналисты, литераторы и несколько военных.

Большая часть из них искали в революции общественного положения, но при быстром отливе они очутились на английской отмели. Другие - бескорыстно увлеклись клубной жизнью и агитациями, риторика довела их до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. В их числе много чистых и благородных людей, но мало способных; они попали в революцию по темпераменту, по отваге человека, который

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru бросается, слыша крик - в реку, забывая об ее глубине и о своем неумении плавать.

За этими детьми, у которых, по несчастию, поседели узкие бородки и несколько очистился от волос остроконечный галльский череп, стояли разные кучки работников, гораздо более серьезных, не столько связанные в одно наружностью, сколько духом и общим интересом.

Их революционерами поставила сама судьба; нужда и развитие сделали их практическими социалистами; оттого-то их дума реальнее, решимость тверже. Эти (47) люди вынесли много лишений, много унижений, и притом молча, - это дает большую крепость; они переплыли Ламанш не с фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положение спасло их от буржуазного *suffisance*<sup>68</sup>, они знают, что им некогда было образоваться, они хотят учиться, в то время как буржуа не больше их учился, но совершенно доволен знанием.

Оскорбленные с детства, они ненавидят общественную неправду, которая их столько давила. Тлетворное влияние городской жизни и всеобщей страсти стяжания превратило у многих эту ненависть в зависть; они, не давая себе отчета, тянутся в буржуазию и терпеть ее не могут, так, как мы не можем терпеть счастливого соперника, страстно желая занять его место или отомстить ему наслаждения.

Но ненависть ли, или зависть, желание ли у одних блага, у других мести, и те и другие будут страшны в будущем западном движении. Они будут на первом плане. Перед их рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипевшим желанием мести - что сделают консерваторы и риторы? Да что сделают и прочие горожане, когда на зов работника поднимется саранча полей и деревень? Крестьянские войны забыты; последние эмигранты из земледельцев относятся ко временам ревокации<sup>69</sup> Нантского эдикта; Вандея исчезла за пороховым дымом. Но мы обязаны 2 декабря тем, что своими глазами вновь увидели эмигрантов в деревянных башмаках.

Сельское население на юге Франции, от Пиренеи до Альп, приподняло голову после *coup d'Etat*, как бы спрашивая: "Не пришла ли наша пора?" Восстание было задавлено в самом начале массами солдат; за ними явились военно-судные комиссии, стая гончих жандармов и полицейских ищеек рассыпались по проселочным дорогам и деревушкам. Очаг крестьянина, его семья - эти святыни его, были обесчещены полицией; она требовала показания жены на мужа, сына на отца, и по двусмысленному слову родственника, по одному доносу *garde champetre*<sup>70</sup> вели в тюрьму отцов семейства, седых, как лунь, стариков, юношей, женщин; судили их кой-как, гуртом, и потом случайно кого выпустили, кого по(48)слали в Ламбессу, в Кайенну, другие сами бежали в Испанию, в Савойю, за Барский мост<sup>71</sup>.

Крестьян я мало знаю. Видел я в Лондоне несколько человек, спасшихся на лодке из Кайенны; одна дерзость, безумие этого предприятия лучше целого тома характеризуют их. Они были почти все с Пиренеев. Совсем другая порода, широкоплечая, рослая, с крупными чертами, вовсе не шифонированными<sup>72</sup>, как у поджарых французских горожан, с их скудной кровью и бедной бородкой. Разорение их домов и Кайенна воспитали их. "Мы воротимся еще когда-нибудь, - говорил мне сорокалетний геркулес, большей частью молчавший (все они были не очень разговорчивы), - и посчитаемся!" На других эмигрантов, на их сходки и речи они что-то смотрели чужими... и недели через три они пришли ко мне проститься. "Не хотим даром жить, да и здесь скучно, - едем в Испанию, в Сантандр, там обещают поместить нас дровосеками". Взглянул я еще раз на сурово мужественный вид и на мускулярную руку будущих дровосеков и подумал: "Хорошо, если топор их только будет рубить каштановые деревья и дубы".

Дикую, разъедающую силу, накипевшую в груди городского работника, я видел ближе<sup>73</sup>.

Прежде чем мы перейдем к этой дикой, стихийной силе, которая мрачно содрогается, скованная людским насилием и собственным невежеством, и подчас прорывается в щели и трещины - разрушительным огнем, наводящим ужас и смятение, - остановимся еще раз на последних темплиерах и классиках французской революции - на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбоннской, демократической буржуазии, которая уча(49)ствовала лет десять в борьбе с Людвигом-Филиппом, увлеклась событиями 1848 года и осталась им верной и дома, и в изгнании.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
В их рядах есть люди умные, острые, люди очень добрые, с горячей религией и с готовностью ей пожертвовать всем – но понимающих людей, людей, которые бы исследовали свое положение, свои вопросы – так, как естествоиспытатель исследует явление или патолог – болезнь, почти вовсе нет. Скорее полное отчаяние, презрение к лицам и делу, скорее праздность упреков и попреков, стоицизм, героизм, все лишения, чем исследование... Или такая же полная вера в успех, без взвешивания средств, без уяснения практической цели. Вместо ее удовлетворялись знаменем, заголовком, общим местом... Право на работу, уничтожение пролетариата... Республика и порядок!.. братство и солидарность всех народов... Да как же все это устроить, осуществить? – Это последнее дело. Лишь бы быть во власти, остальное делается декретами, плебисцитами. А не будут слушаться – "Grenadiers, en avant, aux armes! Pas de charge... balonnettes!"<sup>74</sup> и религия террора – coup d'Etat, централизации, военного вмешательства сквозит в дыры карманьолы и блузы. Несмотря на доктринерский протест нескольких аттических умов орлеанской партии, пахнущих Англией на ружейный выстрел.

Террор был величествен в своей грозной неожиданности, в своей неприготовленной, колоссальной мести; но останавливаться на нем с любовью, но звать его без необходимости – странная ошибка, которой мы обязаны реакции. На меня комитет общественного спасения производит постоянно то впечатление, которое я испытывал в магазине Charriere, Rue de l'Ecole de Medicine<sup>75</sup> – со всех сторон блещат зловещим блеском стали – кривые, прямые лезвия, ножницы, пилы... оружия вероятного спасения, но верной боли. Операции оправдываются успехом. Террор и этим похвастаться не может. Он всей своей хирургией не спас республику. К чему была сделана дантономия, к чему эбертотомия? Они ускорили лихорадку термидора, – а в ней республика и зачахла; (50) люди все так же и еще больше бредили спартанскими добродетелями, латинскими сентенциями и латиклавами a la David, бредили до того, что "salus populi"<sup>76</sup> одним добрым днем перевели на "salvum fac imperatorem"<sup>77</sup> и пропели его "соборне" во всем архиерейском орнаменте<sup>78</sup>, в нотрдамском соборе.

Террористы были люди недюжинные, суровые, резкие образы их – глубоко вываялись в пятом действии XVIII века и останутся в истории до тех пор, пока у рода человеческого не зашибет памяти; но нынешние французы-республиканцы на них смотрят не так, они в них видят образцы и стараются быть кровожадными в теории и в надежде приложения.

Повторяя a la Saint-Just натянутые сентенции из хрестоматий и латинских классов, восхищаясь холодным, риторическим красноречием Робеспьера, они не допускают, чтоб их героев судили, как прочих смертных. Человек, который бы стал говорить о них, освобождаясь от обязательных титулов, которые стоят всех наших "в бозе почивших", был бы обвинен в ренегатстве, в измене, в шпионстве.

Изредка встречал я, впрочем, людей эксцентричных, сорвавшихся с своей торной, гуртовой дороги.

Зато уж французы в этих случаях, закусывая удила и усвоивая себе какую-нибудь мысль, не принадлежащую к сумме оборотных мыслей и идей, неслись до того через край, что человек, подавший им эту мысль, сам с ужасом отпрыдывал от нее.

В 1854 доктор Coeur de Roi, посылая мне из Испании свою брошюру, написал ко мне письмо.

Такого озлобленного крика против современной Франции и ее последних революционеров мне редко удавалось слышать. Это был ответ Франции – на легко перенесенный coup d'Etat. Он сомневался в уме, в силе, в "крови" своей расы; он звал казаков для "поправления выродившегося народонаселения". Он писал ко мне, потому что нашел в моих статьях "то же воззрение". – Я отвечал ему, что до исправительной трансфузии<sup>79</sup> (51) крови не иду – и послал ему "Du developpement des idees revolutionnaires en Russie".

Coeur de Roi не остался в долгу; он ответил мне, что возлагает всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить дотла, без пощады и сожаления, цивилизацию, обветшавшую, испорченную и которая не имеет сил ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно уцелевшее письмо его прилагаю:



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
(Перевод)

Г-ну А. Герцену

Сантандер. 27 мая.

Милостивый государь!

Прежде всего я должен поблагодарить Вас за то, что Вы прислали мне Вашу работу о революционных идеях и их развитии в России. Я уже читал эту книгу, но не мог ее оставить у себя, к великому моему сожалению.

Этим я хочу лишь показать Вам, как я ценю ее по существу и по форме и сколь полезной ее считаю для того, чтобы пробудить сознание в каждой из действующих сил мировой революции, особенно у французов, которые полагают, что революция возможна лишь по инициативе С.-Антуанского предместья.

Поскольку Вы оказали мне дружеское внимание, прислав свое произведение, разрешите мне, милостивый государь, выразить Вам мою благодарность, высказав то, что я о нем думаю, – не потому, что я придаю значение своему мнению, но чтобы доказать Вам, что я прочитал Вашу книгу внимательно.

Это – великолепное исследование, цельное и оригинальное, в нем есть подлинная мощь, серьезный труд, неприкрытые истины, глубоко волнующие места. Это молодо и сильно, как славянская раса; отлично чувствуешь, что не парижанин, не какой-нибудь кабинетный ученый, не немецкий филистер писал эти пламенные строки; не конституционный республиканец, не умеренный социалист-теократ, – но казак (Вас не пугает это слово, не правда ли?), крайний анархист, утопист и поэт, приемлющий самые дерзновенные отрицания и утверждения XIX века. Немногие французские революционеры отваживаются на это. (52)

Что касается, в частности, будущего этнографического обновления, то я нашел в Вашей книге (особенно во введении) много мест, которые, как мне кажется, приближаются к моим взглядам. Хотя Ваши заключения не очень точно сформулированы в этом пункте, я полагаю, что для успеха революции Вы рассчитываете на образование демократической федерации славянских народов, которые дадут Европе общий толчок. Разумеется, между нами нет расхождений в отношении цели: воскрешение европейского континента в демократической и. социальной форме. Но я считаю, что цивилизация будет уничтожена абсолютизмом. В этом я усматриваю все различие между нами.

Да, я утвердился в этих взглядах, которые иные называют несчастными заблуждениями, и я настаиваю на них, потому что каждодневно все более убеждаюсь в справедливости того:

1. что сила имеет немалое значение в делах нашего микрокосма;
2. что, изучая ход революционных событий во времени и в пространстве, убеждаешься в том, что сила всегда подготавливает революцию, необходимость которой доказана идеей;
3. что идея не может вершить дело крови и разрушения;
4. что деспотизм, с точки зрения быстроты, верности, возможности исполнения, более способен разрушить целый мир, нежели демократия;
5. что русская монархическая армия будет приведена в действие скорее, чем славянская демократическая фаланга;
6. что в Европе только лишь Россия, еще достаточно сплоченная под властью самодержавия, еще довольно мало раздражаемая интересами собственников и партий, способна образовать массив, клин, дубину, меч, шпагу, привести в исполнение смертный приговор над Западом и рассечь гордиев узел и т. д., и т. д.

Пусть мне укажут другую силу, способную выполнить подобную задачу; пусть мне покажут где-нибудь демократическую армию, в полной готовности, исполненную решимости напасть на народы, на своих братьев, проливать кровь, жечь, разить без оглядки, без колебаний. Тогда я изменю свое мнение. (53)

С Вами я желал бы лишь уточнить вопрос и ограничить его одним-единственным пунктом о способах полного уничтожения западной цивилизации. Мне нет необходимости говорить Вам, что наши оценки прошедшего и будущего совпадают. Мы расходимся только относительно настоящего. Вы, так правильно оценивший революционную роль Петра I, почему Вы не допускаете, что кому-либо другому, Николаю или одному из его преемников, предстоит сыграть такую же роль? Чью еще руку, более могущественную, более объемистую, более способную собрать воедино силы народов-завоевателей, видите Вы на Востоке? Прежде чем славянская демократия найдет свой лозунг и выразит смутную тайну своих чаяний, царь перевернет Европу. Судьба цивилизованных наций в его руках, если он того пожелает. Разве мир не трепещет оттого, что он заговорил чуть громче обычного? Признаюсь Вам, сила-эта так поражает меня, что я не могу постигнуть, как можно рассчитывать найти другую. Революционеры тоже настолько ощущают необходимость диктатуры для разрушения, что сами желали бы установить ее в случае успеха какой-нибудь новой революции. По-моему, они не заблуждаются относительно необходимости этого средства, но только оно не соответствует ни их роли, ни их принципам, ни тем силам, которыми они располагают. Что до меня, то я предпочитаю, чтоб эту отвратительную роль могильщика взял на себя деспотизм.

Это письмо и так уже слишком длинно. Я хотел лишь уточнить с Вами этот спорный пункт. Я хорошо чувствую, что нам сейчас необходимо: личная беседа, один час которой дал бы нам больше, чем тысячи писем. Я не оставляю этой надежды, и день, когда она осуществится, будет для меня желанным днем. Я думаю, что всегда найду общий язык с революционером, тружеником, ученым, человеком большой отваги.

Что же касается глухих (или немых) революционной традиции 93 года, то я очень опасаясь, что Вы никогда не превратите их в международных революционеров и свободных людей. Еще в меньшей мере Вы сделаете их сторонниками собственности, права на труд, обмена и договора. Ведь так соблазнительно помечтать о должности комиссара при войсках или в полиции или же о (54) синекуре представителя народа, опоясанного красивым красным шарфом. Как говорил Рабле, красивые букеты, красивые ленты, нарядный камзол, щегольские гульфики и т. д., и т. д. Большинство наших революционеров так думает!

Взрослые ничуть не умнее детей, но значительно лицемернее их. Они носят пристежные воротнички и ордена и считают себя знаменитостями. Дети серьезнее играют в солдаты, чем великие монархи и величественные трибуны, которыми восхищаются народы.

Вы, конечно, простите меня за то, что я написал Вам, не имея чести быть лично знаком.

В особенности прошу прощения за то, что я высказал о Ваших произведениях мнение, единственным достоинством которого является его искренность. Я полагаю, по своим собственным впечатлениям, что это наиболее действенное выражение благодарности за подарок, доставивший большое удовольствие. Впрочем, наше положение изгнанников и наши общие стремления, как мне кажется, должны избавить нас обоих от необходимости прибегать к пустым формулам банальной вежливости.

Я кончаю, подытоживая свое мнение в двух словах: завтрашние насилие и разрушение - дело царя, послезавтрашние мысль и порядок - дело международных социалистов, славянских в такой же мере, как германо-латинских.

Примите, милостивый государь, уверение в моем глубоком уважении и симпатии.

Эрнест Кердерау.

Я надеюсь, что Вы опубликуете отдельным томом Ваши письма к эсквайру Линтону, с которыми газета "L'Opinion" познакомила своих читателей. Не могли ли бы Вы сообщить мне, существуют ли французские переводы Пушкина, Лермонтова и в особенности Кольцова? То, что Вы о них говорите, возбуждает во мне безграничное желание прочитать их.

Лицо, которое передаст Вам это письмо, - мой друг Л. Шарр, как и мы, изгнанник; ему я посвятил "Мои дни изгнания". (55)

ПРИБАВЛЕНИЕ

ДЖОН-СТЮАРТ МИЛЛЬ И ЕГО КНИГА "ON LIBERTY"

Много я принял горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, без страха и сожаления, высказываю это. С того времени, как я печатал в "Современнике" мои "Письма из Avenue Marigny", часть друзей и недругов показывали знаки нетерпения, негодования, возражали... а тут, как назло, с каждым событием становилось на Западе темнее, угарнее - и ни умные статьи Парадоля, ни клерикально-либеральные книжонки Монталамбера, ни замена прусского короля - прусским принцем не могли отвести глаз, искавших истины. У нас не хотят этого знать и, натурально, сердятся на нескромного обличителя.

Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надобно выдумать. Разве наивные вольнодумцы XVIII века, и в их числе Вольтер и Робеспьер, не говорили, что если и нет бессмертия души, то его надобно проповедовать, для того чтоб держать людей в страхе и добродетели? Или разве мы не видим в истории, как иногда вельможи скрывали тяжкую болезнь или скоропостижную смерть царя и управляли именем трупа или сумасшедшего, как это недавно было в Пруссии.

Ложь ко спасению - дело, может, хорошее, но не все способны к ней.

Я не унывал, впрочем, от порицаний и утешал себя тем, что и здесь мною высказанные мысли принимались не лучше, да еще тем, что они объективно истинны, то есть независимы от личных мнений и даже добрых целей воспитания, исправления нравов и т. д. Все само по себе истинное рано или поздно взойдет и обличится, "kommt an die Sonnen"<sup>80</sup>, как говорит Гете.

Одна из причин неудовольствия, собственно против моих мнений, антропологически понятна, сверх докучного беспокойства, приносимого разрушением оконченных мнений и окаменелых идеалов, на меня досадовали за то, что я свой человек, с чего же в самом деле вдруг вздумал судить и рядить - да еще старших, и каких? (56)

В нашем новом поколении есть странный кряж, в нем спаяны, как в маятниках, самые противоположные элементы, с одной стороны - оно толкается каким-то жестяным, костлявым, неукладчивым самолюбием, заносчивой самонадеянностью, щепетильной обидчивостью; с другой - в нем поражает обескураженная подавленность, недоверие к России, преждевременное старчество. Это естественный результат тридцатилетнего рабства; в нем в иной форме сохранилась наглость начальника, дерзость барина с подавленностью подчиненного, с отчаянием ревизской души, отпускаемой в услужение.

Пока меня побранивали наши начальники литературных отделений, время шло себе да шло, и, наконец, прошло целых десять лет. Многое из того, что было ново в 1849, стало в 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасбродным парадоксом, перешло в общественное мнение и много вечных и незыблемых истин прошли с тогдашним покроем платья.

Серьезные умы в Европе стали смотреть серьезно. Их очень немного, это только подтверждает мое мнение о Западе, но они далеко идут, и я очень помню, как Т. Карлейль и добродушный Олсоп (тот, который был замешан в дело Орсини) улыбались над остатками моей веры в английские формы. Но вот является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною, *Pereant, qui ante nos nostra dixerunt*<sup>81</sup>, и спасибо тем, которые после нас своим авторитетом утверждают сказанное нами и своим талантом ясно и мощно передают слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудоном, ни даже Пьером Леру или другим социалистом, изгнанником, раздраженным, - совсем нет, она писана одним из известнейших политических экономов, одним из недавних членов индийского борда<sup>82</sup>, которому три месяца тому назад лорд Стенли предлагал место в правительстве. Человек этот пользуется огромным, заслуженным авторитетом; в Англии его нехотя читают тори и со злобой - виги, его читают на материке те несколько человек (исключая специалистов), которые вообще читают что-нибудь, кроме газет и памфлетов. (57)

Человек этот Джон-Стюарт Милль.,

Месяц тому назад он издал странную книгу в защиту свободы мысли, речи и лица; я

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru говорю "странную" потому, что неужели не странно, что там, где за два века Мильтон писал о том же, явилась необходимость снова поднять речь on Liberty. А ведь такие люди, как С. Милль, не могут писать из удовольствия; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Он потому заговорил, что зло стало хуже. Мильтон защищал свободу речи против нападения власти, против насилия, и все энергическое и благородное было с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной: он отстаивает свободу не против образованного правительства, а против общества. против нравов, против мертвящей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости, против "посредственности".

Это - не негодующий старик царедворец Екатерины, который брюзжит, обойденный кавалерией, над юным поколением и колет глаза Зимнему дворцу Грановитой палатой. Нет, это человек, полный сил, давно живущий в государственных делах и глубоко продуманных теориях, привыкший спокойно смотреть на мир и как англичанин, и как мыслитель, и он-то, наконец, не вытерпел и, подвергаясь гневу невольных регистраторов цивилизации и москворецких книжников западного образования, закричал: "Мы тонем!"

Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его; он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, "добропорядочнее", но пошлее. Он видит в Англии (то, что Токвиль заметил во Франции), что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: "Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете, посмотрите - душа убывает".

Но зачем же будит он спящих, какой путь, какой выход он придумал для них. Он, как некогда Иоанн Предтеча, грозит будущим и зовет на покаяние; вряд второй раз подвинешь ли этим отрицательным рычагом людей, Стюарт Милль стыдит своих современников, как стыдил своих Тацит; он их этим не остановит, как не остановил Тацит. Не только несколькими печальными упре(58)ками не уймешь убывающую душу, но, может, никакой плотиной в мире.

"Люди иного закала, - говорит он, - сделали из Англии то, что она была, и только люди другого закала могут ее предупредить от падения".

Но это понижение личностей, этот недостаток закала только патологический факт, и признать его очень важный шаг для выхода - но не выход. Стюарт Милль корит больного, указывая ему на здоровых праотцев;

странное лечение и едва ли великодушное.

Ну что же, начать теперь корить ящерицу допотопным ихтиосавром - виновата ли она, что она маленькая, а тот большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, закричал со страстей и с горя, как богатыри в наших сказках: "Есть ли в поле жив человек?"

Зачем же он его звал? Затем, чтоб сказать ему, что он выродившийся потомок сильных праотцев и, следственно, должен сделаться таким же, как они.

Для чего? - Молчание.

И Роберт Оуэн звал людей лет семьдесят сряду и тоже без всякой пользы; но он звал их на что-нибудь Это что-нибудь была ли утопия, фантазия, или истина, нам теперь до этого дела нет; нам важно то, что он звал с целью; а С. Милль, подавляя современников суровыми, рембрандтовскими тенями времен Кромвеля и пуритан, хочет, чтоб вечно обвешивающие, вечно обмеривающие лавочки сделались из какой-то поэтической потребности, из какой-то душевной гимнастики - героями!

Мы можем также вызвать монументальные, грозные личности французского Конвента и поставить их рядом с бывшими, будущими и настоящими французскими шпионами и епископами и начать речь вроде Гамлета:

Look here, upon this picture and on this...

Hyperions curis, the front of Jove himself;

An eye like Mars...

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Look you now, what follows,

Here is your husband...84 (59)

Это будет очень справедливо и еще больше обидно – но неужели от этого кто-нибудь оставит свой пошлый, но удобный быт, и все это для того, чтоб величаво скучать, как Кромвель, или стоически нести голову на плаху, как Дантон?

Тем было легко так поступать, потому что они были под господством страстного убеждения – *dune idee fixe*.

Такая *idee fixe* был католицизм в свое время, потом протестантизм, наука в эпоху Возрождения, революция в XVIII столетии.

Где же эта святая мономания, этот *magnum ignotum*<sup>85</sup>, этот сфинксовский вопрос нашей цивилизации, где та могущая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, как сталь, довести душу до того судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер?

Посмотрите кругом – что в состоянии одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религия ли папы с его незапятнанным рождением богородицы, или религия без папы с ее догматом воздержания от пива в субботний день? Арифметический ли пантеизм всеобщей подачи голосов или идолопоклонство монархии, суеверие ли в республику, или суеверие в парламентские реформы?.. Нет и нет; все это бледнеет, стареет и укладывается, как некогда боги Олимпа укладывались, когда они съезжали с неба, вытесняемые новыми соперниками, подымавшимися с Голгофы.

Только на беду их нет у наших почерневших кумиров, по крайней мере С. Милль не указывает их.

Знает он их или нет, это сказать трудно.

С одной стороны, английскому гению противно отвлеченное обобщение и смелая логическая последовательность, он своим скептицизмом чует, что логическая крайность, как законы чистой математики, неприлагаемы без ввода жизненных условий. С другой стороны, он привык физически и нравственно застегивать пальто на все пуговицы и .поднимать воротник, это его предостерегает от сырого ветра и от суровой нетерпимости. В той же книге С. Милля мы видим пример этому. Двумя-тремя ударами необычайной ловкости он опрокинул немного падшую на (60) ноги христианскую мораль и во всей книге ничего не сказал о христианстве<sup>86</sup>.

С. Милль, вместо всякого выхода, вдруг замечает! "В развитии народов, кажется, есть предел, после которого он останавливается и делается Китаем".

Когда же это бывает?

Тогда, отвечает он, когда личности начинают стираться, пропадать в массах, когда все подчиняется принятым обычаям, когда понятие добра и зла смешивается с понятием сообразности или несообразности с принятым. Гнет обычая останавливает развитие – развитие, собственно, и состоит из стремления к лучшему от обычного. Вся история состоит из этой борьбы, и если большая часть человечества не имеет истории, то это потому, что жизнь ее совершенно подчинена обычаю.

Теперь следует взглянуть, как наш автор рассматривает современное состояние образованного мира. Он говорит, что, несмотря на умственное превосходство нашего времени, все идет к посредственности, лица теряются в толпе. Эта *collective mediocrity*<sup>87</sup> ненавидит все резкое, самобытное, выступающее; она проводит над всем общий уровень. А так как в среднем разрезе у людей не много ума и не много желаний, то сборная посредственность, как топкое болото, понимает, с одной стороны, все желаемое вынырнуть, а с другой предупреждает беспорядок эксцентричных личностей – воспитанием новых поколений в такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведения состоит преимущественно в том, чтоб жить, как другие: "Горе мужчине, а особливо женщине, которые вздумают де(61)лать то, чего никто не делает; но горе и тем, которые не делают того, что делают все". Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими делами к иной раз для развлечения шалят в филантропию (*philantropic hobby*<sup>88</sup>) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то среде принадлежит сила и власть, самое правительство по той мере мощно, по какой оно служит органом господствующей среды и понимает ее инстинкт.

Какая же это державная среда? "В Америке к ней принадлежат все белые, в Англии господствующий слой составляет среднее состояние"<sup>89</sup>.

С. Милль находит одно различие между мертвой неподвижностью восточных народов и современным мещанским государством. И в нем-то, мне кажется, находится самая горькая капля из всего кубка полыни, поданного им. Вместо азиатского косного покоя современные европейцы живут, говорит он, в пустом беспокойстве, в бессмысленных переменах: "Отвергая особности, мы не отвергаем перемен, лишь бы они были всякий раз сделаны всеми. Мы бросили своеобычную одежду наших отцов и готовы менять два-три раза в год покрой нашего платья, но с тем, чтоб все меняли его, и это делается не из видов красоты или удобства, а для самой перемены!"

Если личности не высвободятся от этого утягивающего омута, от замаривающей топи, то "Европа, несмотря на свои благородные antecedенты и свое христианство, сделается Китаем".

Вот мы и возвратились и стоим перед тем же вопросом. На каком основании будить спящего; во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая в мелочь вдохновится, сделается недовольна своей теперешней жизнью с железными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изделиями?

Личности не выступают оттого, что нет достаточного повода. За кого, за что или против кого им выступать? Отсутствие сильных деятелей не причина, а последствие,

Точка, линия, после которой борьба между желанием лучшего и сохранением существующего оканчивается в пользу сохранения, наступает (кажется нам) тогда, когда господствующая, деятельная, историческая часть народа близко подходит к такой форме жизни, которая соответствует ему; это своего рода насыщение, сатурация; все приходит в равновесие, успокаивается, продолжает вечное одно и то же - до катаклизма, обновления или разрушения. *Semper idem*<sup>90</sup> не требует ни огромных усилий, ни грозных бойцов; в каком бы роде они ни были, они будут лишние, середь мира не нужно полководцев.

Чтоб не ходить так далеко, как Китай, взгляните возле, на ту страну на Западе, которая наиболее отстоялась, на страну, которой Европа начинает садеться, - на Голландию: где ее великие государственные люди, где ее великие живописцы, где тонкие богословы, где смелые мореплаватели? Да на что их? Разве она несчастна оттого, что не мятется, не бушует, оттого, что их нет? Она вам покажет свои смеющиеся деревни на осушенных болотах, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорт, свою свободу и скажет: "Мои великие люди приобрели мне эту свободу, мои мореплаватели завещали мне это богатство, мой великие художники украсили мои стены и церкви, мне хорошо, - чего же вы -от меня хотите? Резкой борьбы с правительством? Да разве оно теснит? У нас и теперь свободы больше, нежели во Франции когда-либо бывало".

Да что же из этой жизни?

Что выйдет? Да вообще, что из жизни выходит? А потом - разве в Голландии нет частных романов, коллизий, сплетней; разве в Голландии люди не любят, не плачут, не хохочут, не пьют песни, не пьют скидама, не пляшут в каждой деревне до утра? К тому же не следует забывать, что, с одной стороны, они пользуются всеми плодами образования, наук и художеств, а с другой - им бездна дела: гран-пасьянс торговли, меледа хозяйства, воспитание детей по образу и подобию своему; не успеет голландец оглянуться, обдосужиться, а уж его несут на "божью ниву" в щегольски отлакированном гробе, в то время как сын уж запряжен в торговое колесо, которое необходимо следует беспрестанно вертеть, а то дела остановятся.

Так можно прожить тысячу лет, если не помешает какое-нибудь второе пришествие Бонапартова брата.

От старших братии я прошу позволение отступить к меньшим.

Мы не имеем достаточно фактов, но можем предположить, что животные породы, так,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru как они установились, представляют последний результат долгого колебания разных видоизменений, ряда совершенствований и достижений. Эта история делалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нерв.

Допотопные животные представляют какую-то героическую эпоху этой книги бытия, это титаны и богатыри, они мельчают, уравниваются с новой средой и как только достигают довольно ловкого и прочного типа, начинают типически повторяться, и до такой степени, что Улиссова собака в "Одиссее" похожа, как две капли воды, на всех наших собак. И это не все: кто сказал, что животные политические или общественные. живущие не только стадом, но и с некоторой организацией, как муравьи и пчелы, что они так сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Миллионы поколений легли и погибли прежде, чем они устроились и упрочили свои китайские муравейники.

Я желал бы уяснить этим, что если какой-нибудь народ дойдет до этого состояния ответственности внешнего общественного устройства с своими потребностями, то ему нет никакой внутренней необходимости, до перемены потребностей, идти вперед, воевать, бунтовать, производить эксцентрические личности.

Покойное поглощение в стаде, в улье - одно из первых условий сохранения достигнутого.

До этого полного покоя мир, о котором говорит С. Милль, не дошел. Он, после всех своих революций и потрясений, не может ни устояться, ни отстояться, бездна дряни наверху, все мутно, нет ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной белизны. В нем множество неспетого, уродливого, даже болезненного, и в этом отношении ему предстоит действительно на его собственном пути еще шаг вперед, Ему надобно приобрести не энергические личности, не эксцентрические страсти, а частную мораль своего по(64)ложения. Англичанин перестанет обвешивать, француз - помогать всякой полиции, этого требует не только respectability<sup>91</sup>, но и прочность быта.

Тогда Англия может, по словам С. Милля, превратиться в Китай (и, конечно, в усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, то есть облегчая его по мере возрастания обязательного обычая, который лучше всех судов и наказаний заморит волю. А Франция может в это время взойти в красивое военное русло персидской жизни, расширенное всем, что образованная централизация дает в руки власти, вознаграждая себе за потерю всех человеческих прав блестящими набегами на соседей и приковывая другие народы к судьбам централизованной деспотии... черты зуавов уже теперь больше принадлежат азиатскому типу, чем европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятия, я тороплюсь сказать, что здесь речь идет ни о моих желаниях, ни даже о моих мнениях. Труд мой чисто логический, я хотел развернуть скобки формулы, в которой выражен результат С. Милля, я хотел от его личностей-дифференциалов взять исторический интеграл.

Стало быть, вопрос не может быть в том, учтиво ли пророчить Англии судьбы Китая (это же сделал не я, а он сам) и деликатно ли предсказывать Франции, что она будет Персией. Хотя, по справедливости, я и не знаю, отчего же Китай и Персию можно безнаказанно оскорблять. Вопрос действительно важный, до которого С. Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подседа и здоровые ростки, чтоб прорасти измельчавшую траву? А этот вопрос сводится на то - потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии, на безвыходную, черную работу, на невежество и проголодь; позволяя взамен, как в лотерейной игре, одному на десять тысяч, в пример, ободрение и усмирение прочим, разбогатеть и сделаться из снедаемого обедающим. (65)

Вопрос этот разрешат события, - теоретически его не решишь.

Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы.

Но если народ сломит, неминуем социальный переворот!

Не это ли и есть идея, которая может быть произведена в *idee fixe*, несмотря на пожимание плеч аристократии, ни на скрежет зубов мещан?

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Народ это чуёт и очень; прежней детской веры в законность или по крайней мере – в справедливость того, что делается, нет; есть страх перед силой и неумение возвести в общее правило частную боль; но слепого доверия нет. Во Франции народ грозно заявил свой протест в то самое время, когда среднее состояние в упоении от власти и силы венчало себя на царство под именем республики и, развалясь с Маррастом на креслах Людовика XV в Версале, диктовало законы; народ восстал с отчаяния, видя, что он опять остался за дверями и без куска хлеба; он восстал варварски, не имея никакого решения, без плана, без вождей, без средств, но в энергических личностях у него недостатка не было, и еще больше – он, с другой стороны, вызвал этих хищных, кровожадных коршунов вроде Каваньяка.

Народ побили наголову. Вероятности Персии поднялись, и с тех пор все идут в гору.

Как английский работник поставит свой социальный вопрос, мы не знаем, но воловьей упорность его велика. С его стороны числовое большинство; но сила не с его стороны. Число ничего не доказывает. Три-четыре линейных казака да два-три гарнизонных солдата водят из Москвы в Сибирь по пятисот колодников.

Если народ и в Англии будет побит, как в Германии во время крестьянских войн, как во Франции в Июньские дни, – тогда Китай, пророчимый Стюарт Миллем, не далек. Переход в него сделается незаметно, не утратится, как мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только способность пользоваться этими правами и этой свободой!

Люди робкие, люди чувствительные говорят, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, как согласиться с ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоит именно в том, что та идея, которая может; (66) спасти народ и устремить Европу к новым судьбам, – невыгодна господствующему классу, что ему, если б он был последователен и смел, выгодно только государство – с американским невольничеством!<sup>92</sup>

(ГЛАВА IV). ДВА ПРОЦЕССА

Rule, Britannia!<sup>93</sup>

1. дуэль<sup>94</sup>

В 1853 году известный коммунист Виллих познакомил меня с парижским работником Бартелеми. Имя его я знал прежде по июньскому процессу, по приговору и, наконец, по его бегству из Бель-Иля.

Он был молод, невысокого роста, но мускульно сильного сложения; черные, как смоль, и курчавые волосы придавали ему что-то южное; лицо его, слегка отмеченное оспой, было красиво и резко. Постоянная борьба воспитала в нем непреклонную волю и умение управлять ею. Бартелеми был один из самых цельных характеров, которых мне случилось видеть. Школьного, книжного образования он не имел, кроме по своей части: он был отличным механиком – заметим мимоходом, что из числа механиков, машинистов, инженеров, работников на железных дорогах вышли самые решительные бойцы июньских баррикад.

Жизненная мысль его, страсть всего его существования была неутолимая, спартаковская жажда восстания рабочего класса против среднего сословия. Мысль эта у него была неразрывна с свирепым желанием истребления буржуазии.

Какой комментарий дал мне этот человек к ужасам 93 и 94 года, к сентябрьским дням, к той ненависти, с которой ближайшие партии уничтожали друг друга; в нем я наглядно видел, как человек может соединять (67) желание крови с гуманностью в других отношениях, даже с нежностью, и как человек может быть правым перед совестью, посылая, как Сен-Жюст, десятки людей на гильотину.

"Чтоб революция в десятый раз не была украдена из наших рук, – говорил Бартелеми, – надобно дома. в нашей семье сломить голову злейшему врагу. За прилавком, за конторкой мы его всегда найдем – в своем стане следует его побить!" В его листы проскрипции входила почти вся эмиграция: Виктор Гюго, Маццини, Виктор Шельшер и Кошут. Он исключал очень немногих и в том числе, я помню, Луи Блана.



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Особым задушевым предметом его ненависти был Ледрю-Роллен. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лицо Бартелеми судорожно подергивалось, когда он говорил об "этом диктаторе буржуазии".

А говорил он мастерски, этот талант становится реже и реже. Публичных говорунов в Париже и особенно в Англии бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевых карандашей, наемные светские и духовные ораторы в парках – все они имеют удивительную способность проповедовать, но говорить для комнаты умеют немногие.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная в одну точку, действовала, как пламя паяльной трубки. Он говорил плавно, не возвышая голоса, не махая руками, его фразы и выбор слов были правильны, чисты и совершенно свободны от трех проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.

Откуда же взял этот работник, воспитанный в душных мастерских, где ковали и тянули железо для машин, в душных парижских закоулках, между питейным домом и наковальнею, в тюрьме и на каторжной работе – верное понятие меры и красоты, такта и грации, – понятие, утраченное буржуазной францией? Как он умел сохранить естественность языка середь вычурных риторов, гасконцев революционной фразы?

Это действительно задача.

Видно, около мастерских веет воздух посвежее. Впрочем, вот его жизнь. (68)

Ему не было двадцати лет, когда он замешался в какую-то эмёту<sup>95</sup> при Людвиге-Филиппе. Жандарм остановил его, и так как он стал ему что-то говорить, то жандарм хватил его кулаком в лицо. Бартелеми, которого держал муниципал, рванулся, но не мог ничего сделать. Удар этот пробудил тигра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работник, встал на другой день переродившимся.

Надобно заметить, что арестованного Бартелеми полиция отпустила, найдя его невиноватым. Об обиде, причиненной ему, никто и говорить не хотел. "Зачем ходить по улицам во время эмёты! Да и как найти теперь жандарма!"

Вот как. Бартелеми купил пистолет, зарядил его и пошел бродить около тех мест; побродил день-другой, вдруг на углу стоит жандарм. Бартелеми отвернулся и взвел курок.

- Вы меня узнали? – спросил он полицейского.
- Еще бы нет.
- Так вы помните, как вы?..
- Ну ступайте, ступайте своей дорогой, – сказал жандарм.
- Счастливого и вам пути, – отвечал Бартелеми и спустил курок.

Жандарм повалился, а Бартелеми пошел. Жандарм был смертельно ранен, но не умер.

Бартелеми судили как простого убийцу. Никто не взял в расчет величину обиды, особенно по понятиям французов, невозможность работника послать ему вызов, невозможность сделать процесс. Бартелеми был осужден на каторжную работу. Это был третий пансион, в котором он воспитывался после кузницы и тюрьмы. При переборе дел министром юстиции Кремье, после февральской революции, Бартелеми выпустили.

Пришли Июньские дни. Бартелеми, принадлежавший к горячим последователям Бланки, явился тут во весь рост. Он был схвачен, геройски защищая баррикаду, и сведен в форты. Одних победители расстреливали, другими набивали тюльерийские подвалы, третьих отсылали в форты и там иногда расстреливали, случайно, больше, чтоб очистить место. (69)

Бартелеми уцелел; в суде он и не думал оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимого, чтоб из нее сделать трибуну для обвинения Национальной гвардии. Ему мы обязаны многими подробностями о каннибальских подвигах защитников порядка,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru сделанных втихомолку, некоторым образом семейно. Несколько раз президент приказывал ему молчать и, наконец, перервал его речь приговором на каторжную работу, помнится, на пятнадцать или двадцать лет (у меня нет перед глазами июньского процесса).

Бартелеми был с другими отправлен в Белл-Не.

Года через два он бежал оттуда и явился в Лондон с предложением ехать назад и устроить бегство шести заключенных. Небольшая сумма денег, которую он просил (тысяч 6 – 7 фр.), была ему обещана, и он, одевшись аббатом, с молитвенником в руке, отправился в Париж, в Бель-Иль, все устроил и возвратился в Лондон за деньгами. Говорят, что дело не состоялось за спором, освободить ли Бланки, или нет. Сторонники Барбеса и других лучше желали оставить несколько человек друзей в тюрьме, чем освободить одного врага.

Бартелеми уехал в Швейцарию. Он разошелся со всеми партиями и отстал от них; с ледрю-ролленистами он был заклятый враг, но он не был другом и с своими; он был слишком резок и угловат, крайние мнения его были неприятны запевалам и отпугивали слабых. В Швейцарии он особенно занялся ружейным мастерством. Он изобрел особенного устройства ружье, которое заряжалось по мере выстрелов – и, таким образом, давало возможность пустить ряд пуль в одну точку, друг за другом. Этим ружьем он думал убить Наполеона, но дикие страсти Бартелеми два раза спасли Бонапарта от человека, в котором решимости было не меньше, чем у Орсини.

В партии Ледрю-Роллена находился лихой человек, бретёр, гуляка и сорвиголова Курне.

Курне принадлежал к особому типу людей, который часто встречается между польскими панами и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими в деревне; к ним принадлежал Денис Давыдов и его "собутыльник" Бурцев, Гагарин – Адамова головка и секундانت Ленского Зарецкий. В вульгарной форме они встречаются между прусскими "юнке(70)рами" и австрийским казарменным бродерством<sup>96</sup>. В Англии их совсем нет, во Франции они дома, как рыба в воде, но рыба с почищенной лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безрассудства и очень недалёкие. Они всю жизнь живут воспоминанием двух-трех случаев, в которых они прошли сквозь огонь и воду, кому-нибудь обрубили уши, простояли под градом пуль. Случается, что они сперва наклеплют на себя отважный поступок, – а потом действительно его сделают, чтоб подтвердить свои слова. Они смутно понимают, что этот задор их сила, единственный интерес, которым они могут похвастаться; а хвастаться им хочется смертельно. При этом – они часто хорошие товарищи, особенно в веселой беседе и до первой размолвки; за своих стоят грудью; и вообще имеют больше военной отваги, чем гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки в картах и в жизни, ланскене всякого отчаянного предприятия – особенно, если притом можно надеть мундир с генеральским шитьем, схватить денег, крестов – и потом снова успокоиться на несколько лет в бильярдной или кофейной. А уж помогая Наполеону ли в Страсбурге, герцогине ли Беррийской в Блуа, или красной республике в предместьях св. Антона – все равно. Храбрость и удача для них и для всей Франции покрывают все.

Курне начал свою карьеру во флоте во время ссоры Франции с Португалией. Он с несколькими товарищами влез на португальский фрегат, овладел экипажем и взял фрегат. Случай этот определил и окончил дальнейшую жизнь Курне. Вся Франция говорила о молодом мичмане; далее он не пошел и так же кончил свою карьеру абордажем, которым начал ее, как если б он на нем был убит наповал. Из флота он был впоследствии исключен. В Европе царил глухой мир; Курне поскучал, поскучал и стал воевать на свой салтык. Он говорил, что у него было до двадцати дуэлей – положим, что их было десять, и этого за глаза довольно, чтоб его не считать серьезным человеком.

Как он попал в красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли он во французской эмиграции не играл. (71) Рассказывали об нем разные анекдоты, как он в Бельгии поколотил полицейского, который хотел его арестовать, и ушел от него – и другие проделки в том же роде. Он считал себя "одной из первых шпаг во Франции".

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Мрачная храбрость Бартелеми, исполненного, по-своему, необузданнейшим самолюбием, столкнувшись с надменной храбростью Курне, должна была привести к бедствиям. Они ревновали друг друга. Но, принадлежа к разным кругам, к враждебным партиям, они могли всю жизнь не встречаться. Добрые люди братски помогли делу.

Бартелеми имел на Курне какой-то зуб за письма, посланные ему через Курне из Франции, которые до него не дошли. Очень вероятно, что в этом деле он не был виноват; вскоре к этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился в Швейцарии с одной актрисой, итальянкой, и был с нею в связи. "Какая жалость, говорил Курне, - что этот социалист из социалистов пошел на содержание к актрисе". Приятели Бартелеми тотчас написали ему это. Получив письмо, Бартелеми бросил свой проект ружья и свою актрису и прискакал в Лондон.

Мы уже сказали, что он был знаком с Виллихом. Виллих был человек с чистым сердцем и очень добрый прусский артиллерийский офицер; он перешел на сторону революции и сделался коммунистом. Дрался в Бадене за народ, начальствуя орудиями во время Геккерова восстания, и, когда все было побито, уехал в Англию. В Лондон он явился без гроша денег, попробовал давать уроки математики, немецкого языка, ему не повезло. Он бросил учебные книги и, забывая бывшие эполеты, геройски стал работником. С несколькими товарищами они завели мастерскую щеточных изделий; их не поддержали. Виллих не терял надежды ни на восстание Германии, ни на поправку своих дел, однако дела не поправлялись, и он надежду на тевтонскую республику увез с собою в Нью-Йорк, где получил от правительства место землемера.

Виллих понял, что дело с Курне примет очень дурной оборот, и сам себя предложил в посредники. Бартелеми вполне верил Виллиху и поручил ему дело. Виллих отправился к Курне; твердый, спокойный тон Виллиха (72) подействовал на "первую шпагу"; он объяснил историю писем; после, на вопрос Виллиха: "уверен ли он, что Бартелеми жил на содержании у актрисы?" - Курне сказал ему, что "он повторил слух - и что жалеет об этом".

- Этого, - сказал Виллих, - совершенно достаточно; напишите, что вы сказали, на бумаге, отдайте мне, и я с искренней радостью пойду домой.

- Пожалуй, - сказал Курне и взял перо.

- Так это вы будете извиняться перед каким-нибудь Бартелеми, - заметил другой рефюжье, взошедший в конце разговора.

- Как извиняться? И вы принимаете это за извинение?

- За действие, - сказал Виллих, - честного человека, который, повторивши клевету, жалеет об этом.

- Нет, - сказал Курне, бросая перо, - этого я не могу.

- Не сейчас же ли вы говорили?

- Нет, нет, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, что я "сказал это потому, что хотел сказать".

- Брависсимо! - воскликнул другой рефюжье.

- На вас, милостивый государь, падет ответственность за будущие несчастья, - сказал ему Виллих и вышел вон.

Это было вечером; он зашел ко мне, не выдавшись еще с Бартелеми; печально ходил он по комнате, говоря: "Теперь дуэль неотвратима! Экое несчастье, что этот рефюжье был налицо".

"Тут не поможешь, - думал я, - ум молчит перед диким разгаром страстей; а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерий<sup>97</sup> и разных хористов в амфитеатре!.."

Через день, утром, я шел по Пель-Мелю; Виллих скорыми шагами торопился куда-то; я остановил его;

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
бледный и встревоженный, обернулся он ко мне:

- Что?

- Убит наповал.

- Кто? (73)

- Курне, я бегу к Луи Блану - за советом, что делать.

- Где Бартелеми?

- И он, и его секундант, и секунданты Курне в тюрьме, один из секундантов только не взят, по английским законам Бартелеми можно повесить.

Виллих сел на омнибус и уехал. Я остался на улице, постоял, постоял, повернулся и пошел опять домой.

Часа через два пришел Виллих. Луи Блан принял, разумеется, деятельное участие, хотел посоветоваться с известными адвокатами. Всего лучше, казалось, поставить дело так, чтоб следователи не знали, кто стрелял и кто был свидетелем. Для этого надобно было, чтоб обе стороны говорили одно и то же. В том, что английский суд не захочет, в деле дуэли, употреблять полицейские уловки, - в этом все были уверены.

Надобно было передать это приятелям Курне, но никто из знакомых Виллиха не ездил ни к ним, ни к Ледрю-Роллену, - Виллих поэтому отправил меня к Маццини.

Я его застал сильно раздраженным.

- Вы, верно, приехали, - сказал он, - по делу этого убийцы?

Я посмотрел на него, намеренно помолчал и сказал:

- По делу Бартелеми.

- Вы с ним знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастного Курне, были тоже приятели и друзья...

- Которые, вероятно, не называли его разбойником за то, что он был на двадцати дуэлях, на которых, кажется, не он был убит.

- Теперь ли поминать об этом.

- Я отвечаю.

- Что же, теперь спасти его из петли?

- Я полагаю, что особенного удовольствия никому не будет, если повесят человека, который себя так вел, как Бартелеми на июньских баррикадах. Впрочем, речь идет не о нем одном, а и о секундантах Курне.

- Его не повесят.

- Почем знать, - заметил хладнокровно молодой английский радикал, причесанный а la Jesus, молчавший все время и подтверждавший слова Маццини головой, дымом сигары и какими-то неуловимыми полиф(74)тонгами, в которых пять-шесть гласных, сплюснутых вместе, составляли одну сводную.

- Вы, кажется, ничего не имеете против этого?

- Мы любим и уважаем закон. . - Не оттого ли, - заметил я, придавая добродушный вид моим словам, - все народы больше уважают Англию, чем любят англичан.

- Оеуэ? - спросил радикал, а может, и отвечал.

- В чем дело? - перебил Маццини.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Я рассказал ему. .

Они уже сами думали об этом и пришли к тому же результату.

Процесс Бартелеми имеет чрезвычайный интерес. Редко английский и французский характер обличались с такой резкостью, в такой тесной и удобоизмеримой раме.

Начиная с места поединка, все было нелепо: они дрались близ Виндзора, для этого надобно было по железной дороге (которая только идет в Виндзор) отъехать несколько десятков миль от границы внутрь королевства, в то время как вообще люди дерутся на границе, близ кораблей, лодок и проч. Выбор Виндзора, сверх того, сам по себе был никуда не годен. Королевский дворец, любимая резиденция Виктории, разумеется, в полицейском отношении находится под двойным надзором. Я полагаю, что место это было выбрано очень просто потому, что французы из всех окрестностей Лондона только и знают: Ришмон и Вансор.

Секунданты взяли на всякий случай рапиры с отточенными концами, хотя и знали, что противники будут стреляться. Когда Курне пал – все, за исключением одного секунданта, который уехал особо и вследствие того спокойно пробрался в Бельгию, поехали вместе, не забыв с собой взять рапиры. Когда они прибыли на ватерлооскую станцию в Лондоне, телеграф уже давно известил полицию. Полиции искать было нечего: "четыре человека, с бородами и усами, в фуражках, говорящие по-французски и с завернутыми рапирами", были взяты выходя из вагонов.

Как же все это могло случиться? Не нам, кажется, учить французов прятаться от полиции. Злее и расторопнее, безнравственнее и неутомимее в своем усердии нет полиции в мире, как французская. Во время Люд(75)вига-Филиппа ищущий и искомый играли мастерски свою партию, каждый ход был рассчитан (теперь это не нужно: полиция по-русски, вперед говорит шах и мат), но ведь время Людвиг-Филиппа не за горами. Каким же образом такой умный человек, как Бартелеми, и такие бывалые люди, как секунданты Курне, наделали столько промахов?

Причина одна и та же: совершенное незнание Англии и английских законов. Они слышали, что никого арестовать нельзя без "уаранд"; они слышали о каком-то "абеас корпюс", по которому следует выпустить человека по требованию адвоката, и полагали, что они доедут домой, переоденутся и будут в Бельгии, когда утром за ними придет одураченный констабль, непременно с палочкой (как их описывают во французских романах), и скажет, увидя, что их нет: "Goddamn!"<sup>98</sup>, – несмотря на то, что ни констабли палочек не носят, ни англичане не говорят "goddamn!".

Арестованных посадили в Сиггеускую тюрьму. Начались посещения, поехали дамы, поехали приятели убитого Курне. Полиция, разумеется, тотчас догадалась, в чем дело и как оно было; впрочем, этого нельзя ей поставить в заслугу, приятели и неприятели Бартелеми и Курне кричали в трактирах и public-гаузах<sup>99</sup> о всех подробностях дуэли, разумеется прибавляя и такие, которых вовсе не было и совершенно не могло быть. Но официально полиция не хотела знать, и потому, когда одни посетители спрашивали позволение видеть секунданта "Бароне", другие секунданта Бартелеми, полицейский офицер решился им сказать: "Гг., мы вовсе не знаем, кто из них секундант, кто виноватый, следствие еще не открыло всех обстоятельств дела, называйте, пожалуйста, знакомых ваших по именам". Первый урок!

Наконец, судебный круг дошел до Surrey, назначен был день, в который Lord-chief-justice<sup>100</sup> кембель будет судить дело о неизвестно кем убитом французе Курне и прикосновенных к его убийству лицах.

Я тогда жил возле Primrose-hill; часов в семь холодно-туманного февральского утра вышел я в (76) Режент-парк, чтоб, пройдя его, отправиться на железную дорогу.

День этот остался очень рельефно в моей памяти. От тумана, покрывавшего парк и белых лебедей, сонно плывших по воде, подернутой искрасно-желтым дымом, до той минуты, когда далеко за полночь я сидел с одним lawyerом у Верри на Режент-стрите и пил шампанское за здоровье Англии. Все как на блюдецке.

Я английского суда не видал прежде; комизм средневековой mise en scene будит в нас больше воспоминаний оперы-буффы, чем почтенной традиции, но это можно забыть в этот день.

Около десяти часов, перед гостиницею, где стоял лорд Кембель, явились первые маски, герольды с двумя трубачами, возвестившие, что лорд Кембель в открытом суде будет в десять часов судить такое-то дело. Мы бросились к дверям судебной залы, которая была в нескольких шагах; между тем через площадь двигался и лорд Кембель в золоченой карете, в парике, который только уступал в величине и красоте парика его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пешком человек двадцать атторнеев, солиситоров<sup>101</sup>, подобрав мантии, без шляп и в шерстяных париках, намеренно сделанных как можно меньше похожими на человеческие волосы. В дверях я чуть было, вместо суда чиф-джустиса<sup>102</sup> Кембеля над Бартелеми, не попал на суд, который бог держал над Курне.

В самых дверях масса народа, вытесняемая полицейскими из залы, и нечеловеческий напор сзади произвели остановку; вперед нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейским надоело работать по мелочи, - они схватились за руки и разом, дружно пошли на приступ - передний ряд меня так прижал, что дыхание сперлось, еще и еще храбрый напор осаждающих - и мы вдруг очутились вытесненными, выжатыми, выброшенными на десять шагов далее двери на улицу.

Если б не знакомый адвокат, мы бы совсем не попали, зала была набита, он нас провел особыми две(77)рями, и мы, наконец, уселись, отирая пот и справляясь, целы ли часы, деньги и проч.

Замечательная вещь, что нигде толпа не бывает многочисленнее, плотнее, страшнее, как в Лондоне, а делать "кё"<sup>103</sup> ни в коем случае не умеет, англичане всегда берут своим национальным упорством, дают два часа, что-нибудь да продавят. Меня это много раз дивило при входе в театры, если б люди шли друг за другом, они, наверное, вошли бы в полчаса, но так как они прут всей массой, то множество передних прибаваются по правой и левой стороне дверей, тут ими овладевает какое-то сосредоточенное ожесточение, и они начинают давить с боков медленно двигающуюся среднюю струю, без всякой пользы для себя, но как бы вымещая на их боках их счастье.

Стучат в двери. Какой-то господин, тоже в маскарадном платье, кричит: "кто там?" - "Суд", - отвечают с той стороны, отворяются двери, и является Кембель в шубе и в каком-то женском шлафроке; он поклонился на все четыре стороны и объявил, что суд открыт.

Мнение о деле Бартелеми, составленное судом, то есть Кембелем, было ясно с начала до конца, и он его выдержал, несмотря на все усилия французов сбить его с дороги и ухудшить. Была дуэль. Один убит. Оба - французы, рефюжье, имеющие иные понятия о чести, чем мы; кто из них прав, кто виноват, разобрать трудно. Один сошел с баррикад, другой бретёр. Нам нельзя оставить это безнаказанным, но не следует всю силу английских законов побивать иностранцев, тем больше, что все они люди чистые, и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому - кто убийца, мы не будем добиваться, - всё вероятнее, что убийца тот из них, который бежал в Бельгию; подсудимых мы обвиним в участии и спросим присяжных, виноваты ли они в manslaughter<sup>104</sup> или нет? Обвиненные присяжными - они в наших руках; мы приговорим их к одному из наименьших наказаний и покончим дело. Оправдают их присяжные - бог с ними совсем, пусть идут на все четыре стороны. (78)

Все это французам обеих партий - было нож острый!

Сторонники Курне хотели воспользоваться случаем, чтоб потерять в мнении суда Бартелеми и, не называя его прямо, указать на него как на убийцу Курне.

Несколько человек друзей Бартелеми и сам он домогались покрыть презрением и стыдом Бароне и компанию странной подробностью, которая открылась в полицейском следствии. Пистолеты были взяты у ружейника, после дуэли ему их прислали. Один пистолет был заряжен. Когда началось дело, ружейник явился с пистолетом и с показанием, что под пулей и порохом лежала небольшая тряпочка, так что выстрел был невозможен.

Дуэль шла так: Курне выстрелил в Бартелеми и не попал. У Бартелеми капсюль исправно щелкнул, но выстрела не было; ему дали другой капсюль - та же история. Тогда Бартелеми бросил пистолет и предложил Курне драться на рапирах. Курне не согласился, решились еще раз стрелять, но Бартелеми потребовал другой пистолет, на что Курне тотчас согласился. Пистолет был подан, раздался выстрел, и Курне

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
упал мертвый.

Стало быть, пистолет, возвратившийся к ружейнику заряженным, был тот самый, который был в руках Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты достал приятель Курне Пардигон, некогда участвовавший в "Voix du Peuple" и страшно изуродованный в Июньские дни<sup>105</sup>. (79)

Если б можно было доказать, что тряпка была положена с целью, то есть что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позором и погублены на веки веков.

За такой приятный результат Бартелеми охотно пошел бы на десять лет в каторжную работу или в депортацию<sup>106</sup>.

По следствию, оказалось, что лоскуток, вынутый из пистолета, действительно принадлежал Пардигону, он был вырван из тряпки, которой он обтирал лаковые сапоги. Пардигон говорил, что он чистил дуло, надев тряпочку на карандаш, и что, может, вертевши ею, отрезал лоскуток, но друзья Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нету городков от складок...

С своей стороны противники Бартелеми приготовили фалангу свидетелей a discharge<sup>107</sup> в пользу Бароне и его товарищей.

Политика их состояла в том, что атторней со стороны Бароне будет их спрашивать об антецедентах Курне и прочих. Они превознесут их и будут молчать о Бартелеми и его секундантах. Такое единодушное умалчивание со стороны соотечественников и "корели-жионеров"<sup>108</sup> должно было, по их мнению, сильно поднять в глазах Кембеля и публики одних и сильно уронить других. Призыв свидетелей стоит денег, да и сверх того у Бартелеми не было целой ширинги друзей, которым он мог бы отдать приказание говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при следствии, умели красноречиво молчать.

Одного из арестованных свидетелей, Бароне, следопроизводитель спросил, знает ли он, кто убил Курне, (80) или кого он подозревает. Бароне отвечал, что никакие угрозы, никакие наказания не заставят его назвать человека, лишившего жизни Курне, несмотря на то, что покойник был лучший друг его. "Если бы я должен был десяток лет влачить цепи в душевной тюрьме, то я и тогда не сказал бы".

Солиситор перебил его хладнокровным замечанием: "Да это ваше право, впрочем, вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете".

И после всего этого они хотели перехитрить – кого же? – лорда Кембеля? Я желал бы приложить его портрет, для того чтоб показать всю меру нелепости этой попытки. Старика лорда Кембеля, поседевшего, и сморщившегося на своем судейском кресле, читая равнодушным голосом, с шотландским акцентом, страшнейшие evidences<sup>109</sup> и распутывая самые сложные дела с осязательной ясностью, – его хотела перехитрить кучка парижских клубистов... Лорда Кембеля, который никогда не поднимает голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяет себе в самых смешных или сильных минутах высморкаться... Лорда Кембеля, с лицом ворчуньи-старухи, в котором, вглядываясь, вы ясно видите известную метаморфозу, так неприятно удивившую левочку-красную шапочку, что это вовсе не бабушка, а волк в парике, женском роброне и кацавейке, обшитой мехом.

Зато его лордшипство не осталось в долгу.

После долгих дискуссий о тряпочке и после показаний Пардигона защитники Бароне начали вызывать свидетелей.

Во-первых, явился старик рефюжье, товарищ Бар-беса и Бланки. Он сначала с некоторым отвращением принял библию, потом сделал движение рукой – "была, мол, не была" – присягнул и вытянул шею.

– Давно ли вы, – спросил один из атторнеев, – знакомы с Курне?

– Граждане, – сказал рефюжье по-французски, – с молодых лет моих преданный одному делу, я посвятил жизнь свою священному делу свободы и равенства... – и пошел было в этом роде. (81)

Но атторней остановил его и, обращаясь к переводчику, заметил: "Свидетель, кажется, не понял вопроса, переведите его на французский".

За ним следовал другой. Пять-шесть французов, с бородами, идущими в рюмочку, и плешивых, с огромными усами и волосами, выстриженными по-николаевски, наконец с волосами, падающими на плечи, и в красных шейных платках, явились один за другим, чтоб сказать вариации на следующую тему: "Курне был человек, которого достоинства превышали добродетели, а добродетели равнялись достоинствам, он был украшение эмиграции, честь партии, жена его неутешна, а друзья утешаются только тем, что остались в живых такие люди, как Бароне и его товарищи".

- А знаете ли вы Бартелеми?

- Да, он французский рефужье... Видал, но не знаю ничего об нем, - при этом свидетель чмокал по-французски ртом.

- Свидетеля такого-то... - сказал атторней.

- Позвольте, - заметила бабушка Кембель голосом мягкого участия" - не беспокойте их .больше, это множество свидетелей в пользу покойного Курне и подсудимого Бароне нам кажется излишним и вредным, мы не считаем ни того, ни другого такими дурными людьми, чтобы их честность и порядочное поведений следовало доказывать с таким упорством. Сверх того, Курне умер, и нам вовсе не нужно ничего знать о нем, мы призваны судить одно дело о его убиении; все идущее к этому преступлению для нас важно, а события прошлой жизни подсудимых, которых мы равно считаем весьма порядочными джентльменами, нам не нужно знать. Я с своей стороны не имею никаких подозрений насчет г. Бароне.

- А на что у тебя, бабушка, такие хитрые да смеющиеся глаза?

- На то, что ртом я по моему сану не могу смеяться над вами, милые внучаты, а потому посмеюсь глазами.

Разумеется, что после этого свидетелей с прической внизу и с прической наверху, с военным видом и с кашне всех семи цветов призмы отпустили не слушавши.

Затем дело пошло быстро. (82)

Один из защитников, представляя присяжным, что подсудимые - иностранцы, совершенно не знающие английских законов, заслуживают всякого снисхождения, прибавил: "Представьте себе, гг. присяжные, г. Бароне так мало знал Англию, что на вопрос - знаете ли вы, кто убил Курне? - отвечал, что если б его в цепях посадили лет на десять в тюремные склепы, то он и тогда бы не сказал имени. Вы видите, что г. Бароне еще имел об Англии какие-то средневековые понятия, он мог думать, что за его умалчивание его можно ковать в цепи, бросить на десять лет в тюрьму. Надеюсь, - сказал он, не удерживая смеха, что несчастное событие, по которому г. Бароне был несколько месяцев лишен свободы, убедило его, что тюрьмы в Англии несколько улучшились с средних веков и вряд ли хуже тюрем в некоторых других странах. Докажемте же подсудимым, что и суд наш также человечествен и справедлив", и проч.

Присяжные, составленные наполовину из иностранцев, нашли подсудимых "виновными".

Тогда Кембель обратился к подсудимым, напомнил им строгость английских законов, напомнил, что иностранец, ступая на английскую землю, пользуется всеми правами англичанина и за это должен нести и равную ответственность перед законом. Потом перешел к разнице нравов и -сказал, наконец, что он не считал бы справедливым наказать их по всей строгости законов, а потому приговаривает их к двухмесячному тюремному заключению.

Публика, народ, адвокаты и мы все были довольны: ждали резкого наказания, но не смели думать о меньшем *minimume*, как три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
я подошел к Бартелеми; он мрачно сжал мне руку и сказал:

- Пардигон-то остался чист, Бароне... - и он пожал плечами.

Когда я выходил из залы, я встретил моего знакомого, Lawуera, он стоял с Бароне.

- Лучше бы меня, - говорил последний, - на год досадили, чем смешать с этим злодеем Бартелеми. (83)

Суд кончился часов около десяти вечером Когда мы пришли на железную дорогу, мы застали в амбаркадере толпы французов и англичан, громко и шумно рассуждавших о деле. Большинство французов было довольно приговором, хотя и чувствовало, что победа не по ту сторону Ламанша. В вагонах французы затынули "Марсельезу".

- Господа, - сказал я, - справедливость прежде всего; на этот раз споемте-ка "Rule, Britannia!"

и "Rule, Britannia" запели!

## 2. БАРТЕЛЕМИ

Прошло два года... Бартелеми снова стоял перед лордом Кембелем, и на этот раз угрюмый старик, накрывшись черным клобуком, произнес над ним иной приговор.

В 1854 году Бартелеми еще больше отдалился от всех, вечно чем-то занятой, он мало показывался, готовил что-то в тиши - люди, жившие с ним вместе, знали не больше других. Я его видел изредка; он всегда мне показывал большое сочувствие и доверие, но ничего особенного не говорил.

Вдруг разнесся слух о двойном убийстве, Бартелеми убил какого-то мелкого неизвестного английского купца и потом полицейского агента, который хотел его арестовать. Объяснения, ключа - никакого. Бартелеми молчал перед судьями, молчал в Ньюгете. Он с самого начала признался в убийстве полицейского; за это его можно было приговорить к смертной казни, а потому он остановился на признании - защищая, так сказать, свое право быть повешенным за последнее преступление - не говоря о первом.

Вот что мы узнали мало-помалу. Бартелеми собрался ехать в Голландию, в дорожном платье, с визированным паспортом в кармане, с револьвером - в другом, в сопровождении женщины, с которой он жил, - Бартелеми отправился в девять часов вечером к англичанину, фабриканту содовой воды. Когда он постучался, горничная отворила ему дверь; хозяин пригласил их в парлор и вслед за тем пошел с Бартелеми в свою комнату.

Горничная слышала, как разговор становился крупнее, как он перешел в брань, вслед за тем ее господин (84) отворил дверь и пихнул Бартелеми - тогда Бартелеми вынул из кармана пистолет и выстрелил в него. Купец упал мертвый. Бартелеми бросился вон - испуганная французенка скрылась прежде него и была счастливее. Полицейский агент, слышавший выстрел, остановил Бартелеми на улице; он грозил ему пистолетом, полицейский не пускал - Бартелеми выстрелил на этот раз больше чем вероятно, что он не хотел убить агента, а только пострадать его, но, вырывая руку и сжимая другой пистолет - в таком близком расстоянии, - он его смертельно ранил. Бартелеми пустился бежать, но уже полицейские его заметили - и он был схвачен.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это был просто акт разбоя, что Бартелеми хотел ограбить англичанина. Но англичанин вовсе не был богат. Без полного помешательства трудно предположить, чтоб человек пошел на открытый разбой - в Лондоне, в одном из населеннейших кварталов, - в знакомый дом, часов в девять вечером, с женщиной, - и все это, чтоб украсть каких-нибудь сто ливров (что-то такое было найдено в комодке убитого).

Бартелеми за несколько месяцев до этого завел какую-то мастерскую крашенных стекол с узорами, арабесками и надписями по особому способу. Он на привилегию истратил фунтов до шестидесяти; фунтов пятнадцать недостало, он попросил у меня займы и очень аккуратно отдал. Ясно, что тут было что-то важнее простого воровства... Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, его монomanия остались. Что он ехал в Голландию только для того, чтобы оттуда пробраться в Париж, это

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
знали многие.

Едва три-четыре человека остановились в раздумье перед этим кровавым делом – остальные все испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повешенным в Англии не респектабельно; иметь связи с человеком, судимым за убийство, shocking110; ближайшие друзья его отшарахнулись..

Я тогда жил в Твикнеме. Прихожу раз домой вечером, меня ждут два рефужье. "Мы к вам, – говорят они, – приехали, чтоб вас удостоверить, что мы ни малейшего участия не имели в страшном деле Барте(85)леми – у нас была общая работа, мало ли с кем приходится работать. Теперь скажут... подумают..."

– Да неужели вы за этим приехали из Лондона в Твикнем?! – спросил я.

– Ваше мнение нам очень дорого.

– Помилуйте, господа, да я сам был знаком с Бартелеми, и хуже вас – потому что никакой общей работы не имел, но не отрекаюсь от него. Я не знаю дела, суд и осуждение предоставляю лорду Кембелю, а сам плачу о том, что такая молодая и богатая сила, такой талант – так воспитался горькой борьбой и средой, в которой жил, что в пущем цвете лет – его жизнь потухнет под руку палача.

Поведение его в тюрьме поразило англичан, ровное, покойное, печальное без отчаяния, твердое без jactance111. Он знал, что для него все кончено – и с тем же непоколебимым спокойствием выслушал приговор, с которым некогда стоял под градом пуль на баррикаде.

Он писал к своему отцу и к девушке, которую любил. Письмо к отцу я читал, ни одной фразы, величайшая простота, он кротко утешает старика – как будто речь не о нем самом.

Католический священник, который ex officio112 ходил к нему в тюрьму, человек умный и добрый, принял в нем большое участие и даже просил Палмерстона о перемене наказания, – но Палмерстон отказал. Разговоры его с Бартелеми были тихи и исполнены гуманности с обеих сторон. Бартелеми писал ему: "Много, много благодарен я вам за ваши добрые слова, за ваши утешения. Если б я мог обратиться в верующего – то, конечно, одни вы могли бы обратить меня – но что же делать... у меня нет веры!" После его смерти, священник писал одной знакомой мне даме: "Какой человек был этот несчастный Бартелеми – если б он дольше прожил, может его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душе!"

Тем больше останавливаюсь я на этом случае, что "Times" со злобой рассказал насмешку Бартелеми над шерифом. (86)

За несколько часов до казни один из шерифов, узнав, что Бартелеми отказался от духовной помощи, счел себя обязанным обратить его на путь спасения – и начал ему пороть ту пиетистическую дичь, которую печатают в английских грошовых трактатах, раздаваемых даром на перекрестках. Бартелеми надоело увещание шерифа. Апостол с золотой цепью заметил это и, приняв торжественный вид, сказал ему: "Подумайте, молодой человек – через несколько часов вы будете не мне отвечать, а богу".

– А как вы думаете, – спросил его Бартелеми, – бог говорит по-французски или нет?... Иначе я ему не могу отвечать...

Шериф побледнел от негодования, и бледность и негодование дошли до парадного ложа всех шерифских, мэрских, алдерманских вздохов и улыбок, – до огромных листов "Теймса".

Но не один апостольствующий шериф мешал Бартелеми умереть в том серьезном и нервно поднятом состоянии – которого он искал – которое так естественно искать в последние часы жизни.

Приговор был прочтен. Бартелеми заметил кому-то из друзей, что уж если нужно умереть – он предпочел бы тихо, без свидетелей потухнуть в тюрьме, чем всенародно, на площади, погибнуть от руки палача. – "Ничего нет легче: завтра, послезавтра я тебе принесу стрихнину". Мало одного, двое взялись за дело. Он тогда уже содержался как осужденный, то есть очень строго – тем не меньше через несколько дней друзья достали стрихнин и передали ему в белье. Оставалось

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
убедиться – что он нашел. Убедились и в этом...

Боясь ответственности, один из них, на которого могло пасть подозрение, хотел на время покинуть Англию. Он попросил у меня несколько фунтов на дорогу; я был согласен их дать. Что, кажется, проще этого? Но я расскажу это ничтожное дело для того, чтоб показать – каким образом все тайные заговоры французов открываются, каким образом у них во всяком деле компрометирована любовью к роскошной *mise en scene* бездна посторонних лиц.

Вечером в воскресенье у меня были, по обыкновению, несколько человек польских, итальянских и других рефужье. В этот день были и дамы. Мы очень (87) поздно сели обедать, часов в восемь. Часов в девять взшел один близкий знакомый. Он ходил ко мне часто, и потому его появление не могло броситься в глаза, но он так ясно выразил всем лицом "я умалчиваю!", что гости переглянулись.

– Не хотите ли чего-нибудь съесть или рюмку вина? – спросил я.

– Нет, – сказал, опускаясь на стул, сосуд, отяжелевший от тайны.

После обеда он при всех вызвал меня в другую комнату и, сказавши, что Бартелеми достал яд (новость, которую я уже слышал), – передал мне просьбу о ссуде деньгами отъезжающего.

– С большим удовольствием. Теперь? – спросил я. – Я сейчас принесу.

– Нет, я ночую в Твикнеме и завтра утром еще увижусь с вами. Мне не нужно вам говорить – вас просить, чтоб ни один человек...

Я улыбнулся.

Когда я взшел опять в столовую, одна молодая девушка спросила меня: "Верно, он говорил о Бартелеми?"

На другой день, часов в восемь утра, взшел франсуа и сказал, что какой-то француз, которого он прежде не видел, требует непременно меня видеть.

Это был тот самый приятель Бартелеми, который хотел незаметно уехать. Я набросил на себя пальто и вышел в сад, где он меня дожидался. Там я встретил болезненного, ужасно исхудалого черноволосого француза (я после узнал, что он годы сидел в Бель-Иле к потом а la lettre<sup>113</sup> умирал с голоду в Лондоне). На нем был потертый пальто, на который бы никто не обратил внимания, но дорожный картуз и большой дорожный шарф, обмотанный круг шеи, невольно остановили бы на себе глаза в Москве, в Париже, в Неаполе.

– Что случилось?

– Был у вас такой-то?

– Он и теперь здесь.

– Говорил о деньгах?

– Это все кончено – деньги готовы.

– Я, право, очень благодарен. (88)

– Когда вы едете?

– Сегодня... или завтра..

К концу разговора подоспел и наш общий знакомый. Когда путешественник ушел:

– Скажите, пожалуйста, зачем он приезжал? – спросил я его, оставшись с ним наедине.

– За деньгами.

– Да ведь вы могли ему отдать.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Это правда, но ему хотелось с вами познакомиться, он спрашивал меня, приятно ли вам будет - что же мне было сказать?

- Без сомнения, очень. Но только я не знаю, хорошо ли он выбрал время.

- А разве он вам помешал?

- Нет - а как бы полиция ему не помешала выехать...

По счастью, этого не случилось. В то время как он уезжал, его товарищ усомнился в яде, который они доставили, подумал, подумал и дал остаток его собаке. Прошел день - собака жива, прошел другой - жива, Тогда - испуганный он бросился в Ньюгет, добился свиданья с Бартелеми - через решетку - и, улучив минуту, шепнул ему:

- У тебя?

- Да, да!

- Вот видишь, у меня большое сомнение. Ты лучше не принимай, я пробовал над собакой, - никакого действия не было!

Бартелеми опустил голову - и потом, поднявши ее и с глазами, полными слез, сказал:

- Что же вы это надо мной делаете!

- Мы достанем другого.

- Не надобно, - ответил Бартелеми, - пусть совершится судьба.

И с той минуты стал готовиться к смерти, не думал об яде и писал какой-то мемуар, который не выдали после его смерти другу, которому он его завещал (тому самому, который уезжал).

Девятнадцатого января в субботу мы узнали о посещении священником Палмерстона и ею отказе.

Тяжелое воскресенье следовало за этим днем., мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался один. Лег спать, уснул и тотчас проснулся. Итак, через (89) семь-шесть-пять часов - его, исполненного силы, молодости, страстей, совершенно здорового, выведут на площадь и убьют, безжалостно убьют, без удовольствия и озлобления, а еще с каким-то фарисейским состраданием!.. На церковной башне начало бить семь часов. Теперь - двинулось шествие - и Калкрофт налицо... Послужили ли бедному Бартелеми его стальные нервы - у меня стучал зуб об зуб.

В одиннадцать утра взошел Доманже,

- Кончено? - спросил я.

- Кончено.

- Вы были?

- Был.

Остальное досказал "Times"114.

Когда все было готово, рассказывает "Times", он попросил письмо той девушки, к которой писал, и, помнится, локон ее волос или какой-то сувенир; он сжал его в руке, (90) когда палач подошел к нему... Их, сжатыми в его окоченелых пальцах, нашли помощники палача, пришедшие снять его тело с виселицы. "Человеческая справедливость, - как говорит "Теймс", - была удовлетворена!" Я думаю, - да это и дьявольской не показалось бы мало!

Тут бы и остановиться. Но пусть же в моем рассказе, как было в самой жизни, равно останутся следы богатырской поступи и возле ступня... ослиных и свиных

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
копыт.

Когда Бартелеми был схвачен, у него не было достаточно денег, чтоб платить солиситору, да ему и не хотелось нанимать его. Явился какой-то неизвестный адвокат Геринг, предложивший ему защищать его, явным образом, чтоб сделать себя известным. Защищал он слабо – но и не надобно забывать, задача была необыкновенно трудна: Бартелеми молчал и не хотел, чтоб Геринг говорил о главном деле. – Как бы то ни было, Геринг возился, терял время, хлопотал. Когда казнь была назначена, Геринг пришел в тюрьму проститься. (91) Бартелеми был тронут – благодарил его и, между прочим, сказал ему:

– У меня ничего нет, я не могу вознаградить ваш труд... ничем, кроме моей благодарности... Хотел бы я вам по крайней мере оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нет, что б я мог вам предложить. Разве мой пальто?

– Я вам буду очень, очень благодарен, я хотел его у вас просить.

– С величайшим удовольствием, – сказал Бартелеми, – но он плох...

– О, я его не буду носить... признаюсь вам откровенно, я уж запродаю его, и очень хорошо.

– Как запродали? – спросил удивленный Бартелеми.

– Да, madame Тюссо, для ее... особой галереи. Бартелеми содрогнулся. (92)

Когда его вели на казнь, он вдруг вспомнил и сказал шерифу:

– Ах, я совсем было забыл попросить, чтоб мой пальто никак не отдавали Герингу!

<ГЛАВА V>. "NOT GUILTY"115

"...Вчера арестовали на собственной квартире доктора Симона Бернара по делу Орсини..."

Надобно несколько лет прожить в Англии, чтоб понять, как подобная новость удивляет... как ей не сразу веришь... как континентально становится на душе!..

На Англию находят, и довольно часто, периодические страхи, и в это время оторопелости не попадайся ей ничего на дороге. Страх вообще безжалостен, беспощаден; но имеет ту выгоду за собой, что он скоро проходит. Страх не злопамятен, он старается, чтоб его поскорее забыли.

Не надобно думать, чтоб трусливое чувство осторожности и тревожного самосохранения лежало в самом английском характере. Это следствие отучения от богатства и воспитания всех помыслов и страстей на стяжание. Робость в английской крови внесена капиталистами и мещанством, они передают болезненную тревожность свою официальному миру, который в представительной стране постоянно подделывается под нравы – голос и деньги имущих. Составляя господствующую среду, они при всякой неожиданной случайности теряют голову и, не имея нужды стесняться, являются во всей беспомощной, неуклюжей трусости своей, не прикрытой пестрым и линиялым фуляром французской риторики.

Надобно уметь переждать, как только капитал придет в себя, успокоится за проценты, все опять пойдет своим чередом.

Взятием Бернара думали отделаться от гнева кесарева за то, что Орсини на английской почве обдумывал свои гранаты. Слабодушные уступки обыкновенно раз(93)дражают, и вместо "спасибо" – грозные ноты сделались еще грознее, военные статьи в французских газетах запахли еще сильнее порохом. Капитал побледнел, в глазах его помутилось, он уж видел, чуял винтовые пароходы, красные штаны, красные ядра, красное зарево, банк, превращенный в Мабиль с исторической надписью: "Ici l'on danse!"116 Что же делать? – Не только выдать и уничтожить доктора Симона Бернара, но, пожалуй, срыть гору Сен-Бернар и ее уничтожить, лишь бы проклятый призрак красных штанов и черных бородок исчез, лишь бы сменить гнев союзника на милость.

Лучший метеорологический снаряд в Англии – Палмерстон, показывающий очень верно

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru состояние температуры средних слоев, перевел "очень страшно" на Conspiracy Bill<sup>117</sup>. По этому закону, если бы он прошел, с некоторой старательностью и усердием к службе каждое посольство могло бы усадить в тюрьму, а в иных случаях и на корабль, любого из врагов своих правительств.

Но, по счастью, температура острова не во всех слоях одинакая, и мы сейчас увидим премудрость английского распределения богатств, освобождающую значительную часть англичан от заботы о капитале. Будь в Англии все до единого капиталисты. Conspiracy Bill был бы принят, а Симон Бериар был бы повешен... или отправлен в Кайенну.

При слухе о Conspiracy Bill и о почти несомненной возможности, что он пройдет, старое англо-саксонское чувство независимости встрепенулось; ему стало жаль своего древнего права убежища, которым кто и кто не пользовался, от гугенотов до католиков в 1793, от Вольтера и Паоли до Карла X и Людвига-Филиппа? Англичанин не имеет особой любви к иностранцам, еще меньше к изгнанникам, которых считает бедняками, а этого порока он не прощает, – но за право убежища он держится; безнаказанно касаться его он не позволяет, так точно, как касаться до права митингов, до свободы книгопечатания.

Предлагая Conspiracy Bill, Палмерстон считал, и очень верно, на упадок британского духа; он думал об (94) одной среде, очень мощной, но забыл о другой, очень многочисленной.

За несколько дней до вотирования билля Лондон покрылся афишами: комитет, составившийся для противодействия новому закону, приглашал на митинг в следующее воскресенье в Hyde Park, там комитет хотел предложить адрес королеве. В этом адресе требовалось объявление Палмерстона и его товарищей изменниками отечества, их подсудимость и просьба в том случае, если закон пройдет, чтоб королева, в силу ей предоставленного права, отвергла его. Количество народа, которое ожидали в парке, было так велико, что комитет объявил о невозможности говорить речи; параграфы адреса комитет распорядился предлагать на суждение телеграфическими знаками.

Разнесся слух, что к субботе собираются работники, молодые люди со всех концов Англии, что железные дороги привезут десятки тысяч людей, сильно раздраженных. Можно было надеяться на митинг в двести тысяч человек. Что могла сделать полиция с ними? Употребить войско против митинга законного и безоружного, собирающегося для адреса королеве, было невозможно, да и на это необходим был Mutiny Bill, следовало предупредить митинг. И вот в пятницу Милнер-Гибсон явился с своею речью против Палмерстонова закона. Палмерстон был до того уверен в своем торжестве, что, улыбаясь, ждал счета голосов. Под влиянием будущего митинга – часть Палмерстоновых клиентов вотировала против него, и когда большинство, больше тридцати голосов, было со стороны Милнер-Гибсона, он думал, что считавший обмолвился, переспросил, потребовал речи, ничего не сказал, а растерянный произнес несколько бессвязных слов, сопровождая их натянутой улыбкой, и потом опустил на стул, оглушаемый враждебным рукоплесканием.

Митинг сделался невозможен; не было больше причины ехать из Манчестера, Бристоля, Ньюкестля-на-Тейне... Conspiracy Bill пал, и с ним Палмерстон с своими товарищами.

Классически-велеречивое и чопорно-консервативное министерство Дерби, с своими еврейскими мелодиями Дизраели и дипломатическими тонкостями времен Кастелри, сменило их. (95)

В воскресенье, часу в третьем, я пошел с визитом я именно к г-же Милнер-Гибсон; мне хотелось ее поздравить: она жила возле Гайд-парка. Афиши были сняты, и носильщики ходили с печатными объявлениями на груди и спине, что по случаю падения закона и министров митинга не будет. Тем не меньше, пригласивши тысяч двести гостей, нельзя было ожидать, чтоб парк остался пуст. Везде стояли густые группы народа, – ораторы, взгромоздившись на стулья, на столы, говорили речи, и толпы были возбуждены больше обыкновенного. Несколько полицейских ходили с девичьей скромностью, ватаги мальчишек распевали во всё горло: "Pop, goes the weasel!"<sup>118</sup> Вдруг кто-то, указывая на поджарую фигуру француза с усиками, в потертой шляпе, закричал:

"A french spy!.."119 в ту же минуту мальчишки бросились за ним. Перепуганный

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru шпион хотел дать стрелка, но, брошенный на землю, он уже пошел не пешком, его потащили волоком с торжеством и криком: "French spy, в Серпентину его!", привели к берегу, помокнули его (это было в феврале), вынули и положили на берег с хохотом и свистом. Мокрый, дрожащий француз барахтался на песке, выкликая б парке: "кабман! кабман!"<sup>120</sup>

Вот как повторилось через пятьдесят лет в Гайд-парке знаменитое тургеневское "француззя топим".

Этот пролог а la Prissnitz к бернардовскому процессу показал, как далеко распространилось негодование. Народ английский был действительно рассержен – и спас свою родину от пятна, которым conglomerated mediocrity<sup>121</sup> Ст. Милля непременно опозорила бы ее.

Англия велика и сносна только при полнейшем сохранении своих прав и свобод, не спетых в одно, одетых в средневековые платья и пуританские кафтаны, но допустивших жизнь до гордой самобытности и незабываемой юридической уверенности в законной почве.

То, что понял инстинктом народ английский, Дерби так же мало оценил, как и Палмерстон. Забота Дерби состояла в том, чтоб успокоить капитал и сделать всевозможные уступки для рассерженного союзника; ему (96) он хотел доказать, что и без Conspiracy Bill он наделает чудеса. В излишнем рвении он сделал две ошибки.

Министерство Палмерстона требовало подсудимости Бернара, обвиняя его в misdemeanour, то есть в дурном поведении, в бездельничестве, словом в преступлении, которое не влекло за собою большего наказания, как трехлетнее тюремное заключение. А потому ни присяжные, ни адвокаты, ни публика не приняли бы особенного участия в деле, и оно, вероятно, кончилось бы против Бернара. Дерби потребовал судить Бернара за felony, за уголовное преступление, дающее судье право, в случае обвинительного вердикта, приговорить его к виселице. Это нельзя было так пропустить, сверх того увеличивать виновность, пока виноватый под судом, совершенно противно юридическому смыслу англичан.

Палмерстон в самых острых припадках страха, после аттентата<sup>122</sup> Орсини, поймал безвреднейшую книжонку какого-то Адамса, рассуждавшего о том, когда tyrannicide<sup>123</sup> позволено и когда нет, и отдал под суд ее издателя Трулова.

Вся независимая пресса с негодованием взглянула на эту континентальную замашку. Преследование брошюры было совершенно бессмысленно, в Англии тиранов нет, во Франции никто не узнал бы о брошюре, писанной на английском языке, да и такие ли вещи печатаются в Англии ежедневно.

Дерби с своими привычками тори и скачек захотел нагнать, а если можно, обскакать Палмерстона. Феликс Пиа написал от имени революционной коммуны какой-то манифест, оправдывавший Орсини; никто не хотел издавать его; польский изгнанник Тхоржевский поставил имя своей книжной лавки на послании Пиа. Дерби велел схватить экземпляр и отдать под суд Тхоржевского.

Вся англо-саксонская кровь, в которой железо не было заменено золотом, от этого нового оскорбления бросилась в голову, все органы – Шотландии, Ирландии и, разумеется, Англии (кроме двух-трех журналов на содержании) – приняли за преступное посягательство на свободу книгопечатания эти опыты урезывания (97) слов и спрашивали, в полном ли рассудке поступает так правительство, или оно сошло с ума?

При этом благоприятном настроении в пользу правительственных преследований начался в Old Bailey процесс Бернара, это "юридическое Ватерлоо" Англии, как мы сказали тогда в "колоколе".

Процесс Бернара я проследил от доски до доски, я был все заседания в Old Bailey (раз только часа два опоздал) и не раскаиваюсь в этом. Первый процесс Бартелими и процесс Бернара доказали мне очевидно, насколько Англия совершеннее Франции в юридическом отношении.

Чтоб обвинить Бернара, французское правительство и английское министерство взяли колоссальные меры, процесс этот стоил обоим правительствам до тридцати тысяч

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru фунтов стерлингов, то есть до семисот пятидесяти тысяч франков. Ватага французских агентов жила в Лондоне, ездила в Париж и возвращалась для того, чтоб сказать одно слово, для того, чтоб быть в готовности на случай надобности, семьи были выписаны, доктора медицины, жокеи, начальники тюрем, женщины, дети... и все это жило в дорогих гостиницах, получая фунт (двадцать пять франков) в день на содержание. Цезарь был испуган. Карфагены были испуганы! И все-то это понял, насупившись, неповоротливый англичанин – и в продолжение следствия преследовал мальчишками, свистом и грязью на Гаймаркете и Ковентри французских шпионов; английская полиция должна была не раз их спасать.

На этой ненависти к политическим шпионам и к бесцеремонному вторжению их в Лондон основал Эдвин Джеме свою защиту. Что он делал с английскими агентами, трудно себе вообразить. Я не знаю, какие средства нашел Scotland Yard или французское правительство, чтоб вознаградить за пытку, которую заставлял их выносить Э. Джеме.

Некто Рожерс свидетельствует, что Бернар в клубе на Лестер-сквере говорил то-то и то-то о предстоящей гибели Наполеона.

- Вы были там? - спрашивает Э. Джеме.:

- Был.

- Вы - стало - занимаетесь политикой?

- - Нет.

- Зачем же вы ходите по политическим клубам? (98)

- По обязанностям службы.

- Не понимаю, какая же это служба?

- Я служу у сэра Ричарда Мена<sup>124</sup>.

- А... Что же, вам дается инструкция?

- Да.

- Какая?

- Ведено слушать, что говорится, и сообщать об этом по начальству.

- И вы получаете за это жалованье?

- Получаю.

- В таком случае вы - шпион, а сру? Вы давно бы сказали.

Королевский атторней фицрой Келли встает и, обращаясь к лорду Кембелю, одному из четырех судей, призванных судить Бернара, просит его защитить свидетеля от дерзких наименований адвоката. Кембель, с всегдашним бесстрашием своим, советует Э. Джемсу не обижать свидетеля. Джеме протестует, он и намерения не имел его обижать, слово "spy", говорит он, - plain english word<sup>125</sup> и есть название его должности;

Кембель уверяет, что лучше называть иначе, адвокат отыскивает какой-то фолиант и читает определение слова "шпион". "Шпион - лицо, употребляемое за плату полицией для подслушивания и пр.", а Рожерс, - прибавляет он, - сейчас сказал, что он за деньги, получаемые от сэра Ричарда Мена (причем он указывает на самого Ричарда Мена головой), ходит слушать в клубы и доносит, что там делается. А потому он просит у лорда извинения, но иначе не может его называть, и потом, обращаясь к негодяю, на которого обращены все глаза и который второй раз обтирает пот, выступивший на лице, спрашивает:

- Шпион Рожерс, вы, может, тоже и от французского правительства получали жалованье?



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Пытаемый Рожерс бесится и отвечает, что он никогда не служил никакому деспотизму.

Эдвин Джемс обращается к публике и среди гомерического смеха говорит:

- Наш spy Rogers за представительное правительство. (99)

Допрашивая агента, взявшего бумаги Бернара, он спросил его: с кем он приходил? (горничная показала, что он был не один).

- С моим дядей.

- А чем ваш дядюшка занимается?

- Он кондуктором омнибуса.

- Зачем же он приходил с вами?

- Он меня просил взять его с собой, так как он никогда не видал, как арестуют или забирают бумаги.

- Экой любопытный у вас дядюшка. Да, кстати, вы у доктора Бернара нашли письмо от Орсини, письмо это было на итальянском языке, а доставили вы его в переводе; не дядюшка ли ваш переводил?

- Нет, письмо это переводил Убичини126.

- Англичанин?

- Англичанин.

- Никогда не случалось мне слышать такой английской фамилии. Что же, господин Убичини занимается литературой?

- Он переводит по обязанности.

- Так ваш приятель, может, как шпион Рожерс, служит у сэра Ричард Мена (снова кивая на сэра Ричард головой)?

- Точно так.

- Давно б вы сказали.

С французскими шпионами он до этой степени не доходил, хотя доставалось и им.

Всего больше мне понравилось то, что, вызвав на эстраду свидетеля, какого-то содержателя трактира - француза или белга, за весьма неважным вопросом, он вдруг остановился и, обращаясь к лорду Кембелю, сказал:

- Вопрос, который я хочу предложить свидетелю, - такого рода, что он может его затруднить в присутствии французских агентов, я прошу вас их на время выслать.

- huissier127, выведите французских агентов, - сказал Кембель.

И huissier, в шелковой мантилье, с палочкой в руках, почел дюжину шпионов с бородками и удивительными усами, с золотыми цепочками, перстнями, через (100) залу, набитую битком. Чего стоило одно такое путешествие, сопровождаемое едва одержимым хохотом? Процесс известен. Я не буду его рассказывать.

Когда свидетелей переспросили, обвинитель и защитник произнесли свои речи, Кембель холодно подсуммировал дело, прочитав всю evidence128.

Кембель читал часа два.

- Как это у него достает груди и легких?.. - сказал я полицейскому.

Полицейский посмотрел на меня с чувством гордости и, поднося мне табатерку, заметил:

- Что это для него! Когда Палмера судили, он шесть с половиной часов читал - и то ничего, вот он какой!

Страшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длинный срок, это задача. У нас понятия не имеют о такой деятельности и о такой работе, особенно в первых трех классах. Кембель, например, приезжал в Old Bailey ровно в десять часов, до двух он безостановочно вел процесс. В два судьи выходили на четверть часа или минут на двадцать и потом снова оставались до пяти и пяти с половиной. Кембель писал всю evidence своей рукой. Вечером того же дня он являлся в палату лордов и произносил длинные речи, как следует, с ненужными латинскими цитатами, произнесенными так, что сам Гораций не понял бы своего стиха.

Гладстон между двумя управлениями финансов, имея полтора года времени, написал комментарии к Гомеру.

А вечно Юный Палмерстон, скачущий верхом, являющийся на вечерах и обедах, везде любезный, везде болтливый и неистощимый, бросающий ученую пыль в глаза на экзаменах и раздача премий - и пыль либерализма, национальной гордости и благородных симпатий в застольных речах, Палмерстон, заведующий своим министерством и отчасти всеми другими, исправляющий парламент!

Эта прочность сил и страстная привычка работы - тайна английского организма, воспитанья, климата. (101)

Англичанин учится медленно, мало и поздно, с ранних лет пьет порт и шерри, объедается и приобретает каменное здоровье; не делая школьной гимнастики немецких Turner-Obungen<sup>129</sup>, он скачет верхом через плетни и загородки, правит всякой лошадей, гребет во всякой лодке и умеет в кулачном бою поставить самый разноцветный фонарь. При этом жизнь введена в наезженную колею и правильно идет от известного рождения, известными аллеями к известным похоронам; страсти слабо ее волнуют. Англичанин теряет свое состояние с меньшим шумом, чем француз приобретает свое; он проще застреливается, чем француз переезжает в Женеву или Брюссель.

- Vous voyez, vous mangez votre veau froid chaude-ment, - говорил один старый англичанин, желавший объяснить французам разницу английского характера от французского-, - et nous mangeons notre beef chaud froid-dement<sup>130</sup>. Оттого-то их и становится лет на восемьдесят...

...Прежде чем я возвращусь к процессу, мне остается объяснить, почему полицейский потчевал меня табаком. В первый день суда я сидел на лавочках стенографов; когда ввели Бернара на помост подсудимых, он провел взглядом по зале, донельзя набитой народом, - ни одного знакомого лица; он опустил глаза, взглянул около и, встретив мой. взгляд, слегка кивнул мне головой, как бы спрашивая, желаю ли я признаться в знакомстве, или нет, я встал и дружески поклонился ему. Это было в самом начале, то есть в одну из тех минут безусловной тишины, в которые каждый шорох слышен, каждое движение замечено. Сандерс, один из начальников detective police<sup>131</sup>, пошептался с кем-то из своих и велел наблюдать за мной, то есть он очень просто указал на меня пальцем какому-то детективу, и с той минуты он постоянно был вблизи. Я не могу выразить моей благодарности за это начальническое распоряжение. Уходил ли я на четверть часа, во время отдыха судей, в таверну выпить стакан элю и, приходя, не находил места, полицейский кивал мне головой и ука<sup>(102)</sup>зывал, где сесть. Останавливал ли меня в дверях другой полицейский, тот давал ему знак, и полицейский пропускал. Наконец, я раз поставил шляпу на окно, забыл об ней и напором массы был совершенно оттерт от него. Когда я хватился, не было никакой возможности пройти; я приподнялся, чтоб взглянуть, нет ли какой щели, но полицейский меня успокоил:

- Вы, верно, шляпу ищите, я ее прибрал. После этого не трудно понять, почему его товарищ потчевал меня шотландским, рыженьким кавендишем.

Приятное знакомство с детективом послужило мне на пользу даже впоследствии. Раз, взявши каких-то книг у Трюбнера, я сел в омнибус и забыл их там, на дороге хватился, омнибус уехал. Отправился я в Сити на станцию омнибусов, идет мой детектив; поклонился мне.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
- Очень рад, вот научите-ка, как скорее достать книги.

- А как называется омнибус?

- Так-то.

- В котором часу?

- Сейчас.

- Это пустяки, пойдемте, - и через четверть часа книги были у меня.

Фицрой Келли прочел свой обвинительный акт с примесью желчи, сухой, cassant;132  
Кембель прочел evidence, и присяжных увели.

Я подошел к лавке адвокатов и спросил знакомого solicitora, как он думает?

- Плохо, - сказал он, - я почти уверен, что приговор присяжных будет против него.

- Скверно. И неужели его...?

- Нет, не думаю, - перебил солиситор, - ну, а в депортацию попадет, все будет зависеть от судей.

В зале был страшный шум, хохот, разговор, кашлянье. Какой-то алдермен снял с себя свою золотую цепь и показывал ее дамам, толстая цепь ходила из рук в руки. "Неужели ее никто не украдет?" - думал я. Часа через два раздался колокольчик; вззошел снова. Кембель, вззошел Поллок, дряхлый, худой старик, некогда адвокат королевы Шарлотты, и два другие собрата-судьи. huissier возвестил им, что присяжные согласны.

- Введите присяжных! - сказал Кембель. Водворилась мертвая тишина, я смотрел кругом, лица изменились, стали бледнее, серьезнее, глаза зажглись, дамы дрожали. В этой тишине, при этой толпе обычный ритуал вопросов, присяги был необыкновенно торжественен. Скрестив руки на груди, спокойно стоял Бернар, несколько бледнее обыкновенного (во весь процесс он держал себя превосходно).

Тихим, но внятным голосом спросил Кембель:

- Согласны ли присяжные, избрали ли они из среды своей старшего - и кто он?

Они избрали какого-то небогатого портного из Сити.

Когда он присягнул и Кембель, вставши, сказал ему, что суд ждет решения присяжных, сердце замерло, дыхание сперлось.

"...Перед богом и подсудимым на помосте... объявляем мы, что доктор Симон Бернар, обвиняемый в участии аттентата 12 января, сделанного против Наполеона, и в убийстве, - он усилил голос и громко прибавил: - not guilty!"

Несколько секунд молчания, потом пробежал какой-то нестройный вздох, и вслед за тем безумный крик, треск рукоплесканий, гром радости... Дамы махали платками, адвокаты вскочили на свои лавки, мужчины с покрасневшим лицом, с слезами, струившимися на щеках, судорожно кричали: "Уре! Уре!". Прошли минуты две, судьи, недовольные неуважением, велели huissiers-восстановить тишину, две-три жалкие фигуры с палками махали, шевелили губами, шум не переставал и не делался слабее. Кембель вышел, и товарищи его вышли. Никто не обращал на это внимания, шум и крик продолжались. Присяжные торжествовали.

Я подошел к эстраде, поздравил Бернара и хотел пожать ему руку, но, как он ни наклонялся и я ни вытягивался, руки его я не достал. Вдруг два адвоката, незнакомые, в мантиях и париках, говорят мне: "Постойте, погодите", и, не ожидая ответа, схватывают меня и подсаживают, чтоб я мог достать его руку.

Только что крик стал утихать, и вдруг какое-то море ударилось в стены и ворвалось с глухим плеском во все окна и двери здания, это был крик на лестнице (104) в сенях, он уходил, приближался и разливался все больше и больше и,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru наконец, слился в общий гул, это был голос народа.

Кембель взошел и объявил, что Бернар по этому делу от суда освобожден, и вышел с своими "братьями-судьями". Вышел и я. Это была одна из тех редких минут, когда человек смотрит на толпу с любовью, когда ему легко с людьми... Много грехов Англии будут отпущены ей и за этот вердикт, и за эту радость! Я выплел вон, улица была запружена народом. Из бокового переулка выехал угольщик, посмотрел на толпу народа и спросил:

- Кончилось?

- Да.

- Чем?

- Not guilty.

Угольщик положил вожжи, снял свою кожаную шапку с огромным козырьком сзади, бросил ее вверх и неистовым голосом принялся кричать: "Уре! Уре!", и толпа опять принялась кричать "Уре!"

В это время из дверей Old Bailey вышли под прикрытием полиции присяжные. Народ их встретил с непокрытой головой и с бесконечными криками одобрения. Дороги им не приходилось расчищать полицейским, толпа сама расступилась присяжные пошли в таверну на Флитстрит, народ пошел их провожать, новые толпы по мере того, как они проходили, кричали им "ура" и бросали шляпы вверх.

Это было часу в шестом, в семь часов в Манчестере, Ньюкестле, Ливерпуле и проч. работники бегали по улицам с факелами, возвещая жителям - освобождение Бернара. Весть эту сообщили по телеграфу их знакомые; с четырех часов толпы стояли у телеграфических контор.

Вот как Англия отпраздновала новое торжество своей свободы!

После палмерстоновского поражения за Conspiracy Bill и неудачу дербитов в деле Бернара, процессы, затеянные правительством против двух брошюр, становились невозможными. Если б Бернар был обвинен, повешен или послан лет на двадцать в депортацию и общественное мнение осталось бы равнодушным, тогда было бы легко принести на заклятие, для полноты (105) жертвы, двух-трех Исааков книгопечатания. французские агенты уже точили зубы на другие брошюры и в том числе на "Письмо" Маццини.

Но Бернар был от суда освобожден, и это не всё. Овация присяжным, восторженный шум в Old Bailey, радость во всей Англии не предсказывали успеха. Дело брошюр перенесли в Queens Bench.

Это был последний опыт обвинить подсудимых. Присяжные Old Bailey казались ненадежными, жители Сити, строго держащиеся своих прав и несколько оппозиционные по традиции, не внушали доверия, присяжные Queens Bench из Вест-Энда, большей частью богатые торговцы, строго придерживающиеся религии порядка и традиции наживы. Но и на это jury<sup>133</sup> трудно было считать после вердикта портного.

К тому же вся пресса в Лондоне и во всем королевстве, за исключением нескольких, заведомо подкупленных листов, восстала, без различия партий, против посягательства на свободу книгопечатания. Сбирались митинги, составлялись комитеты, делались складки для уплаты штрафов и проторей, если бы правительству удалось осудить издателей, писались адреса и петиции.

Дело становилось труднее и нелепее со всяким днем. Франция в широких шароварах, couleur garance<sup>134</sup>, в кепи несколько набор, с зловещим видом смотрела из-за Ламанша - чем кончится дело, предпринятое в защиту ее господина. Освобождение Бернара ее глубоко обидело, и она вынимала из ножен свой тесак, ругаясь, как капрал.

Пуще сердце замирает,

Тяжелей тоска...

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
С серебряной бледностью смотрел капитал на правительство – зеркальное правительство отразило его испуг. Но до этого нет никакого дела Кембелю и судебной власти не от мира сего. Она знала одно, что процесс против свободы книгопечатания противен духу всей нации и строгий приговор лишит их всей популярности и вызовет грозный протест. Им оставалось приговорить к ничтожному наказанию, к фардингу (106) королеве – к одному дню тюрьмы... А Франция-то, с кепи набекрень, приняла бы такое решение за личную обиду.

Еще хуже бы было, если б присяжные оправдали Трулова и Тхоржевского, тогда вся вина пала бы на правительство – почему оно не велело лондонскому префекту или лорду-мэру назначить присяжных из service de surete135, по крайней мере из друзей порядка... Ну, и вслед за тем:

Tambourgi! Tambourgi! they Tarum afar...136

Это безвыходное положение очень хорошо понимали министры королевы и ее атторней, может бы, и они что-нибудь сделали, если б в Англии вообще можно было делать то, что англичане называют коуп дете, а французы – coup d'Etat, а пример к тому же извертливого, двужильного, неуловимого молодого-старого Палмерстона был так свеж...

Что за комиссия, создатель.

Быть взрослой нации царем!

Пришел день суда.

Накануне наш Боткин отправился в Queens Bench и вручил какому-то полицейскому пять шиллингов, чтобы он его завтра провел. Боткин смеялся и потирал руки, он был уверен, что мы останемся без места или что нас не пропустят в дверях. Он одного не взял в расчет, что именно дверей-то в залу Queens Bench и нет, а есть большая арка. Я пришел за час до Кембеля, народу было немного, и я уселся превосходно. Смотрю, минут через двадцать является Боткин, глядит по сторонам, ищет, беспокоится.

– Что тебе надобно?

– Ищу, братец, моего полицейского.

– Зачем тебе его?

– Да он обещал место дать.

– Помилуй, тут сто мест к твоим услугам.

– Надул полицейский, – сказал Б откин, смеясь.

– Чем же он надул, ведь место есть. Полицейский, разумеется, не показывался. (107)

Между Тхоржевским и Трудовым шел горячий разговор, в нем участвовали и их солиситоры, наконец Тхоржевский обратился ко мне и сказал, подавая письмо:

– Как вы думаете об этом письме?

Письмо было от Трулова к его адвокату: он жаловался в нем на то, что его арестовали, и говорил, что, печатая брошюру, он вовсе не думал о Наполеоне, что он и впредь не намерен издавать подобных книг; письмо было подписано. Трудов стоял возле.

Советовать Трулову мне было нечего, я отделался какой-то пустой фразой, но Тхоржевский сказал мне:

– Они хотят, чтоб и я подписал такое письмо, этого не будет, я лучше пойду в тюрьму, а такого письма не подпишу.

"Сайленс!"137 – закричал huissier; явился лорд Кембель. Когда все формальности были окончены, присяжные приведены к присяге, фицрой Келли встал и объявил

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Кембелю, что он имеет сообщение от правительства. "Правительство, сказал он, - имея в виду письмо Трулова, в котором он объясняет то-то и то-то, и приняв в расчет то-то и то-то, с своей стороны, от преследования отказывается".

Кембель, обратившись к присяжным, сказал на это, что "виновность издателя брошюры о tyranicidee несомненна, что английский закон, давая всевозможную свободу печати, тем не менее имеет полные средства наказывать вызов на такое ужасное преступление, и проч. Но так как правительство, по таким-то соображениям, от преследования отказывается, то и он готов, если присяжные согласны, суд прекратить, впрочем, если они этого не хотят, он будет продолжать".

Присяжные хотели завтракать, идти по своим делам, и потому, не выходя вон, обернулись спиной и, переговоривши, отвечали, как и следовало ожидать, что они тоже согласны на прекращение суда.

Кембель возвестил Трулову, что он от суда и следствия свободен. Тут не было даже рукоплескания, а только хохот.

Наступил антракт. В это время Боткин вспомнил, что он еще не пил чаю, и пошел в ближнюю (108) таверну. Черту эту я особенно отмечаю, как совершенно русскую. Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец пьет тоже пиво, да еще пиво за все прочее; но ни англичанин, ни француз, ни немец не находятся в такой полной зависимости от желудочных привычек, как русский. Это связывает их по рукам и ногам. Остаться без обеда... как можно... лучше днем опоздать, лучше того-то совсем не видеть. Боткин заплатил за свой чай, сверх двух шиллингов, следующей превосходной сценой

Когда черед дошел до Тхоржевского, Фицрой Келли встал и снова объявил, что он имеет сообщение от правительства. Я натянул уши. Какую же причину он выдумал? Тхоржевский письма не писал.

"Подсудимый, - начал Ф. Келли, - Stanislas Trouj... Torj... Toush...", и он остановился, добавив: "That is impossible! The foreign gentleman at the bar...138, хотя и действительно виноват в издании и продаже брошюры Ф. Пиа, но правительство, взяв в расчет, что он иностранец и английских законов по этой части не знал, на первый случай отказывается от преследования".

И та же комедия. Кембель спросил присяжных. Присяжные в ту же минуту акитировали<sup>139</sup> Тхоржевского.

Французы и тут были недовольны. Им хотелось пышную mise en scene, - им хотелось громить тиранов и защитить la cause des peuples...140; может, по дороге Трулова и Тхоржевского приговорили бы к штрафу, к тюрьме; но что значит тюрьма, десять лет тюрьмы... перед всенародным повторением великих начал, ставящих вне закона - тиранов и их сеидов... незабываемых начал 1789 года, на которых так твердо стоит свобода Франции... в ссылке!

Правительство, испуганное соседом, ударило второй раз об гранитный утес английской свободы и смиренно отступило - какого же больше торжества свободной печати? (109)

## <ГЛАВА VI>

В начале будущего года думаем мы издать IV и V томы "Былого и думы". Найдут ли они тот прием, полный сочувствия, как отрывки из них, напечатанные в "Полярной звезде", и три первые части? Покамест мы решились, когда есть место, помещать в "Колоколе" отрывки из ненапечатанных глав и на первый случай берем рассказ о польских выходцах в Лондоне.

Глава эта (IV в V томе) начата в 1857 году и, помнится, дописана в 1858. Она бедна и недостаточна. Я сделал, перечитывая ее, несколько внешних поправок;

переделывать существенное в записках не идет - помеченные воспоминания так же принадлежат былому, как и события. Между ею и настоящим прошли 63 и 64 годы, совершились страшные несчастья, раскрылись страшные правды.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Не дружеский букет на гробе доброго старика в Париже, не плач на Гайгетской могиле нужны теперь – не человек хоронится, а целый народ толкают в могилу. Его судьбе прилична одна горесть – горесть пониманья, и, может, с нашей стороны один дар – дар молчания. Последние события в Польше вдохновят еще не одного поэта, не одного художника, они долго будут, как тень Гамлетова отца, звать на месть, не щадя самого Гамлета... Мы еще слишком близки к событиям. Рукам, по которым текла кровь раненых, не идет ни кисть, ни резец, они еще слишком дрожат.

Я назвал тогда главу эту "Польские выходцы", справедливее было бы назвать ее "Легендой о Ворцеле", но, с другой стороны, в его чертах, в его житии так поэтично воплощается польский эмигрант, что его можно принять за высший тип. Это была натура цельная, чистая, фанатическая, святая, полная той полной преданности, той несокрушимой страсти, той великой мономании, для которой нет больше жертв, счета службы, жизни вне своего дела. Ворцель принадлежал к великой семье мучеников и апостолов, пропагандистов и борборников своего дела, всегда являвшихся около всякого креста, около всякого освобождения...

Мне пришлось совершенно случайно перечитать мой рассказ о Ворцеле в Лугано. Там живет один из креп(110)ких старцев той удивительной семьи, о которой идет речь, и мы с ним вспомнили покойного Ворцеля. Ему за семьдесят, он сильно состарелся с тех пор, как я его не видал, но это тот же неутомимый работник итальянского дела, тот же фанатический друг Маццини, которого я знал десять лет тому назад. Вендетта за альпийскими скалами, сам – поседевшая скала итальянского освобождения, он дожил в борьбе не только до исполнения половины своих надежд, но и до новых черных дней, готовый опять, как прежде, на бой, на гибель и не уступивший никогда никому ни в чем ни одной йоты своего –credo. Как Ворцель, он беден и, как Ворцель, не думает об этом. Большинство этих людей гибнет на полдороге, насильственной или своей смертью, но все, что делается, делается ими. Мы расчищаем дорогу, мы ставим вопросы, мы подпиливаем старые столбы, мы бросаем дрожжи в душу; они ведут массы на приступ, они падают или побеждают... Таков на первом плане Гарибальди, и не мыслитель, и не политик – а любовь, вера и надежда.

Судьба Ворцеля самая трагическая из всех. Ее пятое действие продолжалось и заключилось после его смерти; об нем нельзя сказать того, что говорится о большей части павших на дороге к обетованной земле: "Зачем он не дожил!" Смерть его скосила вовремя, что было бы с ним, если бы он дожил до 1865 года?

Я рад, что память об Ворцеле так ярко воскресла в Лугано, мне дорог этот угол, с своим теплым озером, обнесенным горами, с своим вечно электрическим воздухом... Там я жил после страшных ударов 1852 года... Там есть каменная женщина, опершаяся на обе руки, в безвыходном горе глядящая перед собой и вечно плачущая... это была Италия, когда резец Белый<sup>141</sup> создал ее – не Польша ли она теперь?

Тун, 17 августа 1865. (111)

ПОЛЬСКИЕ ВЫХОДЦЫ

Алоизий Бернацкий. – Станислав Ворцель. – Агитация 1854 – 56 года. Смерть Ворцеля.

Nuovi tormenti e nuovi tormentati!

"Inferno"<sup>142</sup>

Другие несчастья, другие страдальцы ждут нас. Мы живем на поле вчерашней битвы – кругом лазареты, раненые, пленные, умирающие. Польская эмиграция, старшая всем, истощилась больше других, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки вопреки Дантону взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету. Европа расступилась с уважением перед торжественным шествием отважных бойцов. Народы выходили к ним на поклон; цари сторонились и отворачивались, чтоб дать им пройти, не замечая их. Европа проснулась на минуту от их шагов, нашла слезы и участие, нашла деньги и силу их дать<sup>143</sup>. Печальный образ польского выходца – этого рыцаря народной независимости, остался в памяти народной. Двадцать лет на чужбине вера его не ослабла, и на всякой роковой перекличке в дни опасности и борьбы за волю поляки первые отвечали:

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
".Здесь!" – как сказал Ворцель или старший Дараш Временному правительству в 1848 году. (112)

Но правительство, в котором сидел Ламартин, в них не нуждалось и вовсе об них не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтоб ее употребить неоткровенным криком восстания и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазия (у которой Польша была капризом, как у английской – Италия) стала с тех пор дуться. В Париже не говорили больше с прежней риторикой о Varsovie echevelee144, и только в народе оставалась, рядом с всякими бонапартовскими воспоминаниями, легенда о Понятуски, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятковский тонет верхом в своей charpska.

С 1849 начинается для польской эмиграции самое удручительное время. Томно длится оно до Крымской войны и смерти Николая. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провиденное Красинским, казалось, наступало. Отрезанная от страны, эмиграция осталась на другом берегу и, как дерево без новых соков, вяла, сохла, делалась чужой для родины, не переставая быть чужой для стран, в которых жила. Они до некоторой степени ей сочувствовали, но их несчастье продолжалось слишком долго, а в душе человека нет доброго чувства, которое бы не изнашивалось. К тому же вопрос польский прежде всего был вопрос национальный и только формально революционный, то есть по отношению к чужеземному игу.

Эмиграция смотрела столько же назад, сколько вперед, она стремилась восстанавливать – как будто в прошедшем что-нибудь достойное восстановления, кроме независимости – а одна независимость ничего не говорит, это понятие отрицательное. Разве можно быть независимее России? В сложную, туго выработывающуюся формулу будущего общественного устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другим в справедливой надежде на взаимность. Борьба за независимость всегда вызывает горячее сочувствие, но она не может стать своим делом для чужих. Только те интересы принадлежат всем, которые по сущности своей не национальны, как, например, интересы католицизма и протестантизма, революции и реакции, экономизма и социализма.

...в 1847 году познакомился я с польской демократической Централизацией. Тогда она жила в Версале, и, сколько мне казалось, самый деятельный член ее был Высоцкий. Особенного сближения не могло быть. Эмигрантам хотелось слышать от меня подтверждение своим желаниям, своим предположениям, а не то, что я знал. Они желали иметь сведения о каком-то заговоре, подкапывающем все государственное здание в России, и спрашивали, участвует ли в нем Ермолов... А я им мог рассказывать о радикальном направлении тогдашней молодежи, о пропаганде Грановского, об огромном влиянии Белинского, о социальном оттенке в обеих партиях, бившихся тогда в литературе и в обществе, у западников и славянофилов. – Им казалось это неважным.

У них было богатое прошлое, у нас – большая надежда, у них грудь была покрыта рубцами, у нас только крепи для них мышцы. Мы казались ополченцами перед ними, ветеранами. Поляки – мистики, мы – реалисты. Их влечет в таинственный полусвет, в котором стираются очертания, носятся образы, в котором можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видно ясно. Они могут жить в этом полусне, без анализа, без холодного исследования, без сосущего сомнения. В глубине их души, как человек в военном стане, есть чуждый нам отблеск средних веков и распятие, перед которым в минуты тяжести и усталости они могут молиться. В поэзии Красийского "Sta-bat Mater" заглушает народные гимны и влечет нас не к торжеству жизни, а к торжеству смерти, к дню великого суда... Мы или глупее верим, или умнее сомневаемся.

Мистическое направление развернулось во всей силе после наполеоновской эпохи. Мицкевич, Товянский, даже математик Вронский, все способствовали мессианизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиков. Старики, получившие образование еще в XVIII веке, были свободны от теософических фантазий. Классический закал, который давал людям великий век, как Дамаск, не стирался. Мне еще удалось видеть два-три типа старых панов-энциклопедистов.

В Париже, и притом в Rue de la Chaussee d'Antin, жил с 1831 года граф Алоизий Бернацкий, нунций польской диеты, министр финансов во время революции, маршал дворянства какой-то губернии, представлявший свое сословие императору Александру



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
I, когда он либеральничал в 1814 году.

Совершенно разоренный конфискацией, он поселился с 1831 года в Париже, и притом на той маленькой квартире в Шоссе d'Antin, которую я упомянул; оттуда-то он выходил всякое утро в темно-коричневом сертуке на прогулку и чтение журналов и всякий вечер, в синем фраке с золотыми пуговицами, к кому-нибудь провести вечер; там, в 1847 году, я познакомился с ним. Дом состарелся, хозяйка хотела его перестроить. Бернацкий написал к ней письмо, которое до того тронуло француженку (что очень не легкая вещь, когда замешаны финансы!), что она пустилась с ним в переговоры и просила его только на время переехать. Отделав квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цену. С горестью увидел он новую красивую лестницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбе.

Во всем умеренный, безусловно чистый и благородный, старик был поклонник Вашингтона и приятель Оконнеля. Настоящий энциклопедист, он проповедовал эгоизм *bien entendu*<sup>145</sup> и провел всю жизнь в самоотвержении и пожертвовал всем, от семьи и богатства до родины и общественного положения, никогда не показывая особенного сожаления и никогда не падая до ропота.

Французская полиция оставляла его в покое и даже уважала его, зная, что он был министр и нунций; префектура пресерьезно думала, что нунций польской диеты был что-то вроде папского нунция. В эмиграции это знали, и потому товарищи и соотечественники беспрестанно посылали его об них хлопотать. Бернацкий шел беспрекословно и до тех пор говорил правильные комплименты и надоедал, что префектура часто делала уступки, чтоб отвязаться от него. После совершенного покорения февральской революции тон переменялся, (115)ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни седой головой ничего нельзя было взять, а тут как назло приехала в Париж жена польского генерала, участвовавшего в венгерской войне, в большой крайности. Бернацкий просил помощи для нее у префектуры, префектура, несмотря на громкий адрес "a son excellence monsieur le Nonce"<sup>146</sup>, отказала наотрез. Старик отправился сам к Карлье, Карлье, чтоб отвязаться от него и с тем вместе унижить, заметил ему, что пособия только дают выходцам 1831 года. "Вот, - прибавил он, - если вы принимаете такое участие в этой даме, подайте просьбу, чтоб вам по бедности назначили пособие, мы вам положим франков двадцать в месяц, а вы их отдавайте кому хотите!"

Карлье был пойман. Бернацкий самым простодушным образом принял предложение префекта и тотчас согласился, рассыпаясь в благодарности. С тех пор всякий месяц старик являлся в префектуру, ждал в передней час-другой, получал двадцать франков и относил их к вдове.

Бернацкому было далеко за семьдесят лет, но он удивительно сохранился, любил обедать с друзьями, посидеть вечером часов до двух, иногда выпить бокал-другой вина. Раз как-то, поздно, часа в три, возвращались мы с ним домой; дорога наша шла по улице Лепелетье. Опера горела в огне; пьерро и дебардеры, едва прикрытые шальями, драгуны и полицейские толпились в сенях. Шутя и уверенный, что он откажется, я сказал Бернацкому:

- Quelle chance<sup>147</sup>, не зайти ли?

- С величайшим удовольствием, - отвечал он, - я лет пятнадцать не видал маскарада.

- Бернацкий, - сказал я" ему, шутя и входя в сени, - когда же вы начнете стареть?

- Un homme comme il faut, - отвечал он, смеясь, - acquiert des annees, mais ne vieillit jamais!<sup>148</sup>

Он выдержал характер до конца и как благовоспитанный человек расстался с жизнью тихо и в хороших (116) отношениях: утром ему нездоровилось, к вечеру он умер.

Во время смерти Бернацкого я был уже в Лондоне. Там вскоре после моего приезда сблизился я с человеком, которого память мне дорога и которого гроб я помог снести на Гайгетское кладбище - я говорю о Ворцеле. Из всех поляков, с которыми я сблизился тогда, он был наиболее симпатичный и, может, наименее исключительный в своей нелюбви к нам. Он не то чтоб любил русских, но он понимал вещи гуманно и потому далек был от гуловых проклятий и ограниченной ненависти. С ним с первым

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru говорил я об устройстве русской типографии. Выслушав меня, больной востепенулся, схватил бумагу и карандаш, начал делать расчеты, вычислять, сколько нужно букв и проч. Он сделал главные заказы, он познакомил меня с Чернецким, с которым мы столько работали потом.

- Боже мой, боже мой, - говорил он, держа в руке первый корректурный лист, - Вольная русская типография в Лондоне... Сколько дурных воспоминаний стирает с моей души этот клочок бумаги, замаранный голландской сажей!149

- Нам надобно идти вместе, - повторял он часто потом, - нам одна дорога и одно дело... - и он клал исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщине 29 ноября 1853 года я сказал речь в Ганновер-Руме, Ворцель председательствовал; когда я кончил, Ворцель, при громе рукоплесканий, обнял меня и со слезами на глазах поцеловал.

- Ворцель и вы, - заметил мне, выходя, один итальянец (граф Нани), - вы меня поразили давеча на платформе, мне казалось, что этот увядающий благородный, покрытый сединами старец, обнимающий вашу здоровую, плотную фигуру, - представляли типически Польшу и Россию.

- Добавьте только, - прибавил я ему, - Ворцель, подавая мне руку и заключая в свои объятия, именем Польши прощал Россию.

Действительно, мы могли идти вместе - это не удалось. (117)

Ворцель был не один... Но прежде об нем одном.

Когда родился Ворцель, его отец, один из богатых польских аристократов в Литве, родственник Эстергази, Потоцким и не знаю кому, выписал из пяти поместий старост и с ними молодых женщин, чтоб они присутствовали при крещении графа Станислава и помнили бы до конца жизни об панском угощении по поводу такой радости. Это было в 1800 году. Граф дал своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитание. Ворцель был математик, лингвист, знакомый с пятью-шестью литературами, с ранних лет приобрел он огромную эрудицию и притом был светским человеком и принадлежал к высшему польскому обществу в одну из самых блестящих эпох его заката, между 1815 - 1830 годами, Ворцель рано женился и только что начал "практическую" жизнь, как вспыхнуло восстание 1831 года. Ворцель бросил все и пристал душой и телом к движению. Восстание было подавлено, Варшава взята. Граф Станислав перешел, как и другие, границу, оставляя за собой семью и состояние.

Жена его не только не поехала за ним, но прервала с ним все сношения и за то получила обратно какую-то часть имения. У них было двое детей, сын и дочь; как она их воспитала, мы увидим, на первый случай она их выучила забыть отца.

Ворцель между тем пробрался через Австрию в Париж и тут сразу очутился в вечной ссылке и без малейших средств. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Он, как Бернацкий, свел свою жизнь на какой-то монашеский пост и ревностно начал свое апостольство, которое прекратилось через двадцать пять лет с его последним дыханием, в сыром углу нижнего этажа убогой квартиры, в темной Hunter street.

Реорганизовать польскую партию движения, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграционные силы, приготовить новое восстание и для этого проповедовать с утра до ночи, для этого жить - такова была тема всей жизни Ворцеля, от которой он не отступал ни на шаг и которой подчинил все. С этой целью он сблизился со всеми людьми движения во Франции, от Годфруа Каваньяка до Ледрю-Роллена, с этой целью был масоном, был в близких сношениях с сторонниками Маццини и с самим Маццини впоследствии. Ворцель (118) твердо и открыто поставил революционное знамя Польши против партии Чарторижских. Он был уверен, что аристократия погубила восстание, он в старых панах видел врагов своему делу и собирал новую Польшу, чисто демократическую.

Ворцель был прав.

Аристократическая Польша, искренно преданная своему делу, шла во многом в разрез с стремлениями нашего времени; перед ее глазами постоянно носился образ прежней Польши, не новой, а восстановленной, ее идеал был столько же в воспоминании,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru сколько в упованиях. Польше достаточно было и одного католического ядра на ногах, чтоб отставать – рыцарские доспехи совсем остановили бы ее. Соединяясь с Мащини, Ворцель хотел привенчать польское дело к общеевропейскому, республиканскому и демократическому движению. Ясно, что он должен был искать почвы в незнатной шляхте, в городских жителях и в рабочих. Начаться восстание могло только в этой среде. Аристократия пристала бы к движению, крестьян можно было бы увлечь, инициативы они никогда бы сами не взяли.

Можно обвинять Ворцеля за то, что он вступил в ту же колею, в которой уже вязла и грузла западная революция, что он в этом пути видел единственный путь спасения; но, однажды приняв его, он был последователен. Обстоятельства его вполне оправдали. Где же в Польше была действительно революционная среда, как не в том слое, к которому постоянно обращался Ворцель и который сложился, вырос и окреп между 1831 годом и шестидесятыми годами.

Как бы мы розно ни смотрели на революцию и ее средства, но нельзя отвергнуть, что все приобретенное революцией – приобретено средним слоем общества и городскими рабочими. Что сделал бы Мащини, что Гарибальди без городского патриотизма, а ведь польский вопрос был вопрос чисто патриотический, у самого Ворцеля интерес национальной независимости все же был ближе к сердцу, чем социальный переворот.

Года за полтора до февральской революции по дремавшей Европе пробежала какая-то дрожь пробуждения – Краковское дело, процесс Мерославского, по(119)том война Зондербунда и итальянское *risorgimento*150, Австрия отвечала восстанию имперской пугачевщиной, Николай подарил ей не принадлежавший ему Краков, но тишина не возвратилась. Людвиг-филипп пал в феврале 1848 года, поляк возил его трон на сожжение. Ворцель во главе польской демократии явился напомнить Временному правительству о Польше. Ламартин принял его холодной риторикой. Республика была больше мир, чем империя.

Был миг, в который можно было надеяться, этот миг пропустила Польша, пропустила вся Западная Европа, и Паскевич донес Николаю, что Венгрия у его ног.

С падением Венгрии ждать было нечего, и Ворцель, вынужденный оставить Париж, переселился в Лондон.

В Лондоне я его застал в конце 1852 членом Европейского комитета151. Он стучался во все двери, писал письма, статьи в журналах, он работал и надеялся, убеждал и просил – а так как при всем остальном надо было есть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черчения и даже французского языка; кашляя и задыхаясь от астмы, ходил он с конца Лондона на другой, чтоб заработать два шиллинга, много – полкроны. И тут он еще долю выработанного отдавал своим товарищам.

Дух его не унывал, но тело отстало. Лондонский воздух – сырой, копченый, не согретый солнцем – был не по слабой груди. Ворцель таял, но держался. Так он дожил до Крымской войны, ее он не мог, я готов сказать, не должен был пережить. "Если Польша теперь ничего не сделает, все пропало, надолго, очень надолго, если не навсегда, и мне лучше – закрыть глаза", – говорил Ворцель мне, отправляясь по Англии с Кошутом. Во всех главных городах собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встречали громом рукоплесканий, делали небольшие денежные сборы, и только. Парламент и правительство очень хорошо знают, когда народная волна просто шумит и когда она в самом деле напирает. Твердо стоявшее министерство, предложившее *Conspiracy Bill*120, пало в ожидании народного схода в Гайд-парке. В митингах, собираемых Кошутом и Ворцелем для того, чтоб вызвать со стороны парламента и правительства признание польских прав, заявление симпатии к польскому делу, ничего не было определенного, не было силы. Страшный ответ консерваторов был неотразим: "В Польше все покойно". Правительству приходилось не признать совершившийся факт, а вызвать его, взять революционную инициативу, разбудить Польшу. Так далеко в Англии общественное мнение не идет. К тому же *in petto*152 все желали окончания войны, только что начавшейся, дорогой и в сущности бесполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался в Лондон. Он был слишком умен, чтоб не понять неудачу, он старелся наглазно, был угрюм и раздражителен и с той лихорадочной деятельностью, с которой умирающие принимают тревожно за всякое лечение, с зловещей боязнью в груди и с упорной надеждой, ездил он опять, в Бирмингем или Ливерпуль, с трибуны поднимать свой план о Польше. Я смотрел на

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru него с глубокой горестью. Но как же он мог думать, что Англия поднимет Польшу, что Франция Наполеона вызовет революцию? Как он мог надеяться на ту Европу, которая допустила Россию в Венгрию, французам в Рим, разве самое присутствие Маццини и Кошута в Лондоне не громко ему напоминало о ее падении?

...Около того времени давно накопившее неудовольствие против Централизации в молодой части эмиграции подняло голос. Ворцель обомлел – этого удара он не ждал, а он пришел совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавших Ворцеля, далеко не имела одного уровня с ним. Ворцель понимал это, но, привыкнув к своему хору, был под его влиянием. Он воображал, что он ведет, в то время как хор, стоя сзади, направлял его, куда хотел. Только Ворцель подымался на ту высь, в которой ему было свободно дышать, в которой ему было естественно, – хор, исполняя должность мещанской родни, стягивал его в низменную сферу эмиграционных дрызг и мелочных расчетов. Преждевременный старик задышался в (121) этой среде от духовного астма столько же, как и от физического.

Люди эти не поняли серьезного смысла того союза, который я предлагал. Они в нем видели средство придать новый колорит делу: вечная таутология общих мест, патриотические фразы, казенные воспоминания – все это приелось, наскучило. Соединение с русским давало новый интерес. К тому же они думали поправить свои дела, очень расстроенные, на счет русской пропаганды.

С самого начала между мной и членами Централизации не было настоящего понимания. Недоверчивые ко всему русскому, они хотели, чтоб я написал и напечатал нечто вроде profession de foi<sup>153</sup>. Я написал "Поляки прощают нас", они просили изменить кой-какие выражения – я это сделал, хотя далеко не был согласен с ними. В ответ на мою статью Л. Зенкович написал воззвание к русским и прислал мне его в рукописи. Ни тени новой мысли, те же фразы, те же воспоминания и притом католические выходки. Прежде чем переводить на русский язык – я показал Ворцелю нелепости редакции. Ворцель был согласен и пригласил меня вечером объяснить дело членам Централизации.

Тут произошла вечная сцена Трисотина и Вади-уса – именно те места, на которые я указывал, они-то и были необходимы для того, чтоб Польша не сгинела. Насчет католических фраз – они сказали, что каковы бы ни были их личные верования, но что они хотят быть с народом, а народ горячо любит свою гонимую мать – латинскую церковь...

Ворцель поддерживал меня. Но как только он начинал говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлял от табачного дыма и ничего не мог сделать. Он обещал мне переговорить с ними потом и настоять на главных поправках. Через неделю вышел "Демократ польский" – в воззвании не было переменено ни одной йоты – я отказался от перевода. Ворцель говорил мне, что и он был удивлен этой проделкой. "Этого мало, что вы удивились, – зачем вы не остановили?" – заметил я ему. (122)

Для меня было очевидно, что рано или поздно вопрос станет для Ворцеля так – разорваться с тогдашними членами Централизации и остаться в близком отношении со мной или разорваться со мной и остаться по-прежнему с своими революционными недорослями. Ворцель выбрал последнее – я был огорчен этим, но никогда не сетовал на него и не сердился.

Здесь я должен буду взойти в печальные подробности. Когда я завел типографию, у нас было решено так – все расходы книгопечатания (бумага, набор, наем места, работа и etc.) падали на мой счет. Централизация брала на свой счет пересылку русских листов и брошюр теми путями, которыми они пересылали польские брошюры. Все, что они брали для пересылки, – я им давал безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша – но вышло, что и она была мала.

Для своих дел и преимущественно для собрания денег Централизация решила послать в Польшу эмиссара. Хотели даже, чтоб он пробрался в Киев, а если можно – в Москву – для русской пропаганды – и просили от меня писем. Я отказался боясь наделать бед. Дни за три до его отправления, вечером встретил я на улице Зенковича, который тотчас меня спросил:

– Вы сколько даете на посылку эмиссара – с своей стороны?

Вопрос показался мне странным, но, зная их стесненное положение, я сказал, что, пожалуй, дам фунтов десять (250 фр.).

- Да что вы, шутите, что ли? - спросил, морщась, Зенкович. - Ему надобно по меньшей мере шестьдесят фунтов, а у нас ливров сорок, недостает. Этого так оставить нельзя, я поговорю с нашими и приду к вам.

Действительно, на другой день он пришел с Ворцелем и двумя членами Централизации. На этот раз Зенкович меня просто обвинил в том, что я не хочу дать достаточно денег на посылку эмиссара - а согласен ему дать русские печатные листы.

- Помилуйте, - отвечал я, - вы решились послать эмиссара, вы находите это необходимым, - трата падает на вас. Ворцель налицо, пусть он вам напомнит условия. (123)

- Что тут толковать о вздоре! Разве вы не знали, что у нас теперь гроша нет? Тон этот мне, наконец, надоел.

- Вы, - сказал я, - кажется, не читали "Мертвых душ", а то бы я вам напомнил Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего имения, заметил, что и с той и с другой стороны земля его. Это очень сбивает на наш дележ - мы делили работу нашу и тягу пополам, на том условии, чтоб обе половины лежали на моих плечах.

Маленький, желчевой литвин начал выходить из себя, кричать о гоноре и заключил нелепую и невежливую речь вопросом:

- Чего же вы хотите?

- Того, чтоб вы меня не принимали ни за *baillieur de fonds*<sup>154</sup>, ни за демократического банкира, как меня назвал один немец в своей брошюре. Вы слишком оценили мои средства и, кажется, слишком мало меня... вы ошиблись...

- Да позвольте, да позвольте... - горячился бледный от ярости литвин.

- Я не могу дозволить продолжение этого разговора, - сказал, наконец, Ворцель, мрачно сидевший в углу и вставая. - Или продолжайте его без меня. *Cher Herzen*<sup>155</sup>, вы правы, но подумайте об нашем положении - эмиссара послать необходимо, а средств нет.

Я остановил его.

- В таком случае можно было меня спросить, могу ли я что-нибудь сделать, но нельзя было требовать - а требовать в этой грубой форме просто гадко. Деньги я дам, делаю это единственно для вас и - и даю вам честное слово, господа, в последний раз.

Я вручил Ворцелю деньги - и все мрачно разошлись.

Как вообще делались финансовые операции в нашем мире - я покажу еще на одном примере.

После моего приезда в Лондон в 1852, говоря о плохом состоянии итальянской кассы с Маццини, я сообщил ему, что в Генуе я предлагал его друзьям завести свою *income-tax*<sup>156</sup> и платить бесхозяйным процентов десять, семейным меньше. (124)

- Примут все, - заметил Маццини, - а заплотят весьма немногие.

- Стыдно будет, заплотят. Я давно хотел внести свою лепту в итальянское дело, мне оно близко, как родное - я дам десять процентов с дохода единовременно. Это составит около двухсот фунтов. - Вот сто сорок фунтов, а шестьдесят останутся за мной.

В начале 1853 Маццини исчез. Вскоре после его отъезда явились ко мне два породистых рефюжье - один в шинели с меховым воротником, потому что он десять лет тому назад был в Петербурге, другой без воротника - но с седыми усами и

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru военной бородкой. Они пришли с поручением от Ледрю-Роллена – он хотел знать, не намерен ли я прислать какую-нибудь сумму денег в Европейский комитет. Я признался, что не имею.

Несколько дней спустя тот же вопрос был мне сделан Ворцелем.

- С чего это взял Ледрю-Роллен?
- Да ведь дали же вы Маццини.
- Это скорее резон не давать никому другому.
- Кажется, за вами осталось шестьдесят фунтов?
- Обещанные Маццини.
- Это все равно.
- Я не думаю.

...Прошла неделя – я получил письмо от Маццолени, в котором он уведомлял меня, что до его сведения дошло, что я не знаю, кому доставить шестьдесят фунтов, оставшиеся за мной, в силу чего он просит переслать их ему, как представителю Маццини в Лондоне.

Маццолени этот действительно был секретарем Маццини. Чиновник, бюрократ по натуре – он нас смешил своей министерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о восстании в Милане 3 февраля 1853. была напечатана в журналах, я поехал к Маццолени узнать, не имеет ли он каких вестей. Маццолени просил меня подождать – потом вышел озабоченный, доблестный, с какими-то бумагами и с Братиано, с которым был в важном разговоре.

- Я к вам приехал узнать, нет ли каких вестей.
- Нет, я сам узнал из "Теймса" – жду с часу на час депешу. (125)

Подожли еще человека два. Маццолени был доволен и потому морщился и жаловался на недосуг. Разговорившись, он начал полусловами добавлять новости и пояснять.

- Откуда же вы знаете? – спросил я его.
- Это... это, разумеется, мои соображения, – заметил, несколько смешавшись, Маццолени.
- Завтра утром я к вам приеду...
- А если сегодня будет что-нибудь, я извещу вас.
- Вы меня одолжите – от семи до девяти я буду у Бери.

Маццолени не забыл – часу в восьмом я обедал у Вери. Взшел итальянец, которого я два раза видал – он подошел ко мне, осмотрелся, выждал, когда гарсон пошел за чем-то, и, сказав мне, что Маццолени поручил ему передать, что никакой телеграммы не было, – ушел.

...Получив письмо – от этого статс-секретаря по революции – я ему отвечал шутя, что он напрасно меня представляет в каком-то беспомощном состоянии, стоящего среди Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесят ливров – что я без письма Маццини вовсе не намерен их кому б то ни было отдавать.

Маццолени написал мне длинную и несколько гневную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшего, быть колкой для получающего – не выходя, впрочем, из пределов парламентской вежливости.

Не прошло недели после этих искушений – как утром приехала ко мне Эмилия Г., одна из преданнейших женщин Маццини и близкий его друг. Она мне сообщила о том, что восстание в Ломбардии не удалось и что Маццини еще скрывается там и просит

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
немедленно выслать денег, а денег нет.

- Вот вам, - сказал я ей, - знаменитые шестьдесят фунтов, - не забудьте только сказать тайному советнику Маццолени - да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не так-то дурно сделал, не бросив в омут Европейского комитета эти полторы тысячи франков.

Предупреждая наш русский, национальный вывод из моего рассказа - я должен сказать, что деньгами, так собираемыми, никогда никто не пользовался;157 у нас (126) их кто-нибудь украл бы, - здесь они исчезали в том роде, если б кто-нибудь, не записывая нумеров, жег бы на свече ассигнации.

Эмиссар поехал и приехал назад, ничего не сделавши. Война- приближалась... началась. Эмиграция была недовольна - молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля в неспособности, лени, в желании устроить свои делишки - вместо польских дел - в апатии. Неудовольствие их дошло до явного ропота, они поговаривали об отчете, который хотели требовать от членов Централизации, об открытом заявлении недоверия. Их останавливало и удерживало одно - уважение и любовь к Ворцелю. Сколько мог, я, через Чернецкого, поддерживал это - но ошибка за ошибкой Централизации должны были, наконец, вывести из терпения хоть кого.

В ноябре 1854 был снова польский митинг - но уже совсем в другом духе, чем в прошлом году. Председателем был избран член парламента Жозуа Вомслей: поляки ставили свое дело под английский патронаж. В предупреждение слишком красных речей Ворцель написал кой к кому записки вроде полученной мною: "Вы знаете, что 29 у нас митинг; не можем пригласить вас и в этот год, как в прошлый, сказать нам несколько сочувствующих слов: война и необходимость сближения с англичанами заставляет нас дать митингу иной (127) цвет. Не Герцен, не Ледрю-Роллен и Пьянчани будут говорить - а большей частью англичане, из наших же один Кошут возьмет речь, чтоб изложить положение дел и проч.". Я отвечал, что "приглашение не говорить на митинге я получил - и с тем большей охотой его принимаю, что оно очень легко".

Сближение с англичанами не состоялось, уступки были сделаны напрасно даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказал, что он готов дать денег, но не хочет подписать своего имени, не желая как член парламента официально участвовать в сборе, цель которого не признана правительством.

Все это и, между прочим, мое отдаление от митинга довело раздражение молодых людей до крайней степени, у них уже ходил по рукам обвинительный акт. Как нарочно, в то же время я должен был перевести русскую типографию в другое место. Зенкович, нанимавший на свое имя дом, в котором помещалась она вместе с польской типографией, был кругом в долгах, два раза уже являлись брокеры158, всякий день можно было ждать, что типографию захватят вместе с другой мебелью. Я поручил Чернецкому ее перевести - Зенкович упирался, не хотел выдать букв и принадлежностей - я написал ему холодную записку.

В ответ на нее на другой день приехал больной и расстроенный Ворцель - ко мне в Твикнем.

- Вы нам наносите *le coup de grace*159 в то самое время, как у нас идет такая усобица, вы переводите типографию.

- Уверяю вас, что тут никаких нет политических причин, ни ссор, ни демонстраций, а очень просто: я боюсь, что опишут все у Зенковича. Отвечаете ли вы мне, что этого не будет? Я на ваше честное слово положусь и типографию оставлю.

- Дела его очень запутаны - это правда.

- Как же вы хотите, чтоб я рисковал моим единственным орудием. Если даже я потом и выкуплю - чего будет стоить одна потеря времени? Вы знаете, как это здесь делается...

Ворцель молчал. (128)

- Вот что я могу сделать для вас: я напишу письмо, в котором скажу, что хозяйственные распоряжения заставляют меня перевести типографию - но что это не только не значит, что мы расходимся - но, напротив, что у нас вместо одной будет

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
две типографии. Письмо это вы можете напечатать, если желаете, или показать кому угодно.

Действительно, я в этом смысле и написал письмо на имя Жабицкого, забитого члена Централизации, заведовавшего ее материальной частью.

Ворцель остался обедать. После обеда я уговорил его переночевать в Твикнеме, вечером мы сидели с ним вдвоем перед камином. Он был очень печален, ясно понимая, каких ошибок он наделал, как все уступки не повели ни к чему, кроме к внутреннему распадению, наконец, как агитация, которую он делал с Кошутым, пропадала бесследно; а фондом всей черной картины – убийственный покой Польши.

П. Тейлор велел хозяйке дома всякую неделю посылать к нему счет – за квартиру, стол и прачку – этот счет он платил, но "на руки" ему не давал ни одного фунта.

Осенью 1856 Ворцелю советовали ехать в Ниццу и сначала пожить на теплых закраинах Женевского озера. Услышав это – я ему предложил деньги, нужные на путь. Он принял, и это нас снова сблизило – мы опять стали чаще видаться. Но собиравшись он в путь тихо – лондонская зима, сырая, с продымленным, давящим туманом, вечной сыростью и страшными северо-восточными ветрами, – начиналась. Я торопил его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страх от перемены, от движения, он боялся одиночества, я ему предлагал взять с собою кого-нибудь до Женевы – там я его передал бы Карлу Фогту... Он все принимал, со всем соглашался, но ничего не делал. Жил он ниже rez-de-chaussee160, у него в комнате почти никогда не было светло, там-то, в астме, без воздуха, дыша каменным углем, он потухал. (129)

Ехать он решительно опоздал, я ему предложил нанять для него хорошую комнату в Brompton consumption hospital161.

– Да это было бы хорошо... но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

– Ну так что же?

– Жабицкий живет здесь, и все дела наши здесь, а он должен каждое утро приходить ко мне с дневным отчетом!..

Тут самоотвержение граничило с сумасшествием.

.....  
.....

– Вы, верно, слышали, – спросил меня Ворцель, – что против нас готовится обвинительный акт?

– Слышал.

– Вот что я заслужил под старость... вот до чего дожил... – и он грустно качал седой головой своей.

– Вряд правы ли вы, Ворцель. Вас так привыкли любить и уважать, что если этому делу не давали хода, то это только из боязни вас огорчить. Вы знаете, зуб не на вас, пусть ваши товарищи идут своей дорогой.

– Никогда, никогда! Мы всё делали вместе, на нас лежит общая ответственность.

– Вы их не спасете...

– А что вы говорили полчаса тому назад по поводу того, что Россель предал своих товарищей?

Это было вечером. Я стоял поодаль от камина, Ворцель сидел у самого огня, обернувшись лицом к камину, его болезненное лицо, на котором дрожал красный отсвет, показалось мне еще больше истомленным и страдальческим – слеза, старая слеза скатывалась по исхудалой щеке его... Прошли несколько минут невыносимо тяжелого молчания... Он встал, я проводил его в его спальню, большие деревья шумели в саду, Ворцель отворил окно и сказал:



- Я здесь с моей несчастной грудью прожил бы вдвое.

Я схватил его за обе руки.

- Ворцель, - говорил я ему, - останьтесь у меня; я вам дам еще комнату, вам никто мешать не будет, делайте, что хотите, завтракайте одни, обедайте одни, если хотите; вы отдохнете месяца два... вас не будут (130) беспрерывно тормошить, вы освежитесь, я вас прошу как друга, как ваш меньшей брат!

- Благодарю, благодарю вас от всего сердца; я сейчас бы принял ваше предложение, но при теперешних обстоятельствах это просто невозможно... С одной стороны, война, с другой - наши это примут за то, что я их оставил. Нет, каждый должен нести крест свой до конца.

- Ну так усните по крайней мере спокойно, - сказал я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

...Война оканчивалась, умер Николай, началась новая Россия, дожили мы до Парижского мира и до того, что "Полярная звезда" и все напечатанное нами в Лондоне покупалось на корню. Мы стали издавать "Колокол", и он пошел... Мы с Ворцелем видались редко, он радовался нашим успехам, с той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, с которой мать, потерявшая сына, следит за развитием чужого отрока... Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелем в его огди о mai162, наступало, и он гаснул...

За три дня до его кончины Чернецкий прислал за мною. Ворцель меня спрашивал - он был очень плох, ждали его кончины. Когда я приехал к нему, он был в забытьи, близком к обмороку, бледный, восковой лежал он на диване... щеки его совершенно ввалились, такие припадки с ним повторялись в последние дни, он привыкал быть мертвым. Через четверть часа Ворцель стал приходить в себя, слабо говорить, потом узнал меня, привстал и лег полусидя на диване.

- Читали вы газеты? - спросил он меня,

- Читал.

- Расскажите, как идет невшательский вопрос, я не могу ничего читать.

Я ему рассказал, он все слышал и все понял.

- Ах, как спать хочется, оставьте меня теперь, я не усну при вас, а мне от сна будет легче.

На другой день ему было получше. Ему хотелось мне что-то сказать... Он раза два начинал и останавливался... и, только оставшись со мной наедине, умираю(131)щий подозвал меня к себе и, слабо взяв меня за руку, сказал:

- Как вы были правы... Вы не знаете, как вы были правы... У меня лежало это на душе вам сказать.

- Не будем больше говорить об них.

- Идите вашей дорогой... - он поднял на меня свой умирающий, но светлый, лучезарный взгляд. Больше он говорить не мог. Я поцеловал его в губы - и хорошо сделал, мы простились надолго. Вечером он встал, вышел в другую комнату, хлебнул теплой воды с джином у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религиозно уважавшей в Ворцеле какое-то высшее явление, взшел опять к себе и уснул. На другой день, утром, Жабицкий и хозяйка спросили, не надобно ли ему чего больше. Он просил сделать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сделали. Ворцель не просыпался.

Я уже не застал его. Худое-худое лицо. его и тело было покрыто белой простыней, я посмотрел на него, простился и пошел за работником скульптора, чтоб снять маску.

Его последнее свидание, его величественную агонию я рассказал в другом месте<sup>163</sup>. Прибавлю к ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорил о своей семье. Раз как-то он искал для меня какое-то письмо: порывшись на столе, он открыл ящик. Там лежала фотография какого-то сытого молодого человека с офицерскими усами.

- Наверное, поляк и патриот? - сказал я, больше шутя, чем спрашивая.

- Это, - сказал Ворцель, глядя в сторону и поспешно взяв у меня из рук портрет, - это... мой сын.

Я узнал впоследствии, что он был русским чиновником в Варшаве.

Дочь его вышла замуж за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины он диктовал Маццини свое завещание - совет Польше, поклон ей, привет друзьям... (132)

- Теперь все, - сказал умирающий. Маццини не покидал пера.

- Подумайте, - говорил он, - не хотите ли вы в эту минуту...

Ворцель молчал.

- Нет ли еще лиц, которым бы вы имели что-нибудь сказать?

Ворцель понял; лицо его подернулось тучей, и он ответил.

- Мне им нечего сказать.

Я не знаю проклятия, которое ужаснее звучало бы и тяжелей бы ложилось этих простых слов.

С смертью Ворцеля - демократическая партия польской эмиграции в Лондоне обмельчала. Им, его изящной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партия распалась на мелкие партии, почти враждебные. Годичные митинги вразбивку стали бедны числом и интересом... вечная панихида, перечень старых и новых потерь - и, как всегда в панихидах, чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века - чаяние во второе пришествие Бонапарта и в преображение Речи Посполитой.

Два-три благородных старца остались величественными и скорбными памятниками - как те длиннородные, седые израильтяне, которые плачут у стен иерусалимских, они не как вожди указывают путь вперед, а как иноки - могилу они останавливают нас своим *Sta, viator! herois sepulcrum...*164

Между ними, лучший из лучших - сохранивший в дряхлом теле молодое сердце и юный, кроткий, детски чистый, голубой взгляд, - одна нога его уже в гробе, скоро уйдет он, скоро и противник его, Адам Чарторижский.

Уж не в самом ли деле это *finis Poloniae?*165

...Прежде чем мы совсем оставим трогательную и симпатичную личность Ворцеля - на холодном Гайгетском кладбище, - я хочу рассказать несколько мело(133)чей о нем. Так люди, идущие с похорон, приостанавливая скорбь, рассказывают разные подробности о покойном.

Ворцель был очень рассеян в маленьких житейских делах - после него всегда оставались очки, их чехол, платок, табатерка - зато, если близко него лежал не его платок, он его клал в карман, он приходил иногда с тремя перчатками, иногда с одной.

Прежде чем он переехал в Hunter street, он жил возле в полукруге небольших домов Burton crescent, 43 - недалеко от Нью-Рода. На английский манер все дома полукруга были одинакие. Дом, в котором жил Ворцель, был пятый с края - и он всякий раз, зная свою рассеянность, считал двери. Возвращаясь как-то с противоположной стороны полулуны, Ворцель постучал и, когда ему отперли, взвошел в свою комнатку. Из нее вышла какая-то девушка, вероятно хозяйская дочь. Ворцель сел отдохнуть к потухавшему камину - за ним кто-то раза два кашлянул - на

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
креслах сидел незнакомый человек.

- Извините, - сказал Ворцель, - вы, верно, меня ждали?

- Позвольте, - заметил англичанин, - прежде чем я отвечу, узнать, с кем я имею честь говорить?

- Я Ворцель.

- Не имею удовольствия знать, что же вам угодно? Тут вдруг Ворцеля поразила мысль, что он не туда попал - оглядевшись, он увидел, что мебель и все прочее не его. Он рассказал англичанину свою беду и, извиняясь, отправился в пятый дом с другой стороны. По счастью, англичанин был очень учтивый человек - что не очень обыкновенный плод в Лондоне.

Месяца через три - та же история. На этот раз, когда он постучал, горничная, отворившая дверь, видя почтенного старика, просила его взойти прямо в парлор - там англичанин ужинал с своей женой. Увидя входящего Ворцеля, он весело протянул ему руку и сказал:

- Это не здесь, вы живете в сорок третьем номере. При этой рассеянности Ворцель сохранил до конца жизни необыкновенную память, я в нем справлялся, как в лексиконе или энциклопедии. Он читал все на свете, занимался всем механикой и астрономией, естественными науками и историей. Не имея никаких католических предрассудков - он, по странному прищипанному польского ума, верил в какой-то духовный мир - неопределенный, ненужный, невозможный - но отдельный от мира материального. Это не религия Моисея, Авраама и Исаака, а религия Жан-Жака, Жорж Санд, Пьера Леру, Маццини и проч. Но Ворцель имел меньше их всех прав на нее.

Когда его астма не очень мучил и на душе было не очень темно, Ворцель был очень любезен в обществе - он превосходно рассказывал, и особенно воспоминания из старого панского быта, - этими рассказами я заслушивался. Мир пана Тадеуша, мир Мурделио проходил перед глазами - мир, о кончине которого не жалеешь, напротив, радуешься - но которому невозможно отказать в какой-то яркой, необузданной поэзии - вовсе недостающей нашему барскому быту. Нам в сущности так не свойственна западная аристократия, что все рассказы о наших тузах сводятся на дикую роскошь, на пиры на целый город, на бесчисленные дворни, на тиранство крестьян и мелких соседей - с рабским подострастием перед императором и двором. Шереметевы и Голицыны, со всеми их дворцами и поместьями, ничем не отличались от своих крестьян, кроме немецкого кафтана, французской грамоты, царской милости и богатства. Все они беспрерывно подтверждали изречение Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди - это те, с которыми он говорит и пока говорит... Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что может быть жалче *et moins aristocratique* 167, как последний представитель русского барства и вельможничества, виденный мною, князь Сергей Михайлович Голицын, и что отвратительнее какого-нибудь Измайлова.

Замашки польских панов были скверны, дики, почти непонятны теперь - но диаметр другой, но другой закал личности и ни тени холопства.

- Знаете вы, - спросил меня раз Ворцель, - отчего называется *Passage Radzivil* в Пале-Рояле?

- Нет.

- Вы помните знаменитого Радзивилла, приятеля регента, который проехал на своих из Варшавы в Париж (135) и для всякого ночлега покупал дом? Регент был без ума от него: количество вина, которое выпивал Радзивилл, покорило ему расслабленного хозяина - герцог так привык к нему, что, видаясь всякий день, посылал еще по утрам к нему записки. Занудило как-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Он послал хлопа к нему с письмом. Хлопец искал, искал, не нашел и принес повинную голову. "Дурак, - сказал ему пан, - поди сюда. Смотри в окно - видишь этот большой дом?" (Пале-Рояль). - "Вижу" - "Ну, там живет первый здешний пан, каждый тебе укажет". Пошел хлопец - искал, искал, - не может найти. Дело было в том, что дома отгораживали дворец и надобно было сделать обход по *St.-Honore*... "Фу, какая скука, - сказал пан. - Велите моему поверенному скупить дома между моим дворцом и Пале-Роялем - да и сделайте улицу - чтоб дурак этот не плутал, когда я опять его пошлю к регенту".

<ГЛАВА VII>. НЕМЦЫ В ЭМИГРАЦИИ

Руге, Кинкель. – Schwefelbande 168. – Американский, обед. – "The Leader".  
Народный сход в St.-Martins Hall. – (D-r Muller.)

Немецкая эмиграция отличалась от других своим тяжелым, скучным и сварливым характером. В ней не было энтузиастов, как в итальянской, не было ни горячих голов, ни горячих языков, как между французами.

Другие эмиграции мало сближались с нею; разница в манере, *habitus* удерживала их на некотором расстоянии; французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью. Отсутствие общепринятой светскости, тяжелый школьный доктринаризм, излишняя фамильярность, излишнее простодушие немцев затрудняли с ними сношения не привыкших людей. Они и сами не очень сближались, считая себя, с одной стороны, гораздо выше прочих по научному развитию... и, с дру(136)гой – чувствуя перед другими неприятную неловкость провинциала в столичном салоне и чиновника в аристократическом кругу.

Внутри немецкая эмиграция представляла такую же рассыпчатость, как и ее родина. Общего плана у немцев не было, единство их поддерживалось взаимной ненавистью и злым преследованием друг друга. Лучшие из немецких изгнанников чувствовали это. Люди энергические, люди чистые, люди умные – как К. Шурц, как А. Виллих, как Рейхенбах, уезжали в Америку. Люди кроткие по нраву прятались за делами, за лондонской далью, – как Фрейлиграт. Остальные – исключая двух-трех вожаков, раздирали друг друга на части с неумолимым остервенением, не щадя ни семейных тайн, ни самых уголовных обвинений.

Вскоре после моего приезда в Лондон поехал я в Брейтон к Арнольду Руге. Руге был коротко знаком московскому университетскому кругу сороковых годов он издавал знаменитые "hallische Jahrbücher", мы в них черпали философский радикализм. Встретился я с ним в 1849 в Париже – на неостывшей еще, вулканической почве. В те времена было не до изучения личностей. Он приезжал одним из поверенных баденского инсurreкционного<sup>169</sup> правительства звать Мерославского, не умевшего по-немецки начальствовать армией фрейшерлеров<sup>170</sup> и переговаривать с французским правительством, которое вовсе не хотело признавать революционный Баден. С ним был К. Блинд. После 13 июня ему и мне пришлось бежать из Франции. К. Блинд опоздал несколькими часами и был посажен в Консьержри. С тех пор я не видал Руге до осени 1852.

В Брейтоне я нашел его брюзгливым стариком, озлобленным и злоречивым. Оставленный прежними друзьями, забытый в Германии, без влияния на дела – и перессорившийся с эмиграцией – Руге был поглощен сплетнями и пересудами. В постоянной связи с ним были два-три бездарнейших газетных корреспондента, грошовых фельетониста, этих мелких мародеров гласности, которых никогда не видать во время сражения и всегда после, майских жуков политического и литературного мира, ка(137)ждый вечер с наслаждением и усердием копающихся в выброшенных остатках дня. С ними Руге составлял статейки, подзадоривал их, давал им материал и сплетничал на несколько журналов в Германии и Америке.

Я обедал у него и провел весь вечер. В продолжение всего времени он жаловался на эмигрантов и сплетничал на них.

– Вы не слыхали, – говорил он, – как идут дела нашего сорокапятилетнего Вертера с баронессой? Говорят, что, открываясь ей в любви, хотел ее увлечь химической перспективой гениального ребенка, который должен родиться от аристократии и коммуниста? Барон, не охотник до физиологических опытов, говорят, прогнал его в три шеи. Правда это?

– Как же вы можете верить таким нелепостям?

– Да я и в самом деле не очень верю. Живу здесь в захолустье и слышу только о том, что делается в Лондоне, – от немцев, все они, а особенно эмигранты – врут бог знает что, все между собой в ссоре, клеветают друг на друга. Я думаю, это Кинкель распустил такой слух в знак благодарности за то, что баронесса его выкупила из тюрьмы. Ведь он бы и сам за ней поволочился, да воли-то нет. Жена не дает ему баловаться. "Ты, говорит, меня от первого мужа отбил – так уже теперь довольно..."

Вот образчик философской беседы Арнольда Руге. Один раз он изменил своему диапазону и стал с дружеским участием говорить о Бакунине, но на полдороге спохватился и добавил:

- А, впрочем, в последнее время он как-то стал опускаться - бредил каким-то революционным царизмом, панславизмом.

Я уехал от него с тяжелым сердцем и с твердым намерением никогда не возвращаться.

Через год он читал в Лондоне несколько лекций о философском движении в Германии. Лекции были плохи, берлински-английский акцент неприятно поражал ухо, к тому же он все греческие и римские имена произносил на немецкий манер, так что англичане не могли догадаться, кто эти иофис171, Юно172... На вторую лекцию (138) пришли десять человек, на третью - человек пять - да я с Ворцелем. Руге, проходя по пустой зале мимо нас, сильно сжал мне руку и прибавил:

- Польша и Россия пришли - а Италии нет, этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новом восстании народов.

Когда он ушел, разгневанный и грозный, я посмотрел на сардоническую улыбку Ворцеля и сказал ему:

- Россия зовет Польшу к себе отобедать.

- *Sen est fait de l'Italie*173, - заметил Ворцель, качая головой, и мы пошли.

Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне. Человек безукоризненного поведения, работавший в поте лица своего, что, как ни странно может это показаться, почти вовсе не встречалось в эмиграциях, Кинкель был заклятый враг Руге, почему? Это так же трудно объяснить, как то, что проповедник атеизма Руге был другом неокатолика Ронге. Готфрид Кинкель был один из глав сорока сороков лондонских немецких расколов.

Глядя на него, я всегда дивился, как величественная, зевсовская голова попала на плечи немецкого профессора и как немецкий профессор попал сначала на поле сражения, потом, раненый, в прусскую тюрьму; а может, мудренее всего этого то, что все это плюс Лондон его нисколько не изменили и он остался немецким профессором. Высокий ростом, с седыми волосами и бородой с проседью, он сам по себе имел величавый и внушающий уважение вид - но он к нему прибавлял какое-то официальное помазание, *salbung*174, что-то судейское и архиерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттенок этот в разных вариациях встречается у модных пасторов, у дамских врачей, особенно у магнетизеров, адвокатов, специально защищающих нравственность, у главных waitеров175 аристократических отелей в Англии. Кинкель в молодости много занимался богословием; освободившись от него, он остался священником в приемах. Это не удивительно: сам Ламенне, подрубая так глубоко корни католицизма, сохранил до старости вид аббата. (139)

Обдуманная и плавная речь Кинкеля, правильная и избегающая крайностей шла какой-то назидательной беседой; он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием - самого себя.

Он был профессором в Сомерсет-Гаузе и в нескольких высших заведениях, читал публичные лекции об эстетике в Лондоне и Манчестере - этого ему не могли простить голодно- и праздношатающиеся в Лондоне освободители тридцати четырех немецких отечеств. Кинкель был постоянно обругиваем в американских газетах, сделавшихся главным стоком немецких сплетен, и на тощих митингах, ежегодно даваемых в память Роберта Блума, первого баденского *Schilderhebunga*, первого австрийского *Schwert-fahrt*176 и проч. Ругали его все его соотечественники, не имевшие никогда уроков, всегда просящие денег взаймы, никогда не отдающие занятого и постоянно готовые выдать человека за шпиона и вора - в случае отказа. Кинкель не отвечал... Писаки лаяли, лаяли и стали, по-крыловски, отставать; только еще изредка какая-нибудь нечесаная и шершавая шавка выбежит из нижнего этажа германской демократии куда-нибудь в фельетон никем не читаемого журнала - и залетится злейшим лаем, который так и напомянит счастливые времена братских восстаний в разных Тюбингенах, Дармштадтах и Брауншвейг-Волфенбюттелях.

В доме Кинкеля, на его лекциях, в его разговоре все было хорошо и умно но недоставало какого-то масла в колесах, и оттого все вертелось туго, без скрипа – но тяжело. Он говорил всегда интересные вещи; жена его, известная пьянистка, играла прекрасные вещи – а скука была смертная. Одни дети, прыгая, вносили какой-то больше светлый элемент; их светленькие глазенки и звонкие голоса обещали меньше достоинства, но... больше масла в колеса.

"Ich bin ein Mensch der Möglichkeit"177, – говорил мне Кинкель не раз, чтоб характеризовать свое положение между крайними партиями; он думает, что он возможен как будущий министр в будущей Германии – я не думаю этого, зато Иоганна, его супруга, не сомневается. (140)

Кстати, слово об их отношениях. Кинкель постоянно хранил достоинство, она постоянно удивлялась ему. Между собой они об самых будничных вещах говорят слогом благодетельных комедий (светский *haute comedie*178 в Германии!) и нравственных романов.

– Beste Johanna, – говорит он звучно и не торопясь, – du bist, mein Engel, so gut – schenkemirnoch eine Tasse von dem vortrefflichen Thee, den du so gut machst ein!

– Es ist zu himmlisch, liebster Gottfried, dass er dir geschmeckt hat. Tuhe, mein bester, fur mich – einige Tropfen Schmand hinein!179

И он каплет сливки – глядя на нее с умилением – и она глядит на него с благодарностью.

Johanna ожесточенно преследовала своего мужа непрерывными, неумолимыми попечениями о нем, давала ему револьвер во время тумана в .каком-то особом поясе, умоляла беречь себя от ветра, от злых людей, от вредных кушаний и *in petto* от женских глаз – вреднее всех ветров и *pate de foie gras*180... Словом, она отравляла его жизнь острой ревностью и неумолимой, вечно возбужденной любовью. В замену – она поддерживала его в мысли, что он гений, по крайней мере не хуже Лессинга, что Германии в нем готовится будущий Штейн; Кинкель знал, что это правда, и кротко останавливал Иоганну при посторонних, когда похвалы хватили слишком через край.

– Иоганна – слышали ли вы об Гейне? – спрашивает ее раз расстроено взбежавшая Шарлотта.

– Нет, – отвечает Иоганна.

– Умер... вчера в ночь...

– В самом деле?

– Zu wahr!181

– Ах, как я рада – я все боялась, что он напишет какую-нибудь едкую эпиграмму на Готфрида – у него был такой ядовитый язык. Вы меня так удивили, (141) прибавила она, спохватившись, – какая потеря для Германии!182.

.....

...

...отвращения, является горькое чувство зависти.

Источник этих ненавистей долею лежит в сознании политической второстепенности германского отечества и в притязании играть первую роль. Смешно национальное фанфаронство и у французов, но все же они могут сказать, что "некоторым образом за человечество кровь проливали"... в то время как ученые германцы проливали одни чернила. Притязание на –какое-то огромное национальное значение, идущее рядом с доктринерским космополитизмом, тем смешнее, что оно не предъявляет другого права – кроме неуверенности в уважении других, в желании *sich geltend machen*183.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
– За что нас поляки не любят? – говорил серьезно в обществе гелертеров один немец.

Тут случился журналист, умный человек, давно поселившийся в Англии.

– Ну, это еще не так мудрено понять, – отвечал он, – вы лучше скажите, кто нас любит? или за что нас все ненавидят?

– Как все ненавидят? – спросил удивленный профессор.

– По крайней мере все пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русские, славяне...

– Позвольте, Herr Doctor, есть же исключения, – возразил обеспокоенный и несколько сконфуженный гелертер.

– Без малейшего сомнения – и какое исключение:

Франция и Англия.

Ученый начал расцветать.

– И знаете отчего? – Франция нас не боится, а Англия презирает...

Положение немца действительно печальное – но печаль его не интересна. Все знают, что они справиться могут – с внутренним и внешним врагом, – но не умеют. Отчего, например, единоплеменные ей народы, (142) Англия, Голландия, Швеция, свободны, а немцы нет. Неспособность тоже обязывает – как дворянство кой к чему и всего больше к скромности. Немцы чувствуют это и прибегают к отчаянным средствам, чтоб иметь верх, выдают Англию и Северо-Американские Штаты за представителей германизма в сфере государственной Praxis<sup>184</sup>. Руге, разгневавшись на Эдгара Бауэра за его пустую брошюру о России – кажется, под заглавием "Kirche und Staat"<sup>185</sup> – и подозревая, что я Э. Бауэра ввел в искушение, писал мне (а потом то же самое напечатал в "Жероейоком альманахе"), что Россия один грубый материал, дикий и неустроенный, которого сила, слава и красота только оттого и происходят, что германский гений ей придал свой образ и подобие.

Каждый русский, являющийся на сцену, встречает то озлобленное удивление немцев, которое не так давно находили от них же наши ученые, желавшие сделаться профессорами русских университетов и русской академии. Выписным "коллегам" казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватом чужого места.

Маркс, очень хорошо знавший Бакунина, который чуть не сложил свою голову за немцев под топором саксонского палача, выдал его за русского шпиона. Он рассказал в своей газете целую историю, как Ж. Санд слышала от Ледрю-Роллена, что, когда он был министром внутренних дел, видел какую-то его компрометирующую переписку. Бакунин тогда сидел, ожидая приговора в тюрьме, и ничего не подозревал. Клевета толкала его на эшафот и порывала последнее общение любви между мучеником и сочувствующей в тиши массой. Друг Бакунина А. Рейхель написал в Nohant к Ж. Санд и спросил ее, в чем дело. Она тотчас отвечала Рейхелю и прислала письмо в редакцию Марксова журнала, отзываясь с величайшей дружбой о Бакунине, она прибавляла, что вообще никогда не говорила с Ледрю-Ролленом о Бакунине, в силу чего не могла повторить и сказанного в газете. Маркс нашелся ловко – и поместил письмо Ж. Санд с примечанием, что статья о Бакунине была помещена "во время его отсутствия". (143)

Финал совершенно немецкий – он невозможен не только во Франции, где point d'honneur так щепетивен и где издатель зарыл бы всю нечистоту дела под кучей фраз, слов, околичностей, нравственных сентенций, покрыл бы ее отчаянием qu'on avait surpris sa religion<sup>186</sup> – но даже английский издатель, несравненно менее церемонный, не смел бы свалить дела на сотрудников<sup>187</sup>.

Через год после моего приезда в Лондон Маркоова партия еще раз возвратилась на гнусную клевету против Бакунина, тогда погребенного в Алексеевском равелине.

В Англия, в этом стародавнем отечестве поврежденных – одно из самых оригинальных мест между ними занимает Давид Уркуард, человек с талантом и энергией.

Эксцентрический радикал из консерватизма, он помешался на двух идеях: во-первых,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru что Турция превосходная страна, имеющая большую будущность (144) в силу чего он завел себе турецкую кухню, турецкую баню, турецкие диваны... во-вторых - что русская дипломатия, самая хитрая и ловкая во всей Европе, подкупает и надует всех государственных людей, во всех государствах мира сего и преимущественно в Англии. Уркуард работал годы, чтоб отыскать доказательства того, что Палмерстон - на откупу петербургского кабинета. Он об этом печатал статьи и брошюры, делал предложения в парламенте, проповедовал на митингах. Сначала на него сердились, отвечали ему, бранили его, потом привыкли, обвиняемые и слушавшие стали улыбаться, не обращали внимания... наконец разразились общим хохотом.

На одном митинге - в одном из больших центров Уркуард до того увлекся своей idee fixe, что, представляя Кошута человеком неверным, он прибавил, что если Кошут и не подкуплен Россией - то находится под влиянием человека, явным образом работающего в пользу России... и этот человек - Маццини!

Уркуард, как дантовская Франческа, не продолжал больше своего чтения в этот день. При имени Маццини поднялся такой гомерический смех, что сам Давид заметил, что итальянского Голиафа он не сбил своей пращой, а себе свихнул руку.

Человек, думавший и открыто говоривший, что от Гизо и Дерби до Эспартеро, Кобдена и Маццини - всё русские агенты - был клад для шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших - неузнанного гения первой величины - Маркса. Они из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какую-то Hochschule<sup>188</sup> клеветы и заподозрения всех людей, выступавших на сцену с большим успехом, чем они сами. Им не доставало честного имени. Уркуард его дал.

Д. Уркуард имел тогда большое влияние на "Morning Advertiser" - один из журналов, самым странным образом поставленных. Журнала этого нет ни в клубах, ни у больших стешинеров<sup>189</sup>, ни на столе у порядочных людей - а он имеет большую циркуляцию, чем "Daily News", и только в последнее время дешевые листы вроде (145) "Daily Telegraph", "Morning and Evening Star" - отодвинули "M. Advertiser" на второй план. Явление чисто английское, "M. Advertisers" - журнал питейных домов, и нет кабака, в котором бы его не было.

С Уркуардом и публикой питейных домов взошли в "Morning Advertiser" марксиды и их друзья - "Где пиво, там и немцы".

Одним добрым утром "Morning Advertiser" вдруг поднял вопрос: "Был ли Бакунин русский агент, или нет?" - Само собою разумеется, отвечал на него положительно. Поступок этот был до того гнусен, что возмутил даже таких людей, которые не принимали особенного участия в Бакунине.

Оставить это дело так было невозможно. Как ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацию с Головиным (об этом субъекте будет особая глава) - но выбора не было. Я пригласил Ворцеля и Маццини присоединиться к нашему протесту - они тотчас согласились. Казалось бы, что после свидетельства председателя польской демократической Централизации и такого человека, как Маццини, все кончено. Но немцы не остановились на этом. Они затянули скучнейшую полемику с Головиным, который, с своей стороны, поддерживал ее для того, чтоб занимать публику лондонских кабаков.

Мой протест, то, что я писал к Маццини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнев Маркса. Вообще это было время, в которое немцы спохватились и стали меня окружать такой же грубой неприязней, как окружали прежде грубым ухаживанием. Они уже не писали мне панегириков, как во время выхода "V. andern Ufer" и "Писем из Италии", а отзывались обо мне, "как о дерзком варваре, осмеливающимся смотреть на Германию сверху вниз"<sup>190</sup>. Один из марксовских гезеллей<sup>191</sup> написал целую книжку против меня и отослал Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда он напечатал (что (146) я узнал гораздо позже) ту статейку в "Лидере", о которой шла речь. Имя его я не припомню.

К марксидам присоединился вскоре рыцарь с опущенным забралом. Карл Блинд тогда famulus<sup>192</sup> Маркса, теперь его враг. (В его корреспонденции в нью-йоркские журналы было сказано - по поводу обеда, который давал нам американский консул в Лондоне: "На этом обеде был русский, именно А. Г., выдающий себя за социалиста и республиканца. Г. живет в близких отношениях с Маццини, Кошутом и Саффи... Со стороны людей, стоящих во главе движения, чрезвычайно неосторожно, что они допускают русского в свою близость. Желаем, чтоб им не пришлось слишком поздно



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
рассказать в этом".

Сам ли Блинд это писал, или кто из его помощников, я не знаю – текста у меня перед глазами нет, но за смысл я отвечаю.

При этом надобно заметить, что как со стороны К. Блинда, так и со стороны Маркса, которого я совсем не знал, вся эта ненависть была чисто платоническая, так сказать, безличная – меня приносили в жертву фатерланду – из патриотизма. В американском обеде, между прочим, их бесило отсутствие немца – за это они наказали русского<sup>193</sup>.

Обед этот, наделавший много шума по ту и другую сторону Атлантики, случился таким образом. Президент Пирс будировал старые европейские правительства и делал всякие школьничества. Долею для того, чтоб приобрести больше популярности дома, долею, чтоб отвести глаза всех радикальных партий в Европе от главного алмаза, на котором ходила вся его политика, – от незаметного упрочения и распространения невольничества.

Это было время посольства Суле в Испанию и сына (147) Р. Оуэна в Неаполь, вскоре после дуэли Суле с Тюрго и его настоятельного требования проехать вопреки приказа Наполеона, через фракцию в Брюссель, в котором император французов отказать не решился. "Мы посылаем послов, – говорили американцы, не к царям, а к народам". Отсюда идея дать дипломатический обед врагам всех существующих правительств.

Я не имел понятия о готовящемся обеде. Получаю вдруг приглашение от Соундерса, американского консула, – в приглашении лежала небольшая записочка о г Маццини, он просил меня, чтоб я не отказывался, что обед этот делается с целью кой-кого подразнить и показать симпатию кой-кому другому.

На обеде были – Маццини, Кошут, Ледрю-Роллен, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульский и я, из англичан – один радикальный член парламента, Жозуа Вомслей, потом посол Бюханан и все посольские чиновники.

Надобно заметить, что одна из целей красного обеда, данного защитником черного рабства, состояла в сближении Кошута с Ледрю-Ролленом. Дело было не в том, чтоб их примирить, – они никогда не ссорились, – а чтоб их официально познакомиться. Их незнакомство случилось так. Ледрю-Роллен был уже в Лондоне, когда Кошут приехал из Турции. Возник вопрос, кому первому ехать с визитом: Ледрю-Роллену к Кошуту или Кошуту к Ледрю-Роллену, вопрос этот сильно занимал их друзей, сподвижников, их двор, гвардию и чернь. – Pro и contra<sup>194</sup> были значительные. Один был диктатор Венгрии – другой не был диктатор, но зато француз. Один был почетный гость Англии, лев первой величины, на вершине своей садящейся славы – другой был в Англии как дома, а визиты делают вновь приезжающими... Словом, вопрос этот, как квадратура круга, *perpetuum mobile* был найден обоими дворами неразрешимым... а потому и решили тем, чтоб не ездить ни тому, ни другому, предоставляя дело встречи воле божией и случаю... Года три или четыре Ледрю-Роллен и Кошут, живши в одном городе, имея общих друзей, общие интересы и одно дело, должны были игнорировать друг друга, а (148) случая никакого не было. – Маццини решился помочь судьбе.

Перед обедом, после того как Бюханан уже пережал нам всем руки, – изъявляя каждому свое полное удовольствие, что познакомился лично, – Маццини взял Ледрю-Роллена под руку, и в то же самое время Бюханан сделал такой же маневр с Кошутом – и, кротко подвигая виновников, привели их почти к столкновению и назвали их друг другу – новые знакомые не остались в долгу и осыпали друг друга комплиментами – с восточным, цветистым оттенком со стороны великого мадьяра и с сильным колоритом речей Конвента со стороны великого галла...

Я стоял во время всей этой сцены у окна с Орсини... взглянув на него, я был до смерти рад, видя легкую улыбку – больше в его глазах, чем на губах.

– Послушайте, – сказал я ему, – какой мне вздор пришел в голову, в 1847 году я видел в Париже, в Историческом театре, какую-то глупейшую военную пьесу, в которой главную роль играли дым и стрельба, а вторую – лошади, пушки и барабаны. В одном из действий полководцы обеих армий выходят для переговоров с противуположных сторон сцены – храбро идут против друг друга – и, подойдя, один снимает шляпу и говорит:

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Souvaroff - Massena! На что другой ему отвечает, тоже без шляпы:

- Massena - Souvaroff!

- Я сам едва удержался от смеха, - сказал мне Орсини с совершенно серьезным лицом.

Хитрый старик Бюханан, мечтавший тогда уже, несмотря на семидесятилетний возраст, о президентстве и потому говоривший постоянно о счастье покоя, об идиллической жизни и о своей дряхлости, - любезничал с нами так, как любезничал в Зимнем дворце с Орловым и Бенкендорфом, когда был послом при Николае. С Ношуттом и Маццини он был прежде знаком - другим он говорил очень хорошо отделанные комплименты, напоминавшие гораздо больше тертого дипломата, чем сурового гражданина демократической республики. Мне он ничего "е сказал, кроме того, что он долго был в России и вывез убеждение, что она имеет великую будущность. Я ему на это, разумеется, ничего не сказал, а заметил, что помню его еще со времен коронации Николая. "Я был (149) мальчиком, но вы были так заметны - в вашем простом черном фраке и в круглой шляпе - в толпе шитой, золоченой, ливрейной знати"195.

Гарибальди он заметил: "У вас такая же слава в Америке, как в Европе, только что в Америке еще прдбавляется новый титул. Там вас знают - там вас знают за отличного моряка..."

За десертом, когда m-me Saunders уже вышла и нам подали сигары с еще большим количеством вина, Бюханан, сидевший против Ледрю-Роллена, сказал ему, что "у него был знакомый в Нью-Йорке, говоривший, что он готов бы был съездить из Америки во Францию - только для того, чтоб познакомиться с ним".

По несчастью, Бюханан как-то шамшил, а Ледрю-Роллен плохо понимал по-английски. В силу чего вышло презабавное *qui pro quo*196 - Ледрю-Роллен думал, что Бюханан говорит это от себя, и с французским *effusion de reconnaissance*197 стал его благодарить и протянул ему, через стол свою огромную руку. Бюханан принял благодарность и руку и с тем невозмущаемым спокойствием в трудных обстоятельствах, с которыми англичане и американцы тонут с кораблем или теряют полсостояния, заметил ему: "I think - it is a mistake198 - это не я так думал, это один из моих хороших приятелей в New-Yorke".

Праздник кончился тем, что вечером поздно, когда Бюханан уехал, а вслед за ним не счел более возможным остаться и Кошут и отправился с своим министром без портфеля, - консул стал умолять нас снова сойти в столовую, где он хотел сам пригостить какой-то американский пунш из старого кентуккийского виски. К тому же Соундерсу там хотелось вознаградить себя за отсутствие сильных тостов - за будущую всемирную (белую) республику и т. д., которых, должно быть, осторожный Бюханан не допускал. За обедом пили тосты - двух-трех гостей и его... без речей. (150)

Пока он жег какой-то алкоголь и приправлял его всякой всячиной, он предложил хором отслужить "Марсельезу". Оказалось, что музыку ее порядком знал один Ворцель - зато у него было *extinction*199 голоса, да кой-как Маццини, - I; пришлось звать американку Соундерс, которая сыграла "Марсельезу" на гитаре.

Между тем ее супруг, окончив свою стряпню, попробовал, остался доволен и разлил нам в большие чайные чашки. Не опасаясь ничего, я сильно хлебнул - ив первую минуту не мог перевести духа. Когда я пришел в себя и увидел, что Ледрю-Роллен собирался также усердно хлебнуть, я остановил его словами:

- Если вам дорога жизнь, то вы осторожнее обращайтесь с кентуккийским прохладительным; я - русский, да и то опалил себе небо, горло и весь пищеприемный канал, - что же будет с вами. Должно быть, у них в Кентукки пунш делается из красного перца, настоящего на купоросном масле.

Американец радовался, иронически улыбаясь слабости европейцев. Подражатель Митридата с молодых лет - я один подал пустую чашку и попросил еще. Это химическое сродство с алкоголем ужасно подняло меня в глазах консула. "Да, да, - говорил он, - только в Америке и в России люди и умеют пить".

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
"Да есть и еще больше лестное сходство, - подумал я, - только в Америке и в России умеют крепостных засекают до смерти".

Пуншем в 70° окончился этот обед, испортивший больше крови немецким фолликуляриям<sup>200</sup>, чем желудок обедавшим.

За трансатлантическим обедом следовала попытка международного комитета последнее усилие чартистов и изгнанников соединенными силами заявить свою жизнь и свой союз. Мысль этого комитета принадлежала Эрнсту Джонсу. Он хотел оживить дряхлевший не по летам чартизм, сблизив английских работников с французскими социалистами. Общественным актом этой entente cordiale<sup>201</sup> назначен был митинг - в воспоминание 24 февраля 1848. (151)

Международный комитет избрал между десятком других и меня своим членом, прося меня сказать речь о России, я поблагодарил их письмом, речи говорить не хотел, - тем бы и заключил, если б Маркс и Головин не вынудили меня явиться назло им на трибуну St.-Mar-tins Hall.

Сначала Джонс получил письмо от какого-то немца, протестовавшего против моего избрания. Он писал, что я известный панславист, что я писал о необходимости завоевания Вены, которую назвал славянской столицей, что я проповедую русское крепостное состояние - как идеал для земледельческого населения. Во всем этом он ссылался на мои письма к Линтону ("La Russie le vieux monde"). Джонс бросил без внимания патристическую клевету.

Но это письмо было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор, несовместным с целью комитета, и предлагал выбор уничтожить. Джонс заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желания быть членом, и сообщивши ему официально избрание, не может изменить решения по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения, и он их предложит теперь же на обсуждение комитета.

На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский, и притом русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию, - что, наконец, если комитет не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти.

Эрнст Джонс, французы, поляки, итальянцы, человека два-три немцев и англичане вотировали за меня. Маркс остался в страшном меньшинстве. Он встал и с своими присными оставил комитет и не возвращался более.

Побитые в комитете, марксисты отретировались в свою твердыню - в "Morning Advertiser". Герст и Блакет издали английский перевод одного тома "Былого и дум", включив в него "Тюрьму и ссылку". Чтоб товар продать лицом, они, не обинуясь, поставили: "My exile (152) in Siberia"<sup>202</sup> на заглавном листе. "Express" первый заметил это фанфаронство. Я написал к издателю письмо и другое - в "Express". Герст и Блакет объявили, что заглавие было сделано ими, что в оригинале его нет, но что Гофман и Кампе поставили в немецком переводе тоже в "Сибирь". - "Express" все это напечатал. Казалось, дело было кончено. Но "Morning Advertiser" начал меня шпиговать в неделю раза два-три. Он говорил, что я слово "Сибирь" употребил для лучшего сбыта книги, что я протестовал через пять дней после выхода книги, то есть давши время сбыть издание. Я отвечал; они сделали рубрику: "Case of M. H."<sup>203</sup>, как помещают дополнения к убийствам или уголовным процессам... Адвертейзеровские немцы не только сомневались в Сибири, приписанной книгопродавцем, но и в самой ссылке. "В Вятке и Новгороде г. Г. был на императорской службе, - где же и когда он был в ссылке?"

Наконец, интерес иссяк... и "Morning Advertiser" забыл меня.

Прошло четыре года. Началась итальянская война - красный Маркс избрал самый черно-желтый журнал в Германии, "Аугсбургскую газету", и в ней стал выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона, Кошута, С. Телеки, Пульского и проч. - как продавшихся Бонапарту. Вслед за тем он напечатал: "Г., по самым верным источникам, получает большие деньги от Наполеона. Его близкие сношения с Palais-Royal были и прежде не тайной..."

Я не отвечал, он зато был почти обрадован, когда тощий лондонский журнал

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru "Herrman" поместил статейку, в которой говорится, - несмотря на то что я десять раз отвечал, что я этого никогда не писал, - что я "рекомендую России завоевать Вену и считаю ее столицей славянского мира".

Мы сидели за обедом - человек десять; кто-то рассказывал из газет о злодействах, сделанных Урбаном с своими пандурами возле Кома. Кавур обнаружил их. Что касается до Урбана, в нем сомневаться было грешно. Кондотьер, без роду и племени, он родился где-то на - биваках и вырос в каких-то казармах; fille du regiment (153) мужского пола и по всему, par droit de conquete et par, droit de naissance204 свирепый солдат, пандур и прабитель.

Дело было как-то около Маженты и Солферино. Немецкий патриотизм был тогда в периоде злейшей ярости; классическая любовь к Италии, патриотическая ненависть к Австрии - все исчезло перед патосом национальной гордости, хотевшей во что б ни стало удержать чужой "квадрилатер"205. Баварцы собирались идти - несмотря на то что их никто не посылал, никто не звал. никто не пускал... гремя ржавыми саблями бефрейюнгс-крига206 - они запаивали пивом и засыпали цветами всяких кроатов и далматов, шедших бить итальянцев за Австрию и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанник Бухер и какой-то, должно быть, побочный потомок Барбароссы Родбартус - протестовали против всякого притязания иностранцев (то есть итальянцев) на Венецию...

При этих неблагоприятных обстоятельствах и был между супом и рыбой поднят несчастный вопрос об злодействах Урбана.

- Ну, а если это неправда? - заметил, несколько побледневши, D-г Мюллер-Стрюбинг из Мекленбурга по телесному и Берлина - по духовному рождению.

- Однако ж нота Кавура...

- Ничего не доказывает.

- В таком случае, - заметил я, - может, под Мажентой австрийцы разбила наголову французов - ведь никто из нас не был там.

- Это другое дело... там тысячи свидетелей, а тут какие-то итальянские мужики.

- Да что за охота защищать австрийских генералов... Разве мы и их и прусских генералов, офицеров не знаем по 1848 году? Эти проклятые юнкеры, с дерзким лицом и надменным видом...

- Господа, - заметил Мюллер, - прусских офицеров не следует оскорблять и ставить наряду с австрийскими.

- Таких тонкостей мы не знаем; все они несносны, противны, мне кажется, что все они, да и вдобавок наши лейб-гвардейцы, - такие же... (154)

- Кто обижает прусских офицеров, обижает прусский народ, они с ним неразрывны, - и Мюллер, совсем бледный, отставил в первый раз отроду дрожащей рукой стакан налитого пива.

- Наш; друг Мюллер - величайший патриот Германии, - сказал я, все еще полушутя, - он на алтарь отечества приносит больше, чем жизнь, больше, чем обожженную руку: он жертвует здравым смыслом.

- И нога его не будет в доме, где обижают германский народ, - с этими словами мой .доктор философии встал, бросил на стол салфетку - как материальный знак разрыва - и мрачно вышел... С тех пор мы не виделись.

А ведь мы с ним пили на "du"207 у Стеели, Gendarmen platz, в Берлине, в 1847 году, и он был самый лучший и самый счастливый немецкий Bummler208 из всех виденных мною. Не въезжая в Россию, он как-то всю жизнь прожил с русскими, - и биография его не лишена для нас интереса.

Как вое немцы, не работающие руками, Мюллер учился древним языкам очень долго и подробно, знал их очень хорошо и много, - его образование было до того упорно классическое, - что не имел времени никогда заглянуть ни в какую книгу об естествоведении, хотя естественные науки уважал, зная, что Гумбольдт ими

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru занимался всю жизнь. Мюллер, как все филологи, умер бы от стыда, если б он не знал какую-нибудь книжонку – средневековую или классическую дрянь, и, не обинуясь, признавался, например, в совершенном неведении физики, химии и проч. Страстный музыкант – без Anschlaga<sup>209</sup> и голоса, и платонический эстетик, не умевший карандаша в руки взять и изучавший картины и статуи в Берлине, Мюллер начал свою карьеру глубокомысленными статьями об игре талантливых, но все неизвестных берлинских актеров в "Шпенеровой газете" и был страстным любителем спектакля. Театр, впрочем, не мешал ему любить вообще все зрелища, от зверинцев с пожилыми львами и умывающимися белыми медведями и фокусников до панорам, косморам, акробатов, телят с двумя головами, восковых фигур, ученых собак и проч. (155)

В жизнь мою я не видывал такого деятельного лентяя, такого вечно занятого – празднующегося. Утомленный, в поту, в пыли, измятый, затасканный, приходил он в одиннадцатом часу вечера и бросался на диван, вы думаете, у себя в комнате? Совсем нет, в учено-литературной биркнейпе<sup>210</sup> у Стеели, и принимался за пиво.. выпивал он его нечеловеческое количество – беспрестанно стучал крышкой кружки, – и Jungfer<sup>211</sup> уже знала без слов и просьбы, что следует нести другую. Здесь, окруженный отставными актерами и еще не принятыми в литературу писателями, проповедовал Мюллер часы о Каулбахе и Корнелиусе, о том, как пел в этот вечер Лабочета (!) в Королевской опере, о том, как мысль губит стихотворение и портит картину, убивая ее непосредственность, и вдруг вскакивал, вспомнив, что он должен завтра в восемь часов утра бежать к Пассаланье в египетский музей смотреть новую мумию – и это непременно в восемь часов, потому что в половину десятого один приятель обещал ему сводить его в конюшню английского посланника показать, как англичане отлично содержат лошадей. Схваченный таким воспоминанием, Мюллер, извиняясь, наскоро выпивал кружку, забывая то очки, то платок, то крошечную табакерку. бежал в какой-то переулок на Шпре, подымался в четвертый этаж и торопился выпасться, чтоб не заставить дожидаться мумию, три-четыре тысячи лет покоившуюся, не нуждаясь ни в Пассаланье, ни в D-r Мюллере.

Без гроша денег и тратя последние на cerealia и circenses<sup>212</sup>, Мюллер жил на антониевой пище, храня внутри сердца непреодолимую любовь к кухонным редкостям и столовым лакомствам. Зато, когда фортуна ему улыбалась и его несчастная любовь могла перейти в реальную, он торжественно доказывал, что он не только уважал категорию качества, но столько же отдавал справедливость категории количества.

Судьба, редко балующая немцев, – особенно идущих по филологической части, – сильно баловала Мюллера. Он случайно попал в пассатное русское общество – и притом молодых и образованных русских. Оно завертело его – закармило, запоило. Это было лучшее, поэти(156)ческое время его жизни, Genussjahre!<sup>213</sup> Лица менялись – пир продолжался, бессменным был один Мюллер. Кого и кого с 1840 года не водил он по музеям, кому не. объяснял Каулбаха, кого не водил в университет? Тогда была эпоха поклонения Германии в пущем разгаре – русский останавливался с почтением в Берлине и, тронутый, что попирает философскую землю, – которую Гегель попирает, – поминал его и учеников его с Мюллером языческими возлияниями и страсбургскими пирогами.

Эти события могли расстроить все мирозерцание какого угодно немца. Немец не может одним синтезисом объять страсбургские пироги и шампанское с изучением Гегеля, идущим даже до брошюр Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шаллера, Розенкранца и всех в жизни усопших знаменитостей сороковых годов. У них все еще если страсбургский пирог – то банкир, если Champagner – то юнкер.

Мюллер, довольный, что нашел такое вкусное сочетание науки с жизнью, сбился с ног – покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь в почтовую карету (или потом в вагон), чтоб ехать в Париж, перебрасывала его, как ракету волана, к русской семье, подъезжавшей из Кенигсберга или Штеттина. С провод он торопился на встречу, и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладким пивом нового знакомства. Виргилий философского чистилища, он вводил северных неопитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens<sup>214</sup>, Чистые душою соотечественники наши оставляли с увлечением прибранные комнаты и порядочное вино отелей, чтоб бежать с Мюллером в душную полпивную. Они все были вне себя от буршикозной жизни, и скверный табачный дым Германии – им сладок и приятен был.

В 1847 году и я делил эти увлечения – и мне казалось, что я как-то выше

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru становлюсь в общественном значении, оттого что по вечерам встречал в полпивной Ауэрбаха – читавшего карикатурно Шиллерову "Burgschaf" и рассказывавшего смешные анекдоты вроде того, как русский генерал покупал для двора какие-то картины (157) в Дюссельдорфе. Генерал был не совсем доволен величиной картины и думал, что живописец хочет его обмерить. "Гут, – говорит он, – aber клейя. Кейзер liebt gros. se Bilder, кейзер sehr klug; Gott kluger. aber кейзер noch jung" 215 и т. п. Сверх Ауэрбаха там бывали два-три берлинских (что было в этом звуке для русского уха сороковых годов!) профессора, один из них в каком-то сертуке на военный манер, и какой-то спившийся актер, который был недоволен современным сценическим искусством и считал себя неузнанным гением. Этого не оцененного Талму заставляли всякий вечер петь куплеты "о покушении физэски на Людвиг-Филиппа" и немного потише о выстреле Чеха в прусского короля.

Hatte keiner je so Pech;

Wie der Burgermeister Tschsch,

Denn er schoss der Landesmutter,

Durch den Rock ins Unterfutter 216.

Вот она, свободная-то Европа!.. вот они, Афины на Шпре! И как мне было жаль друзей на Тверском бульваре и на Невском проспекте.

Зачем износились все эти чувства непочатости, северной свежести и неведения, удивленья, поклоненья?.. Все это оптический обман, – что же за беда... Разве мы в театр ходим не из-за оптического обмана, только тут мы сами в заговоре с обманщиком, – а там обман если и есть, то нет обманщика. Потом всякий увидит свои ошибки... улыбнется, немного посовеетится, солжет, что этого никогда не было... а веселые-то минуты были-таки.

Зачем видеть сразу всю подноготную – мне просто хотелось бы воротиться к прежним декорациям и взглянуть на них с лицевой стороны... "Луиза... обмани меня, солги, Луиза!"

Но Луиза (тоже Мюллер), отворачиваясь от старика. говорит, надувши губки: "Ach, um Himmelsnaden, las-sen Sie doch ihre Torheiten und gehen Sie mit ihren Weg!"... 217 и бреди себе по мостовой из бульжника, в пы(158)ли, шуме, треске, в безотрадных, ненужных, мелькающих встречах – ничем не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь к выходу – зачем? Затем, что его миновать нельзя.

Возвращаясь к Мюллеру, я должен сказать, что не все же он жил бабочкой, перелетая от Кронгартена – Под-Липы. Нет, и его молодость имела свою героическую главу, он высидел целых пять лет в тюрьме – и никогда порядком не знал, за что – так же как и философское правительство, которое его засадило; тогда преследовали отголоски гамбахского праздника, студентских речей, брудершафтоких тостов, буршентумоких идей и гугендбундских воспоминаний. Вероятно, и Мюллер что-нибудь вспомнил, – его и посадили. Конечно, во всех Пруссиях с Вестфалией и Рейнскими провинциями не было субъекта меньше опасного для правительства, как Мюллер. Мюллер родился зрителем, шафером, публикой. Во время берлинской революции 1848 – он отнесся к ней точно так же – он бегал с улицы на улицу, подвергаясь то пуле, то аресту, для того чтоб посмотреть, что там делается и что тут.

После революции отеческое управление короля-богослова и философа стало тяжело, и Мюллер, походивши еще с полгода к Стеели и Пассаланье, начал скучать. Звезда его стояла высоко – спасенье было возле. Полина Гарсия-Виардо пригласила его к себе .в Париж. Она была так покрыта нашими подснежными венками, так окружена северной любовью нашей, что сама состояла на правах русской и имела, стало быть, в свою очередь неотъемлемое право на чичеронство Мюллера в Берлине.

Виардо звала его погостить у них. Быть в доме у умной, блестящей, образованной Виардо значило разом перешагнуть пропасть, которая делит всякого туриста от парижского и лондонского общества, всякого немца без особенных примет – от французов. Быть у нее в доме значило быть в кругу артистов и либералов маррастовского цвета, литераторов, Ж. Санд и проч. Кто не позавидовал бы Мюллеру и его дебютам в Париже.

На другой день после своего приезда он прибежал ко мне, совершенно запаленный от

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru устали и суеты, и, не имея времени сказать двух слов, выпил бутылку вина, разбил стакан, взяв мою трубочку и побежал в театр. В театре он трубочку потерял и, проведя целую (159) ночь по разным полицейским домам, явился ко мне с повинной головой. Я отпустил ему грех бинокля – за удовольствие, которое" мне он доставлял своим медовым месяцем в Париже. Тут только он показал всю ширь своих способностей, он вырос ненасытностью всего на свете – картин, дворцов, звуков, видов, потрясений, еды и питья. Проглотив три-четыре дюжины устриц, он принимался за три других, потом за омара, потом за целый обед, окончив бутылку шампанского, он наливал с таким же наслаждением стакан пива, сходя с лестницы Вандомской колонны, он шел на купол Пантеона, и там и тут удивляясь громким и наивным удивлением немца – этого провинциала по натуре. Между волком и собакой<sup>218</sup> забегал он ко мне – выпивал галон пива, ел что попало, и когда волк брал верх над собакой – Мюллер уж сидел в райке какого-нибудь театра, заливаясь громким гутуральным<sup>219</sup> хохотом и потом, струившимся со всего лица его.

Не успел еще Мюллер досмотреть Париж и догадаться, что он становится невыносимо противен – как Ж. Санд его увезла к себе в Nohant. Для элегантной Виардо Мюллер a la longue<sup>220</sup> был слишком грузен; с ним случались в ее гостиной разные несчастья – раз как-то он с неосторожной скоростью уничтожил целую корзиночку каких-то особенных чудес, приготовленных к чаю для десяти человек так что когда Виардо их предложила – в корзинке были одни крошки, и не в одной корзинке, а и на усах Мюллера<sup>221</sup>.

Виардо передала его Ж. Санд. Ж. Санд, наскучив Парижем, ехала на покойное помещичье житье... Ж. Санд сделала с Мюллером чудеса, она как-то вычистила, прибрала, привела его в порядок – исчез темный табак, покрывавший верхнюю часть его белокурых усов, и доля немецких кнейповых песен заменилась французскими, вроде: "Pricadier, repontit Pantore"<sup>222</sup>. Мюллер (160) вставил в Nohant двойную рамку лорнета в глаз и помолодел. Когда он приехал в Париж в отпуск, я его едва узнал.

Зачем он не утонул, купаясь в Nohant? Зачем не зашибла его где-нибудь железная дорога? Жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамере с буфетами, плошками и музыкой.

После 13 июня 1849 я уехал из Парижа; геройство Мюллера, кричавшего "Auarms!"<sup>223</sup> на Chaussee d'Antin, я рассказал в другом месте. Возвратившись в 1850 году в Париж, я Мюллера не видел, он был у Ж. Санд – меня выслали из Франции. Года через два я был в Лондоне и шел по Трафальгарской площади. Какой-то господин пристально смотрел в вставленный лорнет на Нельсона, досмотревши его с лицевой стороны, он занялся правой.

"Да, это он? Кажется, он".

Между тем господин занялся спиной адмирала.

– Мюллер! – закричал я ему, он не тотчас пришел в себя: так его заняла плохая статуя скверного человека – но потом с криком "Potz Tausend!"<sup>224</sup> бросился ко мне. Он переехал на житье в Лондон, счастливая звезда его померкла. Да и трудно сказать, зачем он приехал именно в Лондон. Буммлеру<sup>225</sup>, когда у него есть деньги, – нельзя не побывать в Лондоне, в нем будет пробел, раскаяние, неудовлетворенное желание, но жить в Лондоне ему нельзя и с деньгами, – а без денег и думать нечего.

В Лондоне надобно работать в самом деле, работать безостановочно, как локомотив, правильно, как машина, если человек отошел на день, на его месте стоят двое других, если человек занемог – его считают мертвым – все, от кого ему надобно получать работу, и здоровым – все, кому надобно получать от него деньги.

Мюллер, Мюллер... Куда ты попал из должности Виргилия в Берлине, из салонов Виардо, из помещичьей неги Ж. Санд. Прощай ноганские пресале<sup>226</sup> и пулярды; прощай русские завтраки, продолжающиеся до вечера, и русские обеды, оканчивающиеся на другой день, да прощай и русские, – в Лондон русские ездили на скорую (161) руку, сконфуженные, потерянные – им было не до Мюллера. Да, кстати, прощай и солнце, которое так хорошо греет и весело светит, – когда нет денег на внутреннее топливо... туман, дым и вечная борьба работы, бой из-за работы!

Года через три Мюллер стал заметно стареть, морщины прорезывались глубже и

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru глубже – он опускался; уроки не шли (несмотря на то, что он на немецкий лад был очень основательно учен). Зачем он не ехал в Германию? Трудно сказать, но вообще у немцев, даже у таких неэгстовых патриотов, как Мюллер, – делается, поживши несколько лет вне Германии, непреодолимое отвращение от родины, что-то вроде обратного Heimweh<sup>227</sup>, в Лондоне он не мог свести концов. Длинная масленица, длившаяся около десяти лет, кончилась, и суровый пост захватил добродушного буммлера; потерянный, вечно ищущий захватить денег, кругом в маленьких долгах – он был жалок и становился диккенсовским лицом, – все еще доканчивал "Эрика", все еще мечтал, что продаст его и заслужит разом талеры и лавры... но "Эрик" был упорен и не оканчивался, и Мюллер, чтоб освежиться, позволял себе, сверх пива, одну роскошь – plaisir train<sup>228</sup> в воскресенье. Он платил очень дешево за большие пространства и ничего не видал.

– Я еду на Isle of Wight<sup>229</sup>, взад и вперед (помнится 4 шилл.), и завтра утром рано буду опять в Лондоне.

– Что же ты увидишь там?

– Да, но зато четыре шиллинга...

Бедный Мюллер, бедный буммлер!

А впрочем, пусть он ездит в Рейд, не выдавши его; лишь бы также не видал будущего: в его гороскопе не осталось ни одной светлой точки, ни одного шанса. Он, бедняга, безотрадно и бесследно исчезнет в лондонском тумане.

<ГЛАВА VIII>

Отрывок этот идет за описанием "горных вершин" эмиграции – от их вечно красных утесов до низменных болот и "серных копей"<sup>230</sup>. Я прошу читателя не забыть<sup>(162)</sup> вать, что в этой главе мы опускаемся с ним ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистым дном его, так, как оно было после февральского шквала.

Почти все описанное здесь изменилось, исчезло; политические подонки пятидесятых годов занесло новыми песками и новыми грязями. Истошился, притих, вымер этот низменный мир волнений и гонений; отстой его успокоился и занял свое место в слойке. Оставшиеся личности становятся редкостью, и я уж люблю с ними встречаться.

Печально уродливы, печально смешны некоторые из образов, которые я хочу вывести, но они все писаны с натуры, – бесследно исчезнуть и они не должны.

ЛОНДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ<sup>231</sup>

Простые несчастья и несчастья политические. – Учители и комиссионеры. Ходебщика и хожалые. – Ораторы и эпистолаторы. – Ничего не делающие фактотумы и вечно занятые трутни. – Русские. – Воры. – Шпионы. Писано в 1856 – 1857

От серной шайки, как сами немцы называют марксидов, естественно и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и пуце всего в Лондоне.

Можно себе представить, сколько противоположного снадобья захватывают с собой с материка и оставляют в Англии приливы и отливы революций и реакций, истошающих, как перемежающаяся лихорадка, европейский организм, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродят по сырому, топкому лондонскому дну. Каков должен быть хаос понятий, воззрений у этих образцов всех нравственных формаций и реформаций, всех протестов, всех утопий, всех отчаяний, всех надежд, встречающихся в закоулках, харчевнях и питейных домах Лестер-сквера и его проселочных пере<sup>(163)</sup>улков. "Там, где, – по выражению "Теймса", – обитает жалкое население чужеземцев, носящих шляпы, каких никто не носит, и волосы там, где их не надобно, население несчастное, убогое, загнанное и которого трепещут все сильные монархи Европы, кроме английской королевы". Да, там действительно по public housam<sup>232</sup> и харчевням сидят эти чужие, эти гости, за джином с горячей водой, с холодной водой и совсем без воды, с горьким портером в кружке и с еще больше горькими словами на губах, поджидая революции, к которой они больше неспособны, и денег от родных, которых никогда не получают,



Каких оригиналов, каких чудачков я не нагляделся между ними! Тут рядом с коммунистом старого толка, ненавидящим всякого собственника во имя общего братства, – старый карлист, пристреливавший своих .родных братьев во имя любви к отечеству, из преданности к Монтемолино или Дон-Хуану, о которых ничего не знал и не знает. Там рядом с венгерцем, рассказывающим, как он с пятью гонведами опрокинул эскадрон австрийской кавалерии, и застегивающим венгерку до самого горла, чтобы иметь еще больше военный вид, венгерку, размеры которой показывают, что ее юность принадлежала другому, – немец, дающий уроки музыки, латыни, всех литератур и всех искусств из насущного пива, атеист, космополит, презирающий все нации, кроме Кур-Гессена или Гессен-Касселя, смотря по тому, в котором из Гёссенов родился, поляк прежнего покроя, католически любящий независимость, и итальянец, полагающий независимость в ненависти к католицизму.

Возле эмигрантов-революционеров эмигрант-консерваторы. Какой-нибудь негоциант или нотариус, sans adieu<sup>233</sup> удалившийся от родины, кредиторов и доверителей, считающий себя тоже несправедливо гонимым, – какой-нибудь честный банкрот, уверенный, что он скоро очистится, приобретет кредит и капитал, так, как его сосед справа достоверно знает, что на днях la rouge<sup>234</sup> будет провозглашена лично самой "Марьянной" – а сосед слева, – что орлеанская фамилия укладывается в Клермоне и принцессы шьют отличные платья для торжественного въезда в Париж. (164)

К консервативной среде "виноватых, но не осужденных окончательно за отсутствием подсудимого", принадлежат и больше радикальные лица, чем банкроты и нотариусы с горячим воображением, – это люди, имевшие на родине большие несчастья и желающие всеми силами выдать свои простые несчастья за несчастья политические. Эта особая номенклатура требует пояснения.

Один наш приятель явился шутя в агентство сватовства. С него взяли десять франков и принялись расспрашивать, какую ему нужно невесту, в сколько приданого, белокурую или смуглую, и проч.; затем записывавший гладенький старичок, оговорившись и извиняясь, стал спрашивать о его происхождении, очень обрадовался, узнав, что оно дворянское, потом, усугубив извинения, спросил его, заметив притом, что молчание гроба их закон и сила:

– Не имели ли вы несчастий?

– Я поляк и в изгнании, то есть без родины, без прав, без состояния.

– Последнее плохо, но позвольте, по какой причине оставили вы вашу belle patrie?<sup>235</sup>

– По причине последнего восстания (дело было в 1848 году).

– Это ничего не значит, политические несчастья мы. не считаем; оно скорее выгодно, cest une attraction<sup>236</sup>. Но позвольте, вы меня заверяете, что у вас не было других несчастий?

– Мало ли было, ну отец с матерью у меня умерли.

– О нет, нет...

– Что же вы разумеете под словом другого несчастья?

– Видите, если б вы оставили ваше прекрасное отечество по частным причинам, а не по политическим. Иногда в молодости неосторожность, дурные примеры, искушение больших городов, знаете, эдак... необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись, как-нибудь...

– Понимаю, понимаю, – сказал, расхохотавшись, . Хоецкий, – нет, уверяю вас, я не был судим ни за кражу, ни за подлог. (165)

...в 1855 году один француз exile de sa patrie<sup>237</sup> ходил по товарищам несчастья с предложением помочь ему в издании его поэмы, вроде Бальзаковой "Comedie du diable", писанной стихами и прозой, с новой орфографией и вновь изобретенным синтаксисом. Тут были действующими лицами Людвиг-Филипп, Иисус Христос, Робеспьер, маршал Бюжо и сам бог.

Между прочим, явился он с той же просьбой к Шельхеру, честнейшему и чопорнейшему из смертных.

- Вы давно ли в эмиграции? - спросил его защитник черных.

- С тысяча восемьсот сорок седьмого года.

- С тысяча восемьсот сорок седьмого года? И вы приехали сюда?

- Из Бреста, из каторжной работы.

- Какое же это было дело? Я совсем не помню,

- О, как же, тогда это дело было очень известно. . Конечно, это дело больше частное.

- Однако ж?.. - спросил несколько обеспокоенный Шельхер.

- Ah bas, si vous y tenez, я по-своему протестовал против права собственности, j'ai proteste a ma maniere<sup>238</sup>.

- И вы... вы были в Бресте?

- Parbleu oui!<sup>239</sup> семь лет каторжной работы за воровство со взломом (vo! avec ef fraction).

И Шельхер голосом целомудренной Сусанны, гнавшей нескромных стариков, просил самобытного протестанта выйти вон.

Люди, которых несчастья, по счастью, были общие и протесты коллективные, оставленные нами в закопченных public houses и черных тавернах, за некрашеными столами с джинуатером и портером, настрадались вдоволь и, что всего больше, не зная совсем за что.

Время шло с ужасной медленностью, но шло; революции нигде не было в виду, кроме в их воображении, а нужда действительная, беспощадная подкашивала все ближе и ближе подножный корм, и вся эта масса людей, большею частью хороших, голодала больше и больше. (166)

Привычки у них не было к работе, ум, обращенный на политическую арену, не мог сосредоточиться на деле. Они хватались за все, но с озлоблением, с досадой, с нетерпением, без выдержки, и все падало у них из рук. Те, у которых была сила и мужество труда, те незаметно выделялись и выплывали из тины, а остальные?

И какая бездна была этих остальных! С тех пор многих унесла французская амнистия и амнистия смерти, но в начале пятидесятих годов я застал еще the great tide<sup>240</sup>.

Немецкие изгнанники, особенно не работники, много бедствовали, не меньше французов. Удач им было мало. Доктора медицины, хорошо учившиеся и во всяком случае во сто раз лучше знавшие дело, чем английские цирюльники, называемые surgeon<sup>241</sup>, не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели с чистыми и платоническими мечтами об искусстве и священнодейственном служении ему, но без производительного таланта, без ожесточения, настойчивости работы, без меткого чутья, гибли в толпе соревнующих соперников. В простой жизни своего маленького городка, на дешевом немецком корму они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое девственное поклонение идеалам и веру в свое жреческое призвание. Там они остались бы и умерли в подозрении таланта. Вырванные французской бурей из родных палисадников, они потерялись в Беловежской пуще лондонской жизни.

В Лондоне, чтоб не быть затертым, задавленным, надобно работать много, резко, сейчас и что попало, что потребовали. надобно остановить рассеянное внимание ко всему приглядевшейся толпы силой, наглостью, множеством, всякой всячиной.

Орнаменты, узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слепки, портреты, рамки, акварели, кронштейны, цветы - лишь бы скорее, лишь бы кстати и в большом количестве. Жюльен, le grand Julien<sup>242</sup>, через сутки после получения вестии об индийской победе Гевлока, написал концерт с криком африканских птиц и топотом

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru слонов, с индийскими напевами и пушечной пальбой, так что Лондон разом читал в газетах и слушал в концерте реляцию. За этот концерт он выручил гро(167)мальные суммы, повторяя его месяц. А зарейнекие мечтатели падали среди дороги на этой бесчеловечной скачке за деньгами и успехами, изнеможенные, с отчаянием складывали они руки или, хуже, подымали их на себя, чтобы окончить неровный и оскорбительный бой.

Кстати, к концертам, – музыкантам из немцев вообще было легче – количество их, потребляемое ежедневно Лондоном с его субурбами<sup>243</sup>, колоссально. Театры и частные уроки, скромные балы у мещан и нескромные в Argylrume, в Креморне, в Casino, cafes-chantants с танцами, cafes-chantants с трико в античных позах. Her Majestys<sup>244</sup>, Ковенгарден, Эксетер-галль, Кристаль-палас, С. Джеме наверху – и углы всех больших улиц внизу занимают и содержат целое народонаселение двух-трех немецких герцогств. Мечтай себе о музыке будущего и о Россини, коленопреклоненном перед Вагнером, читай себе дома a livre ouvert<sup>245</sup>, без инструмента, "Тангейзера" и исполняй, за штатским тамбурмажором и гаером с слоновой палкой, часа четыре кряду какую-нибудь Mary-Ann польку или Flower and butterflys redova<sup>246</sup>, – и дадут бедняку от двух до четырех с половиной шиллингов за вечер, и пойдет он в темную ночь по дождю в полпивную, в которую преимущественно ходят немцы, и застанет там моих бывших друзей Краута и Мюллера, – Краута, шестой год работающего над бюстом, который становится все хуже;

Мюллера, двадцать шестой год дописывающего трагедию "Эрик", которую он мне читал десять лет тому назад, пять лет тому назад и теперь бы еще читал, если б мы не поссорились с ним.

А поссорились мы с ним за генерала Урбана, но об этом в другой раз...

...И чего ни делали немцы, чтоб заслужить благосклонное внимание англичан, все безуспешно.

Люди, всю жизнь курившие во всех углах своего жилья, за обедом и чаем, в постели и за работой, не курят в Лондоне, в самом закопченном, продымленном от угля (168) drawing-rooms<sup>247</sup> и не позволяют курить гостю. Люди, всю жизнь ходившие в биркнейпы своей родины выпить "шоп"<sup>248</sup>, посидеть там за трубкой в хорошем обществе, идут, не глядя, мимо public houses и посылают туда за пивом горничную с кружкой или молочником.

Мне случилось в присутствии одного немецкого выходца отправлять к англичанке письмо.

– Что вы делаете? – вскрикнул он в каком-то азарте. Я вздрогнул и-невольно бросил пакет, полагая по крайней мере, что в нем скорпион.

– В Англии, – сказал он, – письмо складывают вообще втрое, а не вчетверо, а вы еще пишете к даме, и к какой!

С начала моего приезда в Лондон я пошел отыскивать одного знакомого немецкого доктора. Я не застал его дома и написал на бумаге, лежавшей на столе, что-то вроде: "Cher docteur<sup>249</sup>, я в Лондоне и очень желал бы вас видеть, не придете ли вечером в такую-то таверну выпить по-старому бутылку вина и потолковать о всякой всячине". Доктор не пришел, а на другой день я получил от него записку в таком роде: "Monsieur H., мне очень жаль, что я не мог воспользоваться вашим любезным приглашением, мои занятия не оставляют мне столько свободного времени. Постараюсь, впрочем, на днях посетить вас" и проч.

– А что? У доктора, видно, практика того? – спросил я освободителя Германии, которому был обязан знанием, что англичане письма складывают втрое.

– Никакой нет, der Keri hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu ominos<sup>250</sup>.

– Так что же он делает? – и я передал ему записку. Он улыбнулся, однако заметил, что и мне вряд следовало ли оставлять на столе доктора медицины открытую записку, в которой я его приглашаю выпить бутылку вина.

– Да и зачем же в такой таверне, где всегда народ? Здесь пьют дома.

– Жаль, – заметил я, – наука всегда приходит поздно; теперь я знаю, как доктора

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
звать и куда, но наверно не позову. (169)

Затем воротимся к нашим чающим движения народного, пересылки денег от родных и работы без труда.

Неработнику начать работу не так легко, как кажется, многие думают, пришла нужда, есть работа, есть молот и долот и работник готов. Работа требует не только своего рода воспитания, навыка, но и самоотвержения. Изгнанники большей частью люди из мелкой литературной и "паркетной"<sup>251</sup> среды, журнальные поденщики, начинавшие адвокаты – от своего труда в Англии они жить не могли, другой им был дик; да и не стоило начинать его, они все прислушивались, не раздастся ли набат; прошло десять лет, прошло пятнадцать лет, нет набата.

В отчаянии, в досаде, без платья, без обеспечения на завтрашний день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрыв глаза, на аферы, выдумывают спекуляции. Аферы не удаются, спекуляции лопают и потому, что они выдумывают вздор, и потому, что они вносят вместо капитала какую-то беспомощную неловкость в деле, чрезвычайную раздражительность, неуменье найтись в самом простом положении и опять-таки неспособность к выдержанному труду и усеянному терниями началу. При неудаче они утешаются недостатком денег:

"Будь сто – двести фунтов, и все пошло бы как по маслу!" Действительно, недостаток капитала мешает, но это – общая судьба работников. Чего и чего не выдумывалось, – от общества на акциях для выписывания из Гавра куриных яиц, до изобретения особых чернил для фабричных марок и каких-то эссенций, которыми можно было превращать сквернейшие водки в превосходнейшие ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на все эти чудеса, надобно было есть и несколько прикрываться от северо-восточного ветра и от застенчивых взоров дочерей Альбиона.

Для этого предпринимались два паллиативные средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но с большими развлечениями. Люди мирные, с Sitzfleischem<sup>252</sup>, принимались за уроки, несмотря на то что они не только прежде не давали уроков, да и сомнительно, чтоб когда-нибудь их брали. Конкуренция страшно понизила цены. (170)

Вот образчик объявлений одного семидесятилетнего старика, который, мне кажется, принадлежал скорее к числу самобытных протестантов, чем коллективных.

MONSIEUR N. N.

Teaches the French language

on a new and easy system of rapid proficiency, has attended Members of the British Parliament and many other persons of respectability, as vouchers certify, translates and interprets that universal continental language, and english,

IN A MASTERLY MANNER. TERMS MODERATE:

Namely, three Lessons per week for six shillings<sup>253</sup>

Давать уроки у англичан не составляет особенного удовольствия – кому англичанин платит, с тем он не церемонится.

Один из моих старых приятелей получает письмо от какого-то англичанина, предлагающего ему давать уроки французского языка его дочери. Он отправился к нему в назначенное время для переговоров. Отец спал после обеда, его встретила дочь, и довольно учтиво, потом вышел старик, осмотрел с головы до ног Боке и спросил: "Vous etre le french teacher?" Боке подтвердил, "Vous pas convenir a moa"<sup>254</sup>. При этом британский осел указал на усы и бороду.

– Что же вы ему не дали тумака? – спрашивал я Боке.

– Я, право, думал об этом, но когда бык повернулся, дочь со слезами на глазах, молча, просила у меня прощенья.

Другое средство проще и не так скучно; оно состоит в судорожном и артистическом

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
комиссионерстве, в предложении разных разностей без внимания на запрос. Французы по большей части работали в винах и водках. (171)

Один легист<sup>255</sup> предлагал своим знакомым и корелижонерам<sup>256</sup> коньяк, доставшийся ему чрезвычайным образом, по связям, о которых в теперешнем положении Франции он не мог и не должен был рассказывать, и притом через капитана корабля, которого компрометировать было бы *salamite publique*<sup>257</sup>. Коньяк был так себе и стоил шесть пенсов дороже, чем в лавке. Легист, привыкший "пледировать"<sup>258</sup> с декламацией, прибавлял к насилию оскорбление он брал рюмку двумя пальцами за доньшко, описывал ею медленные круги, плескал несколько капель, нюхал их на воздухе и всякий раз был изумлен замечательно превосходным запахом коньяка.

Другой товарищ изгнания, некогда провинциальный профессор словесности, увлекал вином. Вино он получал прямо из Кот Дора, Бургоньи, от прежних учеников и с необыкновенным выбором.

"Гражданин, - писал он ко мне, - спросите ваше братское сердце (*votre coeur fraternel*), и оно вам скажет, что вы должны мне уступить приятное преимущество снабжать вас французским вином. И тут сердце ваше будет заодно со вкусом и экономией: употребляя превосходное вино по самой дешевой цене, вы будете иметь наслаждение в мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу человека, который делу родины и свободы пожертвовал все.

salut et fraternite!<sup>259</sup>

P. S. Я взял на себя смелость вместе с тем отправить к вам несколько проб".

Образчики эти были в полубутылках, на которых он собственноручно надписывал не только имя вина, но и разные обстоятельства из его биографии: "Chambertin (Gr. vin et tres rare!). Cote-rotie (Comete). Pommard (1823!). Nuits (provision Aguado!)..."<sup>260</sup> (172)

Недели через две-три профессор словесности снова присылал образчики. Обыкновенно через день или два после присылки он являлся сам и сидел час, два, три, до тех пор, пока я оставлял почти все пробы и платил за них. Так как он был неумолим и это повторялось несколько раз, то впоследствии, только что он отворял дверь, я хвалил часть образчиков, отдавал деньги и остальное вино.

- Я не хочу, гражданин, у вас красть ваше драгоценное время, - говорил он мне и освобождал меня недели на две от кислого бургонского, рожденного под кометой, и пряного Кот-роти из подвалов Aguado.

Немцы, венгерцы работали в других отраслях. Как-то в Ричмонде я лежал в одном из страшных припадков головной боли. Взошел франсуа с визитной карточкой, говоря, что какой-то господин имеет крайность меня видеть, что он венгерец, *adjutante del generale* (все венгерцы-изгнанники, не имеющие никакого занятия, никакой честной профессии, называли себя адъютантами Кошута). Я взглянул на карточку - совершенно незнакомая фамилия, украшенная капитанским чином.

- Зачем вы его пустили? Сколько тысяч раз я вам говорил?

- Он приходит сегодня в третий раз.

- Ну, зовите в залу. - Я вышел разъяренным львом, вооружившись склянкой распалевой седативной<sup>261</sup> воды.

- Позвольте рекомендоваться, капитан такой-то. Я долгое время находился у русских в плену, у Ридигера после Вилагоша. С нами русские превосходно обращались. Я был особенно обласкан генералом Глазенап и полковником... как бишь его... русские фамилии очень мудрены... ич... ич...

- Пожалуйста, не беспокойтесь, я ни одного полковника не знаю... Очень рад, что вам было хорошо. Не угодно ли сесть?

- Очень, очень хорошо... мы с офицерами всякий день эдак, штос, банк... прекрасные люди и австрийцев терпеть не могут. Я даже помню несколько слов по-русски: "глеба", "шевердак" - *une piece de 25 sous*<sup>262</sup>.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
- Позвольте вас спросить, что мне доставляет... (173)

- Вы меня должны извинить, барон... я гулял в Ричмонде... прекрасная погода, жаль только, что дождь идет... я столько наслышался об вас от самого старика и от графа Сандора - Сандора Телеки, даже от графини Терезы Пульской... Какая женщина графиня Тереза!

- И говорить нечего, hors de ligne<sup>263</sup>. - Молчание.

- Да-с, и Сандор... мы с ним вместе были в гонведах... Я собственно желал бы показать вам... - и он вытащил откуда-то из-за стула портфель, развязал его и вынул портреты безрукого Раглана, отвратительную рожу С.-Арно, Омерпаши в феске. - Сходство, барон, удивительное. Я сам был в Турции, в Кутаисе, в тысяча восемьсот сорок девятом году, - прибавил он как будто в удостоверение сходства, несмотря на то что в 1849 году ни Раглана, ни С.-Арно там не было. Вы прежде видели эту коллекцию?

- Как не видать, - отвечаю я, смачивая голову распалевой водой. - Эти портреты вывешены везде, на Чип-сайде, по Странду, в Вест-Энде.

- Да-с, вы правы, но у меня вся коллекция, и те не на китайской бумаге. В лавках вы заплатите гинеею, а я могу вам уступить за пятнадцать шиллингов.

- Я, право, очень благодарен, но скажите, капитан, на что же мне портреты С.-Арно и всей этой сволочи?

- Барон, я буду откровенен, я солдат, а не меттерниховский дипломат. Потеряв мои владения близ Темешвара, я нахожусь во временно стесненном положении, а потому беру на комиссию артистические вещи (а также сигары, гаванские сигары и турецкий табак - уж в нем-то русские и мы знаем толк!), это доставляет мне скудную копейку, на которую я покупаю "горький хлеб изгнанья", wie der Schiller sagt<sup>264</sup>.

- Капитан, будьте вполне откровенны и скажите, чтб вам придется с каждой тетради? - спрашиваю я (хотя и сомневаюсь, что Шиллер сказал этот дантовский стих).

- Полкроны.

- Позвольте нам вот как покончить дело: я вам предложу целую крону, но с тем, чтоб не покупать портретов. (174)

- Право, барон, мне совестно, но мое положение... впрочем, вы всё знаете, чувствуете... я вас так давно привык уважать... графиня Пульская и граф Сандор... Сандор Телеки.

- Вы меня извините, капитан, я едва сию от головной боли.

- У нашего губернатора (то есть у Кошута), у старика, тоже часто болит голова, - замечает мне гонвед, как бы в ободрение и утешение, потом наскоро завязывает портфель и берет вместе с удивительно похожими портретами Раглана и компании довольно сходное изображение королевы Виктории на монете.

Между этими ходебщиками эмиграции, предлагающими выгодные покупки, и эмигрантами, останавливающими всех не бреющих бороду на улицах и скверах, требуя десятый год недостающих двух шиллингов для отъезда в Америку и шести пенсов для покупки гробика ребенку, умершему от скарлатины, - находятся эмигранты, пишущие письма, иногда пользуясь знакомством, иногда пользуясь незнакомством, о всякого рода чрезвычайных нуждах и единовременных денежных затруднениях, часто представляя в дальней перспективе обогащение, и всегда с оригинальным эпистолярным искусством,

Таких писем у меня тетрадь; сообщу два-три особенно характеристических.

"Herr Graft!<sup>265</sup> я был австрийским лейтенантом, но дрался за свободу мадьяров, должен был бежать и совершенно обносился. Если у вас найдутся поношенные панталоны - вы неизреченно меня обяжете.

P. S. Завтра в девять часов я наведуясь у вашего курьера".

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

Это род наивный, но есть письма классические по языку и лапидарности, напр.:

"Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquid per me facere potes, gaudeo, gaudebit cor meum.

Mercuris dies 1859"266. (175)

Другие письма, не имея ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особым счетоводством:

"Гражданин, вы были так добры, что прислали мне прошлого февраля (вы, может, не помните, но я помню) три ливра. Давно хотел я вам их отдать, но не получал вовсе денег от родных; на днях я получу довольно значительную сумму. Если б мне не было совестно, я бы попросил вас прислать еще два ливра и отдал бы вам круглым счетом пять ливров".

Я предпочел остаться при трехугольном. Охотник до круглых счетов начал поговаривать, что я в связях с русским посольством.

Затем идут письма деловые и письма ораторские, и те и другие очень много теряют в русском переводе.

"Mon cher Monsieur! Вы, верно, знаете мое открытие, оно доставило бы нашему веку честь, а мне кусок хлеба. И открытие это останется неизвестным, оттого что у меня нет кредита на каких-нибудь двести фунтов, и вместо того, чтобы заниматься моим делом, мне приходится за вздорную плату courir le cachet<sup>267</sup>. Всякий раз, когда мне представляется работа продолжительная и выгодная, насмешливая судьба дует на нее (я перевожу слово в слово), она летит прочь - я за ней, настойчивая дерзость ее берет верх (son opiniatre insolence bafoue mes projets), вновь стегает мои надежды, и я бегу туда-туда. Бегу и теперь. Поймаю ли? Почти уверен, - если вы, имея доверие к моему таланту, захотите пустить в волны ваше доверие с моими надеждами по капризному ветру моей судьбы (embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au souffle peu aventureux de mon destin)". Далее объясняется, что восемьдесят фунтов есть в виду, даже восемьдесят пять; остальные сто пятнадцать изобретатель ищет занять, обещая тринадцать, almeno<sup>268</sup> одиннадцать, процентов в случае удачи. "Можно ли лучше, вернее поместить капитал в наше время, когда фонды всего мира колеблются и государства так не твердо стоят, опираясь на штыки наших врагов?" (176)

Я ста пятнадцати не даю. Изобретатель начинает соглашаться, что в моем поведении не все ясно, il y a du louche<sup>269</sup>, и что не мешает со мною быть осторожным.

В заключение вот письмо чисто ораторское:

"Великодушный согражданин будущей всемирной республики! Сколько раз вы помогли мне и ваш знаменитый друг Луи Блан, и опять-таки я пишу к вам и пишу к гражданину Блану, чтоб попросить несколько шиллингов. Удручающее положение мое не улучшается вдали от Лар и Пенат, на негостеприимном острове эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы в одном из сочинений ваших (я постоянно их перечитываю), "что талант гаснет без денег, как лампа без масла" и проч.

Само собой разумеется, что я этой пошлости никогда не писал и что согражданин по будущей республике, future et universelle<sup>270</sup>, ни разу не развертывал моих сочинений.

За ораторами на письме идут ораторы на словах, "делающие тротуар и переулок". Большею частью они только прикидываются изгнанниками, а в сущности - спившиеся с круга не английские мастеровые или люди, имевшие дома несчастья. Пользуясь необъятной величиной Лондона, они продельывают одну часть за другой и потом снова возвращаются на Via sacra<sup>271</sup>, то есть на Режент-стрит с Геймаркетом и Лестер-сквером.

Лет пять тому назад молодой человек, довольно чисто одетый и с сентиментальной наружностью, несколько раз подходил ко мне в сумерках с вопросом на французском языке с немецким акцентом:

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
– Не можете ли вы мне сказать, где такая-то часть города? – и он подавал какой-то адрес верст за десять от Вест-Энда, где-нибудь в Головее, Гекнее. Каждый, как, как и я, принимался ему. толковать. Его обдавал ужас.

– Теперь девять часов вечера, я еще не ел... когда же я приду? ни гроша на омнибус... этого я не ждал. Не смею просить вас, но если б вы меня выручили... Мне одного шиллинга за глаза довольно. (177)

Я его встречал еще раза два, наконец, он исчез, и я не без удовольствия его встретил несколько месяцев спустя на старом месте, с измененной бородой и в другой фуражке. С чувством приподымая ее, спросил он меня:

– Вы, верно, знаете по-французски?

– Знаю, – отвечал я, – да сверх того знаю, что у вас есть адрес, вам придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ели, на омнибус денег нет, вам нужен шиллинг... но на этот раз я вам дам сикс-пенс, потому что не вы мне, а я вам рассказал все это.

– Что делать, – отвечал он мне улыбаясь, без малейшей злобы, – ведь вот вы опять не поверите, а я еду в Америку, прибавьте на дорогу.

Я не выдержал и додал сикспенс.

В числе этих господ были и русские: например, бывший кавказский офицер Стремоухов, просивший на бедность в Париже еще в 1847 году, рассказывая очень плавно историю какой-то дуэли, бегства и прочее и забирая, к сильному озлоблению прислуги, все на свете: старые платья и туфли, фуфайки летом и зимой панталоны из парусины, детские платья, дамские ненужности. Русские собрали для него денег и отправили в Алжир в иностранный легион. Он выслужил пять лет, привез аттестат и снова отправился из дома в дом рассказывать о дуэли и побеге, прибавляя к ним разные арабские похождения. Стремоухов становился стар – и жаль его было, и надоедал он страшно. Русский священник при лондонской миссии сделал для него коллекту<sup>272</sup>, чтоб отправить его в Австралию. Ему дали в Мельбурн рекомендацию и поручили капитану его самого и, главное, деньги за проезд. Стремоухов приходил к нам прощаться. Мы его совсем снарядили: я ему дал теплое пальто. Гауг – рубашек и проч. Стремоухов, прощаясь, заплакал и сказал:

– Как хотите, господа, а ехать в такую даль не легкая вещь. Вдруг разорваться со всеми привычками, но это надобно...

И он целовал нас и благодарил с горячностью. Я думал; что Стремоухов давным-давно где-нибудь на берегах Викториа-Ривер, как вдруг читаю в "Теймсе", (178) что какой-то russian officer Stremoouchoff<sup>273</sup> за буянство, драку в кабаке, вследствие каких-то взаимных обвинений в воровстве и проч., присуждается на три месяца тюрьмы. Месяца через четыре после этого я шел по Оксфорд-стрит, пошел сильный дождь, со мной не было зонтика – я под ворота. В то самое время, как я остановился, какая-то длинная фигура, закрываясь дряхлым зонтиком, торопливо шмыгнула под другие ворота. Я узнал Стремоухова.

– Как, вы воротились из Австралии? – спросил я его, прямо глядя ему в глаза.

– Ах, это вы, а я и не признал вас, – отвечал он слабым и умирающим голосом. – Нет-с, не из Австралии, а из больницы, где пролежал месяца три между жизнью и смертью... и не знаю, зачем выздорovel.

– В какой же вы были больнице, в St. Georges Hospital?

– Нет, не здесь, в Соутамтоне.

– Как же вы это занемогли и никому не дали знать? Да и как же вы не уехали?

– Опоздал на первый train<sup>274</sup>, приезжаю со вторым, – пароход-с ушел. Я постоял на берегу, постоял и чуть не бросился в пучину морскую. Иду к reverendy<sup>275</sup>, к которому наш батюшка меня рекомендовал. "Капитан, говорит, уехал, часу ждать не хотел".

– А деньги?



- Деньги он оставил у reverenda.

- Вы, разумеется, их взяли?

- Взял-с, но проку не вышло, во время болезни все утащили из-под подушки, такой народ! Если можете чем помочь...

- А вот здесь, во время вашего отсутствия, какого-то другого Стремоухова запекли в тюрьму, и тоже на три месяца, за драку с курьером. Вы не слышали?

- Где же слышать между жизнью и смертью. Кажется, дождь перестает. Желаю счастливо оставаться.

- Берегитесь выходить в сырую погоду, а то опять попадетесь в больницу. (179)

После Крымской войны несколько пленных матросов и солдат остались, сами не зная зачем, в Лондоне. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Некоторые из них просили посольство заступиться за них, исходатайствовать прощение, aber was macht es denn dem Herrn Baron von Brunnov!276

Они представляли чрезвычайно печальное зрелище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то с дерзостью (довольно неприятною в узких улицах после десяти часов вечера) требовали денег.

В 1853 году бежало несколько матросов с военного корабля в Портсмуте, часть их была возвращена в силу нелепого закона, под который подходят исключительно одни матросы. Несколько человек спаслись и пришли пешком из Порчмы в Лондон. Один из них, молодой человек лет двадцати двух, с добрым и открытым лицом, был башмачником, умел тачать, как он называл, "шлиперы". Я купил ему инструмент и дал денег, но работа не пошла.

В это время Гарибальди отплывал с своим "Common wealth" в Геную, я попросил его взять с собой молодого человека. Гарибальди принял его с жалованьем фунта в месяц и с обещанием, если будет хорошо себя вести, давать через год два фунта. Матрос, разумеется, согласился, взял у Гарибальди два фунта вперед и принес свои пожитки на корабль.

На другой день после отъезда Гарибальди матрос пришел ко мне красный, заспанный, вспухнувший.

- Что случилось? - спрашиваю я его.

- Несчастье, ваше благородие, опоздал на корабль.

- Как опоздал?

Матрос бросился на колени и неестественно хныкал. Дело было исправимо. Корабль пошел за углем в New-castle-upon-Tyne.

- Я тебя пошлю по железной дороге туда, - сказал я ему, - но если ты и на этот раз опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сделаю, хоть умри с голоду. А так как дорога в Newcastle стоит больше фунта, а я тебе не доверю шиллинга, то я пошлю за знакомым и ему поручу продержат тебя всю ночь и посадить в вагон. (180)

- Всю жизнь буду молить бога за ваше высокородие!

Знакомый, взявшийся за отправку, пришел ко мне с рапортом, что матроса выпроводил.

Представьте же мое удивление, когда дня через три матрос явился с каким-то поляком.

- Что это значит? - закричал я на него, в самом деле дрожа от бешенства.

Но прежде, чем матрос открыл рот, его товарищ принялся его защищать на ломаном русском языке, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и пива.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Кто вы такой?

- Польский дворянин.

- В Польше все дворяне. Почему вы пришли ко мне с этим мошенником?

Дворянин расхорохорился. Я сухо заметил ему, что я с ним не знаком и что его присутствие в моей комнате до того странно, что я могу его велеть вывести, позвав полисмена.

Я посмотрел на матроса. В три дня аристократического общества с дворянином его много воспитали. Он не плакал и пьяно-дерзко смотрел на меня.

- Очень занемог, ваше благородие. Думал богу душу отдать, полегчало, когда машина ушла.

- Где же это тебя схватило?

- На самой, то есть, железной дороге.

- Что ж не поехал с следующей машиной?

- Невдомек-с, да и так как языку не способен...

- Где билет?

- Да билета нет.

- Как нет?

- Уступил тут одному человечку.

- Ну, теперь ищи себе других человечков, только в одном будь уверен: я тебе не помогу ни в каком случае.

- Однако, позвольте... - вступил в речь "вольный шляхтич".

- Милостивый государь, я не имею ничего вам сказать и не желаю ничего слушать.

Ругая меня сквозь зубы, отправился он с своим Телемаком, вероятно, до первого кабака.

Еще ступеньку вниз. (181)

Может, многие с недоумением спросят, какая же это еще ступенька вниз?.. а есть, и довольно большая - только тут уж темно, идите осторожно. Я не имею pruderie<sup>277</sup> Шельхера, и мне автор поэмы, в которой Христос разговаривает с маршалом Бюжо, показался еще забавнее после геройского pour un vol avec effraction<sup>278</sup>. Если он и украл что-нибудь из-под замка, зато подвергался бог знает чему и потом работал несколько лет, может с ядром на ногах. Он имел против себя не только того, которого обокрал, но все государство и общество, церковь, войско, полицию, суд, всех честных людей, которым красть не нужно, и всех бесчестных, но не уличенных по суду. Есть воры другого рода, награждаемые правительством, отогреваемые начальством, благословляемые церковью, защищаемые войском и не преследуемые полицией, потому что они сами к ней принадлежат. Это люди, ворующие не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпионы, шпионы в квадрате... ими оканчивается порок и разврат; дальше, как за Луцифером у Данта, ничего нет - там уж опять пойдет вверх.

Французы - большие артисты этого дела. Они умеют ловко сочетать образованные формы, горячие фразы, arlotb человека, которого совесть чиста и point d'hon-neur<sup>279</sup> раздражителен, с должностью шпиона. Заподозрите его, - он вызовет вас на дуэль, он будет драться, и храбро драться.

"Записки" де ла Года, Шеню, Шнепфа - клад для изучения грязи, в которую цивилизация завела своих блудных детей. Де ла Год наивно печатает, что он, предавая своих друзей, должен был с ними хитрить так, "как хитрит охотник с

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
дичью".

Де ла Год – это Алкивиад шпионства.

Молодой человек с литературным образованием и радикальным образом мыслей, он из провинции явился в Париж, бедный, как Ир, и просил работы в редакции "Реформы". Ему дали какую-то работу, он ее сделал хорошо; мало-помалу с ним сблизились. Он вступил (182) в политические круги, знал многое из того, что делалось в республиканской партии, и продолжал работать несколько лет, оставаясь в самых дружеских отношениях к сотрудникам.

Когда, после февральской революции, Косидьер разобрал бумаги в префектуре, он нашел, что де ла Год все время преправлял доносы полиции о том, что делалось в редакции "Реформы". Косидьер позвал де ла Года к Альберу, там ждали свидетели. Де ла Год явился, ничего не подозревая, попробовал запереться, но потом, видя невозможность, признался, что письма к префекту писал он. Возник вопрос, что с ним делать? Одни думали, и были совершенно правы, застрелить его тут же, как собаку. Альбер восстал пуще всех и не хотел, чтобы в его квартире убили человека. Косидьер предложил ему заряженный пистолет с тем, чтобы он застрелился. Де ла Год отказался. Кто-то спросил его, не хочет ли он яду? он и от яду отказался, а, отправляясь в тюрьму, как благоразумный человек, спросил кружку пива, это факт, переданный мне сопровождавшим его помощником мэра XII округа.

Когда реакция стала брагь верх, де ла Года выпустили из тюрьмы, он уехал в Англию, но когда реакция еще окончательно восторжествовала, он возвратился в Париж и совалялся вперед в театрах и других публичных собраниях, как лев особой породы; вслед за тем издал он свои "Записки".

Шпионы постоянно трутся во всех эмиграциях – их узнают, открывают, колотят, а они свое дело делают с полнейшим успехом. В Париже полиция знает все лондонские тайны. День тайного приезда Делеклюза, потом Буашо во Францию были так хорошо известны, что они были схвачены в Кале, лишь только вышли из корабля. В коммунистическом процессе в Кельне читали документы и письма, "купленные в Лондоне", как наивно признался в суде прусский комиссар полиции.

В 1849 году я познакомился с изгнанным австрийским журналистом Энглендером. Он был очень умен, очень колок и впоследствии помещал в колачевских ярбухах ряд живых статей об историческом развитии социализма, Энглендер этот попался в тюрьму в (183) Париже по делу, названному "Делом корреспондентов". Ходили разные слухи об нем, наконец он сам явился в Лондон. Здесь другой австрийский изгнанник, доктор Гефнер, очень уважаемый своими, говорил, что Энглендер в Париже был на жалованье у префекта и что его сажали в тюрьму за измену брачной верности французской полиции, приревновавшей его к австрийскому посольству, у которого он тоже был на жалованье. Энглендер жил разгульно, на это надобно много денег, одного префекта, видно, не хватало.

Немецкая эмиграция потолковала, потолковала и позвала Энглендера к ответу, Энглендер хотел отшутиться, но Гефнер был беспощаден, тогда муж двух полиций вдруг вскочил с раскрасневшимся лицом, со слезами на глазах и сказал: "Ну да, я во многом виноват, но не ему меня обвинять", и он бросил на стол письмо префекта, из которого ясно было, что и Гефнер получал от него деньги.

В Париже проживал некий Нидергубер, тоже австрийский рефюжье, я познакомился с ним в конце 1848 года. Товарищи его рассказывали об нем необыкновенно храбрый поступок во время революции в Вене. У инсургентов не доставало пороха, Нидергубер вызвался привезти по железной дороге и привез. Женатый и с детьми, он бедствовал в Париже. В 1853 году я его нашел в Лондоне в большой крайности; он занимал с семьей две небольшие комнатки в одном из самых бедных переулков Соо. Все не спорилось в его руках. Завел он было прачечную, в которой его жена и еще один эмигрант стирали белье, а Нидергубер развозил его – но товарищ уехал в Америку, и прачечная остановилась.

Ему хотелось поместиться в купеческую контору – очень неглупый человек и с образованием, он мог заработать хорошие деньги, но reference280, reference, без reference в Англии ни шагу. Я ему дал свою; по поводу этой рекомендации один немецкий рефюжье, Оппенгейм, заметил мне, что напрасно я хлопочу, что человек этот не пользуется хорошей репутацией, что он будто бы в связях с французской полицией. (184)

В это время Рейхель привез в Лондон моих детей. Он принимал в Нидергубере большое участие. Я сообщил ему, что об нем говорят.

Рейхель расхохотался; он ручался за Нидергубера, как за самого себя, и указывал на его бедность, как на лучшее опровержение. Последнее убеждало отчасти и меня. Вечером Рейхель ушел гулять, возвратился поздно, встревоженный и бледный. Он взошел на минуту ко мне и, жалуясь на сильную мигрень, собирался лечь спать. Я посмотрел на него и сказал:

- У вас есть что-то на душе, heraus damrt!281

- Да, вы отгадали... но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.

- Пожалуй, но что за шалости, - предоставьте моей совести.

- Я не мог успокоиться, услышавши от вас об Нидергубере, и, несмотря на обещание, данное вам, я решился его спросить и был у него. Жена его на днях родит, нужда страшная... чего мне стоило начать разговор. Я вызвал его на улицу и, наконец, собрав все силы, сказал ему: знаете ли, что Г. предупреждали в том-то и том-то, я уверен, что это клевета, поручите мне разъяснить дело. "Благодарю вас, - отвечал он мне мрачно, - но это не нужно; я знаю, откуда это идет. В минуту отчаяния, умирая с голода, я предложил префекту в Париже мои услуги, чтобы держать его au courant<sup>282</sup> эмиграционных новостей. Он мне прислал триста франков, и я никогда ему не писал потом".

Рейхель чуть не плакал.

- Послушайте, пока жена его не родит и не оправится, даю вам слово молчать; пусть идет в конторщики и оставит политические круги. Но, если я услышу новые доказательства и он все-таки будет в сношениях с эмиграцией, я его выдам. Черт с ним!

Рейхель уехал. Дней через десять, во время обеда, взошел ко мне Нидергубер, бледный, расстроенный.

- Вы можете понять, - говорил он, - чего мне стоит этот шаг, но, куда ни смотрю, кроме вас, спасенья нет. Жена родит через несколько часов, в доме ни угля, ни (185) чая, ни чашки молока, денег ни гроша, ни одной женщины, которая бы помогла, не на что послать за акушером.

И он, действительно изнеможенный, бросился на стул и, покрыв лицо руками, сказал:

- Остается пулю в лоб, по крайней мере не увижу этого ужаса.

Я тотчас послал за добрым Павлом Дарашем, дал денег Нидергуберу и, сколько мог, успокоил его. На другой день Дараш заехал сказать, что роды сошли с рук хорошо.

Между тем весть, пущенная, вероятно, по личной вражде, о связях с французской полицией Нидергубера ходила больше и больше, и, наконец, Таузунау, известный венский клубист и агитатор, после речи которого народ повесил Латура, уверял направо и налево, что он сам читал письмо от префекта, писанное при присылке денег. Обвинение Нидергубера, видно, было дорого для Таузунау - он сам зашел ко мне, чтобы подтвердить его.

Положение мое становилось трудно. Гауг жил у меня - до того я ему не говорил ни слова, но теперь это становилось неделикатно и опасно. Я рассказал ему, не упоминая о Рейхеле, которого не хотел путать в драму, имевшую все шансы на то, что V акт ее будет представляться в полицейском суде или в Олд-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось: "вскипел бульон"; я едва мог усмирить Гауга и удержать его от нашествия на чердак Нидергубера. Я знал, что Нидергубер должен был прийти к нам с переписанными тетрадями, и советовал подождать его. Гауг согласился и как-то утром вбежал ко мне, бледный от ярости, и объявил, что Нидергубер внизу. Я бросил поскорее бумаги в стол и сошел. Перестрелка шла уж сильная. Гауг кричал, и Нидергубер кричал. Калибр крепких слов становился все крупнее. Выражение лица Нидергубера, искаженного злобой и стыдом, было дурно. Гауг был в азарте и путался. Этим путем можно было скорее дойти до раскрытия

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
черепа, чем дела.

- Господа, - оказал я вдруг середь речи, - позвольте вас остановить на минуту.

Они остановились. (186)

- Мне кажется, что вы портите дело горячностью; прежде чем браниться, надобно поставить совершенно ясно вопрос.

- Что я шпион или нет? - кричал Нидергубер. - Я ни одному человеку не позволю ставить такой вопрос.

- Нет, не в этом вопрос, который я хотел предложить; вас обвиняет один человек, да и не он один, что вы получали деньги от парижского префекта полиции.

- Кто этот человек?.

- Таузенау.

- Мерзавец! - Это к делу не идет; вы деньги получали или нет?

- Получал, - сказал Нидергубер с натянутым спокойствием, глядя мне и Гаугу в глаза- Гауг судорожно кривлялся и как-то стонал от нетерпения снова обругать Нидергубера, я взял Гауга за руку и сказал:

- Ну, только нам и надобно.

- Нет, не только, - отвечал Нидергубер - вы должны знать, что никогда ни одной строкой я не компрометировал никого.

- Дело это может решить только ваш корреспондент Пиетри, а мы с ним не знакомы.

- Да что я у вас - подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я должен перед вами оправдываться? Я слишком высоко ценю свое достоинство, чтобы зависеть от мнения какого-нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будет в этом доме, - прибавил Нидергубер, гордо надел шляпу и отворил дверь.

- В этом вы можете быть уверены, - сказал я ему вслед.

Он хлопнул дверью и ушел. Гауг порывался за ним, но я, смеясь, остановил его, перефразируя слова Сийеса:

"Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons ete hier - dejeunons!"<sup>283</sup>

Нидергубер отправился прямо к Таузенау. Тучный, лоснящийся Силен, о котором Мащини как-то сказал: "Мне все кажется, что его поджарили на олив(187)ковом масле и не обтерли", еще не покидал своего ложа., Дверь отворилась, и перед его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Нидергубера.

- Ты сказал Г., что я получал деньги от префекта?

- Я.

- Зачем?

- Затем, что ты получал.

- Хотя и знал, что я не доносил?! Вот же тебе за это! - При этих словах Нидергубер плюнул Таузенау в лицо и пошел вон... Разъяренный Силен не хотел остаться, в долгу; он вскочил с постели, схватил горшок и, пользуясь тем, что Нидергубер спускался по лестнице, вылил ему весь запас на голову, приговаривая: "А это ты возьми себе".

Эпилог этот утешил меня несказанно.

- Видите, как хорошо я сделал, - говорил я Гаугу, - что вас остановил. Ну, что бы подобного вы могли сделать над главой несчастного корреспондента Пиетри, ведь он до второго пришествия не просохнет.

Казалось бы, дело должно было окончиться этой немецкой вендеттой, но у эпилога есть еще небольшой финал. Какой-то господин, говорят, добрый и честный, старик Винтергальтер, стал защищать Нидергубера. Он созвал комитет немцев и пригласил меня, как одного из обвинителей. Я написал ему, что в комитет не пойду, что все мне известное ограничивается тем, что Нидергубер в моем присутствии сознался Гаугу, что он деньги от префекта получал. Винтергальтеру это не понравилось; он написал мне, что Нидергубер фактически виноват, но морально чист, и приложил письмо Нидергубера к нему. Нидергубер обращал, между прочим, внимание его на странность моего поведения. "Г., - говорил он, - гораздо прежде знал от г. Рейхеля об этих деньгах и не только молчал до обвинения Таузенау, но после того еще дал мне два фунта и прислал на свой счет доктора во время болезни жены!"

Sehr gut!284 (188)

<ГЛАВА IX>. РОБЕРТ ОУЭН

Посвящено Кавелину

Ты все поймешь, ты все оценишь!

Shut up the world at large, let bedlam out,  
And you will be perhaps surprised to find  
All things pursue exactly the same route,  
As now with those of "soi-disant" sound mind,  
This I could prove beyond a single doubt  
Were there a jot of sense among mankind,  
But till that point dappui is found alas  
Like Archimedes I leave earth as it was.

Byron, Don Juan, C. XIV - 84285

I

...Вскоре после приезда в Лондон, в 1852 году, я получил приглашение от одной дамы, она звала меня на несколько дней к себе на дачу в Seven Oaks. Я с ней познакомился в Ницце, в 50 году, через Маццини. Она еще застала дом мой светлым и так оставила его. Мне захотелось ее видеть; я поехал.

Встреча наша была неловка. Слишком много черного было со мною с тех пор, как мы не видались. Если человек не хвастает своими бедствиями, то он их стыдится, и это чувство стыда всплывает при всякой встрече с прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мне руку и повела меня в парк. Это был первый старинный английский парк, который я видел, и один из великолепнейших. До него со времен Елисаветы не дотрагивалась рука человеческая; тенистый, мрачный, он рос без помехи и разрастался в своем аристократически-монастырском удалении от мира. Старинный и чисто елисаветинской архитектуры дворец - был пуст; несмотря на то что в нем (189) жила одинокая старуха барыня, никого не было видно; только седой привратник, сидевший у ворот, с некоторой важностью замечал входящим в парк, чтобы в обеденное время не ходить мимо замка. В парке было так тихо, что лани гурьбой перебежали большие аллеи, спокойно приостанавливались и беспечно нюхали воздух, приподнявши морду. Нигде не раздавался никакой посторонний звук, и вороны каркали, точно как в старом саду, у нас в Ва-сильевском. Так бы, кажется, лег где-нибудь под дерево и представил бы себе тринадцатилетний возраст... Мы вчера только что из Москвы, тут где-нибудь неподалеку старик садовник троеит мятную воду... На нас, дубравных жителей, леса и деревья роднее действуют моря и горы.

Мы говорили об Италии, о поездке в Ментону, говорили о Медичи, с которым она была коротко знакома, об Орсини, и не говорили о том, что тогда меня и ее,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
вероятно, занимало больше всего.

Ее искреннее участие я видел в ее глазах и молча благодарил ее... Что я мог ей сказать нового?

Стал перепадать дождь; он мог сделаться сильным и ". продолжительным, мы воротились домой.

В гостиной был маленький, щедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом, - с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты<sup>286</sup>.

Дочери хозяйки дома бросились к седому дедушке; видно было, что они приятели.

Я остановился в дверях сада.

- Вот, кстати, как нельзя больше, - сказала их мать, протягивая старику руку, - сегодня у меня есть, чем вас угостить. Позвольте вам представить нашего русского друга. Я думаю, - прибавила она, обращаясь ко мне, - вам приятно будет познакомиться с одним из ваших патриархов.

- Robert Owen, - сказал, добродушно улыбаясь, старик, - очень, очень рад.

Я сжал его руку с чувством сыновнего уважения; если б я был моложе, я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки. (190)

Так вот отчего у него добрый, светлый взгляд, вот отчего его любят дети... Это тот, один трезвый и мужественный присяжный "между пьяными" (как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре), который осмелился произнести *not guilty* человечеству, *not guilty* преступнику. Это тот второй чудак, который скорбел о мытаре и жалел о падшем и который, не потонувши, прошел если не по морю, то по мещанским болотам английской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращение Оуэна было очень просто; но и в нем, как в Гарибальди, середь добродушия просвечивала сила и сознание, что он - власть имущий. В его снисходительности было чувство собственного превосходства; оно, может, было следствием постоянных сношений с жалкой средой; вообще он скорее походил на разорившегося аристократа, на меньшого брата большой фамилии, чем на плебея и социалиста.

Я тогда совсем не говорил по-английски; Оуэн не знал по-французски и был заметно глух. Старшая дочь хозяйки предложила нам себя в драгоманы: Оуэн привык так говорить с иностранцами.

- Я жду великого от вашей родины, - сказал мне Оуэн, - у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели... а сил-то... а сил-то! Если б император хотел вникнуть, понять новые требования возникающего гармонического мира, как ему легко было бы сделаться одним из величайших людей.

Улыбаясь, просил я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имею надежд, чтоб Николай сделался его последователем.

- А ведь он был у меня в Ленарке.

- И, верно, ничего не понял?

- Он был тогда молод и, - Оуэн засмеялся, - и очень жалел, что мой старший сын такого высокого роста и *fié* идет в военную службу. А, впрочем, он меня приглашал в Россию.

- Теперь он стар, но так же ничего не понимает и, наверное, еще больше жалеет, что не все люди большого роста идут в солдаты. Я видел письмо, которое вы адресовали к нему, и, скажу откровенно, не понимаю, зачем вы его писали. Неужели вы в самом деле надеетесь? (191)

- Пока человек жив, не надобно в нем отчаиваться. Мало ли какое событие может

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru раскрыть душу! Ну, а письмо мое не подействует, и он бросит его, что ж за беда, я сделал свое. Он не виноват, что его воспитание и среда, в которой живет, - сделали его неспособным понимать истину. Тут надобно не сердиться, а жалеть.

Итак, этот старец свое всеотпущение грехов распространял не только на воров и преступников, а даже на Николая! Мне на минуту сделалось стыдно.

Не потому ли люди ничего не простили Оуэну, ни даже предсмертное забытье его и полуболезненный бред о духах?

Когда я встретил Оуэна, ему был восемьдесят второй год (род. 1771). Он шестьдесят лет не сходил с арены.

Года три спустя после Seven Oaks я еще раз мельком видел Оуэна. Тело отжило, ум туск и иногда бродил, разнуздавшись, по мистическим областям призраков и теней. А энергия была та же и тот же голубой взгляд детской доброты и то же упование на людей! У него не было памяти на зло, он старые счета забыл, он был тот же молодой энтузиаст, учредитель New Lanark; худо слышавший, седой, слабый, но так же проповедовавший уничтожение казней и стройную жизнь общего труда. Нельзя было без глубокого благоговения видеть этого старца, идущего медленно и неверной стопой на трибуну, на которой некогда его встречали горячие рукоплескания блестящей аудитории и на которой пожелтые седины его вызывали теперь шепот равнодушия и иронический смех. Безумный старик, с печатью смерти на лице, стоял, не сердясь, и просил кротко, с любовью час времени. Казалось, можно бы было дать ему этот час за шестидесятипятилетнюю беспорочную службу; но ему в нем отказывали, он надоел, он повторял одно и то же, а главное, он глубоко обидел толпу, он хотел отнять у нее право болтаться на виселице и смотреть, как другие на ней болтаются; он хотел у них отнять подлое колесо, которое сзади подгоняет, и отворить селлюлярную клетку, эту бесчеловечную mater dolorosa для духа, которой светская инквизиция заменила монашеские ящики с ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна камнями, но (192) и она сделалась человеколюбивее: камни вышли из моды; им предпочитают грязь, свист и журнальные статейки.

Другой старик, такой же фанатик, был счастливее Оуэна, когда слабыми, столетними руками благословлял малого и большого на Патмосе и только лепетал: "Дети! любите друг друга!" Простые люди и нищие не хохотали над ним, не говорили, что его заповедь нелепость; между этими плебеями не было золотой посредственности мещанского мира - больше лицемерного, чем невежественного, больше ограниченного, чем глупого. Принужденный оставить свой New Lanark в Англии, Оуэн десять раз переплывал океан, думая, что семена его учения лучше взойдут на новом грунте, забывая, что его расчистили квекеры и пуритане, и, наверно, не предвидя, что пять лет после его смерти джефферсоновская республика, первая провозгласившая права человека, распадется во имя права сечь негров. Не успев и там, Оуэн снова является на старой почве, стучится ста руками во все двери, у дворцов и хижин, заводит базары, которые послужат типом роч-дельского общества и кооперативных ассоциаций, издает книги, издает журналы, пишет послания, собирает митинги, произносит речи, пользуется всяким случаем. Правительства посылают, со всего мира, делегатов на "всемирную выставку" - Оуэн уже между ними, просит их взять с собой оливковую ветку, весть призыва к разумной жизни и согласию - а те не слушают его, думают о будущих крестах и табатерках. Оуэн не унывает.

Одним туманным октябрьским днем 1858 лорд Брум - очень хорошо знающий, что в ветхой общественной барке течь все сильнее, но чающий еще, что ее можно так проконопатить, что на наш век хватит, - совещался о пакле и смоле в Ливерпуле, на втором сходе Social science association<sup>288</sup>.

Вдруг делается какое-то движение, тихо несут на носилках бледного, больного Оуэна на платформу. Он через силу нарочно приехал из Лондона, чтоб повторить свою благую весть о возможности сытого и одетого общества, о возможности общества без палача. С уважением принял лорд Брум старца - они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэн и слабым голосом сказал о приближении другого времени... нового согласия, new harmony, и речь (193) его остановилась, силы оставили... Брум докончил фразу и подал знак, тело старца склонилось - он был без чувств; тихо положили его на носилки и в мертвой тишине пронесли толпой, пораженной на этот раз каким-то благоговением, она будто чувствовала, что тут начинаются какие-то не совсем обыкновенные похороны и тухнет что-то великое, святое и оскорбленное.



Прошло несколько дней, Оуэн немного оправился и одним утром сказал своему другу и помощнику Ригби, чтоб он укладывался, что он хочет ехать.

- Опять в Лондон? - спросил Ригби.

- Нет, свезите меня теперь на место моего рождения, я там сложу мои кости.

И Ригби повез старца в Монгомеришир, в Ньютоун, где за восемьдесят восемь лет тому назад родился этот странный человек, апостол между фабрикантами...

"Дыхание его прекратилось так тихо, - пишет его старший сын, один успевший еще приехать в Ньютоун до кончины Оуэна, - что я, державший его руку, едва заметил - не было ни малейшей борьбы, ни одного судорожного движения". Ни Англия, ни весь мир точно так же не заметили, как этот свидетель a decharge289 в уголовном процессе человечества перестал дышать.

Английский поп втеснил его праху отпевание вопреки желанию небольшой кучки друзей, приехавших похоронить его; друзья разошлись, Томас Олсон290 протестовал смело, благородно - and all was over291.

Хотелось мне сказать несколько слов об нем, но, унесенный общим wirbelwindom292, я ничего не сделал, трагическая тень его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за резкими событиями и ежедневной пылью - вдруг на днях я вспомнил Оуэна и мое намерение написать о нем что-нибудь.

Перелистывая книжку "Westminster Review", я нашел статью о нем и прочитал ее. всю, внимательно. Статью эту писал не враг Оуэна, человек солидный, рассудительный, умеющий отдавать должное заслугам и заслуженное недостаткам, а между тем я положил книгу с стран(194)ным чувством боли, оскорбления, чего-то душного; с чувством, близким к ненависти за вынесенное.

Может, я был болен, в дурном расположении, не понял?.. Я взял опять книжку, перечитал там-сям, - все то же действие.

"Больше чем двадцать последних лет жизни Оуэна не имеют никакого интереса для публики.

Ein unnutz Leben ist ein frfler Tod293.

Он сзывал митинги, но почти никто не шел на них, потому что он повторял свои старые начала, давно всеми забытые. Те, которые хотели узнать от него что-нибудь полезное для себя, должны были опять слушать о том, что весь общественный быт зиждется на ложных основаниях... вскоре к этому помешательству (dotage) присовокупилась вера в постукивающие духи... старик толковал о своих беседах с герцогом Кентом, Байроном, Шелли и проч...

Нет ни малейшей опасности, чтоб учение Оуэна было практически принято. Это такие слабые цепи, которые не могут держать целого народа. Задолго до его смерти начала его уже были опровергнуты, забыты, а он все еще воображал себя благодетелем рода человеческого, каким-то атеистическим мессией.

Его обращение к постукивающим духам несколько не удивительно. Люди, не получившие воспитания, постоянно переходят с чрезвычайной легкостью от крайнего скептицизма к крайнему суеверию. Они хотят определить каждый вопрос одним природным светом. Изучение, рассуждение и осторожность в суждениях им неизвестны.

Мы в предшествующих страницах, - прибавляет автор в конце статьи, - больше занимались жизнью Оуэна, чем его учениями; мы хотели выразить наше сочувствие к практическому добру, сделанному им, и с тем вместе заявить наше совершенное несогласие с его теориями. Его биография интереснее его сочинений. В то время, как первая может быть полезна и занимательна (amuse), вторые могут только сбить с толку и надоесть читателю. Но и тут мы чувствуем, что он слишком долго жил: слишком долго для себя, слишком долго для своих друзей и еще дольше для своих биографов!" (195)

Тень кроткого старца носилась передо мной; на глазах его были горькие слезы, и

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru он, грустно качая своей старой, старой головой, как будто хотел сказать: "Неужели я заслужил это?" - и не мог, а, рыдая, упал на колени, и будто лорд Брум торопился опять покрыть его и делал знак Ригби, чтобы его снесли как можно скорее назад на кладбище, пока испуганная толпа не успеет образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было так дорого и свято, и даже за то, что он так долго жил, заедал чужую жизнь, занимал лишнее место у очага. В самом деле, Оуэн, чай, был ровесником Веллингтона, этой величайшей неспособности во время мира.

"Несмотря на его ошибки, его гордость, его падение, Оуэн заслуживает наше признание". - Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь оксфордского, винчестерского или чичестерского архиерея, проклинающего Оуэна, легче для нас, чем это воздаяние по заслугам? Оттого, что там страсть, обиженная вера, а тут узенькое беспристрастие, - беспристрастие не просто человека, а судьи низшей инстанции. В управе благочиния очень хорошо могут обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, как Мирабо или фоке. Складным футом легко мерить с большой точностью холст, но очень неудобно прикидывать на него сидеральные<sup>294</sup> пространства.

Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической проверке, пристрастие нужнее справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем.

Дайте школьному педанту, если он только не наделен от природы эстетическим пониманием, - дайте ему на разбор, что хотите: "Фауста", "Гамлета", и вы увидите, как исхушает "жирный датский принц", помятый каким-нибудь гимназистом-доктринером. С цинизмом Ноева сына покажет он наготу и недостатки драм, которыми восхищается поколение за поколением.

В мире ничего нет великого, поэтического, что бы могло выдержать не глупый, да и не умный взгляд, взгляд обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и вы<sup>(196)</sup>разили так метко пословицей, что "для камердинера - нет великого человека".

"Попадись нищему лошадь, - как говорит народ и повторяет критик "Вестминстерского обозрения", - он на ней и ускачет к черту... An ex linen-draper<sup>295</sup> (это выражение употреблено несколько раз)<sup>296</sup>, который вдруг сделался (заметьте, после двадцати лет неусыпного труда и колоссальных успехов) важным лицом, на дружеской ноге с герцогами и министрами, натурально, должен был зазнаться и сделаться смешным, не имея ни большой умеренности, ни большого благоразумия". Ex linen-draper .азнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотелось перестроить свет; с этими притязаниями он разорился, ни в чем не успел и покрыл себя смехом.

И это не все. Если б Оуэн только проповедовал свой экономический переворот, это безумие простили бы ему, на первый случай, в классической стране сумасшествия. Доказательством этому служит то, что министры и архиереи, парламентские комитеты и съезды фабрикантов совещались с ним. Успех New Lanarka увлек всех, ни один государственный человек, ни один ученый не уезжал ,из Англии, не сделавши поездки к Оуэну; даже (как мы видели) сам Николай Павлович был у него и хотел сманить его в Россию, а сына его в военную службу. Толпы народа наполняли коридоры и сени зал, где Оуэн читал свои речи. Но Оуэн своей дерзостью разом, в четверть часа, уничтожил эту колоссальную популярность, основанную на колоссальном непонимании того, что он говорил, видя это, он поставил точку на i, и притом на самое опасное i.

Это случилось 21 августа 1817 года. Протестантские святоши, самые неотвязчивые и клейко скучные, давно .надоедали ему. Оуэн, сколько мог, отклонял прения с ними; но они не давали ему покоя. Какой-то инквизитор и бумажных дел фабрикант Филипс дошел в своем церковбесии до того, что в комитете парламента вдруг, ни к селу .ни к городу, середь дельных прений, пристал к Оуэну с допросом, во что он верит и во что не верит. (197)

Вместо того, чтоб отвечать бумажных дел фабриканту какими-нибудь тонкостями, как Фауст отвечает Гретхен, ex linen-draper Оуэн предпочел отвечать с высоты трибуны, перед огромнейшим стечением народа, на публичном митинге в Англии, в

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Лондоне, в Сити. в London Tavern! Он по его сторону Темпл-Бара, возле кафедрального зонтика, под которым лепится старый город, в соседстве Гога и Магога, в виду Уайт-Голль и светской кафедральной синагоги банка - объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей - Религия. "Нелепости изуверства сделали из человека слабого, одурелого зверя, безумного фанатика, ханжу или лицемера. С существующими религиозными понятиями, заключил Оуэн, - не только не устроишь предполагаемых им общинных деревень, но с ними рай - недолго устоял бы раем!"

Оуэн был до того уверен, что этот акт "безумия" был актом честности и апостольства, необходимым последствием его учения, что обнародовать свое мнение заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь - что через тридцать пять лет он писал: "Это величайший день в моей жизни, я исполнил свой долг!"

Нераскаянный грешник был этот Оуэн! Зато ему и досталось!

"Оуэна, - говорит "Westminster Review", - не разорвали на части за это: время физической мести в делах религии прошло. Но никто, даже и ныне, не может безнаказанно оскорблять дорогие нам предрассудки!"

Английские попы в самом деле не употребляют больше хирургических средств, хотя другими, более духовными, не брезгают. "С этой минуты, - говорит автор статьи, - Оуэн опрокинул на себя страшную ненависть духовенства, и с этого митинга начинается длинная перечень его неудач, сделавшая смешными сорок последних лет его жизни. He was not a martyr, but he was an outlaw!"<sup>297</sup>

Я думаю, довольно. "Westminster Review" можно положить на место; я ему очень благодарен, он мне так живо напомнил не только святого старца, но и среду, в которой он жил. Обратимся к делу, то есть к самому, Оуэну и его учению. (198)

Одно прибавлю я, прощаясь с неумытным критиком и с другим биографом Оуэна, тоже неумытным, менее строгим, но не менее солидным, что, не будучи вовсе завистливым человеком, я завидую им от всей души. Я дал бы дорого за их невозмущаемое сознание своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своим пониманием, за их иногда уступчивую, всегда справедливую, а подчас слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная уверенность и в своем знании, и в том, что они и умнее и практичнее Оуэна, что, будь у них его энергия и его деньги, они бы не наделали таких глупостей, а были бы богаты, как Ротшильд, и министры, как Палмерстон!

## II

P. Оуэн назвал одну из статей, в которых он излагал свою систему, "An attempt to change this lunatic asylum into a rational world"<sup>298</sup>.

Один из биографов Оуэна по этому случаю рассказывает, как какой-то безумный, содержащийся в больнице, говорил: "Весь свет меня считает поврежденным, а я весь свет считаю таким же; беда моя в том, что большинство со стороны всего света".

Это пополняет заглавие Оуэна и бросает яркий свет на все. Мы уверены, что биограф не рассудил, насколько берет и как далеко бьет его сравнение. Он только хотел намекнуть на то, что Оуэн был сумасшедший, и мы спорить об этом не станем... но с чего же он весь свет-то считает умным - этого мы не понимаем.

Оуэн если был сумасшедшим, то вовсе не потому, что его свет считал таким и он ему платил той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живет в доме умалишенных и окружен больными, он шестьдесят лет говорил с ними, как с здоровыми.

Число больных тут ничего не значит, ум имеет свое оправдание не в большинстве голосов, а в своей логической самозаконности. И если вся Англия будет убеждена, что такой-то medium призывает духи умерших, а один (199) фаредей скажет, что это вздор, то истина и ум будут с его стороны, а не со стороны всего английского населения. Еще больше, если и фаредей не будет этого говорить, тогда истина об этом предмете совсем существовать не будет как сознательная, но тем не меньше единогласно принятая целым народом нелепость - все же будет нелепость.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, в лжи или в истине, а потому, что оно сильно, и потому, что ключи от Бедлама у него в руках.

Сила не заключает в своем понятии сознательности, как необходимого условия, напротив, она тем непреодолимее – чем безумнее, тем страшнее – чем бессознательнее. От поврежденного человека можно спастись, от стада бешеных волков труднее, а перед бессмысленной стихией человеку остается сложить руки и погибнуть.

Поступок Оуэна, поразивший ужасом Англию 1817 года, не удивил бы в 1617 родину Ванини и Джордано Бруно, не скандализировал бы в 1717 ни Германию, ни Францию, а Англия не может через полвека вспомнить об нем без раздражения. Может быть, где-нибудь в Испании монахи взбунтовали бы против него дикую чернь или инквизиционные алгвазиль посадили бы его в тюрьму, сожгли бы на костре; но очеловеченная" часть общества была бы за него...

Разве Гёте и Фихте, Кант и Шиллер, наконец Гумбольдт в наше время и Лессинг сто лет тому назад скрывали свой образ мыслей или имели бессовестность проповедывать шесть дней в неделю в академиях и книгах свою философию, а на седьмой фарисейски слушать проповедь и морочить толпу, la plebe, своим благочестивым христианством?

Во Франции то же самое: ни Вольтер, ни Руссо, ни Дидро, ни все энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лаплас, ни Конт не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговейно перед "дорогими предрассудками", и это ни на одну йоту не унизило, не умалило их значения.

Политически поработанный материк нравственно свободнее Англии; масса идей и сомнений, находящихся в обороте, гораздо обширнее; к ней привыкли, общество не (200) трепещет ни страхом, ни негодованием перед свободным человеком

Wenn er die Kette bricht<sup>299</sup>.

Люди материка беспомощны перед властью, выносят цепи, но не уважают их. Свобода англичанина больше в учреждениях, чем в нем, чем в его совести; его свобода в common law<sup>300</sup>, в habeas corpus<sup>301</sup>, а не в нравах, не в образе мыслей. Перед общественным предрассудком гордый британец склоняется без ропота, с видом уважения. Само собою разумеется, что везде, где есть люди, там лгут и притворяются; но не считают откровенности пороком, не смешивают смело высказанное убеждение мыслителя с неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своим падением; но не подымают лицемерия на степень общественной и притом обязательной добродетели<sup>302</sup>.

Конечно, ни Давид Юм, ни Гиббон не лгали на себя мистических верований. Но Англия, слушавшая Оуэна в 1817 году, была не та, во времени и в глубине. Цена понимания расширилась и не был больше ограничен отборным венком образованных аристократов и литераторов. С другой стороны, она лет пятнадцать просидела в селлюлярной тюрьме, запертая в нее Наполеоном, и, с одной стороны, выдвинулась из потока идей, а с другой – жизнь вдвинула вперед огромное большинство мещанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. В новой Англии люди, как Байрон и Шеллей, бродят иностранцами; один просит у ветра нести его куда-нибудь, только не на родичу; у другого судьи, с помощью обезумевшей от изуверства семьи, отбирают детей, потому что он не верит в бога.

Итак, нетерпимость против Оуэна не дает никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности"его уче(201)ния; она только дает меру безумия, то есть нравственной несвободы Англии, и в особенности того слоя, который ходит по митингам и пишет журнальные статейки.

Ум количественно всегда должен будет уступить, он на вес всегда окажется слабейшим; он, как северное сияние, светит далеко, но едва существует. Ум последнее усилие, вершина, до которой развитие не часто доходит, оттого-то он силен, но не устоит против кулака. Ум как сознание может вовсе не быть на земном шаре; он едва родился в сравнении с маститыми альпийскими старцами, свидетелями и участниками геологических революций. В дочеловеческой, в околочеловеческой природе нет ни ума, ни глупости, а необходимость условий, отношений и последствий. Ум мутно глядит в первый раз молочным взглядом животного, он медленно мужает, вырастает из своего ребячества, проходя стадной и семейной

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
жизнию рода человеческого. Стремление пробиться к уму из инстинкта – постоянно является вслед за сытостью и безопасностью; так что в какую бы минуту мы ни остановили людское сожигание, мы поймем его на этих усилиях достигнуть ума – из-под власти безумия. Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать; история, как поэма Ариоста, несется зря, двадцатью эпизодами; бросаясь туда, сюда, с тем тревожным беспокойством, которое уже бесцельно волнует обезьяну и которого почти совсем нет у низших зверей, этих довольных животного царства.

Слово lunatic asylum<sup>303</sup> Оуэн, само собою разумеется, употребил comme une manière de dire<sup>304</sup>. Государства не дома сошедших с ума, а дома не взшедших в ум. Практически, впрочем, он мог употребить это выражение... не делая ошибки. Яд или огонь в руках трехлетнего ребенка так же страшен, как в руках тридцатилетнего сумасшедшего. Разница в том, что безумие одного – состояние патологическое, другого – степень развития, состояние эмбриогеническое. Устрица представляет ту степень развития организма, на которой животное еще не имеет ног, она фактически безногая, но вовсе не так, как зверь, у которого ноги отняты. Мы знаем (но устрица этого не знает), что при хороших обстоятельствах органические по(202)пытки дойдут до ног и до крыльев, и смотрим на неразвитые формы моллюска как на одну из растущих, прибывающих волн прилива, в то время как форма искаженная возвращается с отливом в стихийный океан и составляет частный случай смерти или агоний.

Оуэн, убедившись, что организму в тысячу раз удобнее иметь ноги, руки, крылья, чем постоянно дремать в раковине, понимая, что из тех же самых бедных, но уже существующих частей организма есть возможность развить эти оконечности, – до того увлекся, что вдруг стал проповедовать устрицам, чтоб они взяли свои раковины и пошли за ним. Устрицы обиделись и сочли его антимоллюском, то есть безнравственным в смысле раковинной жизни, и прокляли его.

"...Характер человека существенно определяется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства общество может легко так устроить, чтоб они способствовали наилучшему развитию умственных и практических способностей, сохраняя притом все бесконечное разнообразие личностей и соображаясь с многообразием физической и умственной натуры".

Все это понятно, и надобно иметь редкую степень тупоумия, чтоб возражать на этот тезис Оуэна. Да на него, заметьте, никто и не возражает. Возражение большинством – не ответ, а насилие; возражение, что это безнравственно или несогласно с такой-то традиционной религией или с иной, тоже не опровержение. В худшем случае такие ответы могут только доказать двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вред правды. Истина не подлежит этому суду, ее критериум не тут.

Ахиллова пята Оуэна не в ясных и простых основаниях его учения, а в том, что он думал, что обществу легко понять его простую истину. Думая так, он впал в святую ошибку любви и нетерпения, в которую впадали все преобразователи и предтечи переворотов от Иисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сен-Симона и Фурье.

Хроническое недоумие в том и состоит, что люди под влиянием исторического преломления лучей и разных нравственных параллакс<sup>305</sup>ов всего меньше понимают простое, а готовы верить и еще больше верить, что понимают вещи очень сложные и совершенно непонятные, но традиционные, привычные и соответствующие детской фантазии... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воз(203)духом положительно проще дышать, чем водой, но для этого надобно иметь легкие; а где же им развиться у рыб, которым нужен сложный дыхательный снаряд, чтоб достать немного кислорода из воды. Среда им не позволяет, их не вызывает на развитие легких, она слишком густа и иначе составлена, чем воздух. Нравственная густота и состав, в котором выросли слушатели Оуэна, обусловили у них свои духовные жабры, дышать более чистой и редкой средой должно было произвести боль и отвращение.

Не думайте, что тут только внешнее сравнение, тут истинная аналогия одинаких явлений в разных возрастах и разных слоях.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте – кому? Той толпе, которая наполняет до давки колоссальный трансепт<sup>305</sup> Кристального дворца, слушая с жадностью и рукоплесканием проповеди какого-то плоского средневекового бакалавра, попавшего, не знаю как, в наш век и обещающего толпе кары небесные и бедствия земные на вульгарном языке шиллеровского капуцина в "Wallen-Steins Lager"?

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Для них не легко!

Люди отдают долю своего достоинства и своей воля, подчиняются всякого рода властям и требованиям, вооружают целые толпы тунеядцев, строят суды, тюрьмы и страшат виселицей, строят церкви и страшат адом. Словом, делают всё так, чтоб, куда человек ни обернулся, перед его глазами был бы или палач земной, или палач небесный, один с веревкой, готовый все кончить, другой с огнем, готовый жечь всю вечность. Цель всего этого – сохранить общественную безопасность от диких страстей и преступных покушений, как-нибудь удержать в русле общественной жизни необузданные покушения, вырваться из него.

А тут является чудак, который прямо и просто говорит, да еще с какой-то обидной наивностью, что все это вздор, что человек вовсе не преступник *par le droit de naissance*<sup>306</sup>, что он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они – суду не подлежит, а воспитанию – очень. И это не все, он перед лицом судей и попов, (204) имеющих единственным основанием, единственной достаточной причиной своего существования – грехопадение, наказание и отпущение, всенародно объявляет, что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить со дня рождения в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет, так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, а лицо.

И Оуэн воображал, что это легко понять?

Разве он не знал, что нам легче себе вообразить кошку, повешенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетным ошейником за оказанное усердие при поимке укрывшегося зайца, чем ребенка, не наказанного за детскую шалость, не говоря уже о преступнике. Примириться с тем, что мстить всем обществом преступнику мерзко и глупо, что целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно – ужасно трудно, не по нашим жабрам! Резко!

В боязливом упорстве массы, в тупом отстаивании старого, в консервативной цепкости ее есть своего рода темное воспоминание, что виселица и покаяние, смертная казнь и бессмертие души, страх божий и страх власти, уголовная палата и страшный суд, царь и жрец, что все это были некогда огромные шаги вперед, огромные ступени вверх, великие *Errungenschaften*<sup>307</sup>, подмости, по которым люди, выбиваясь из сил, взбирались к покойной жизни, кояги, на которых подплывали, сами не зная дороги, к гавани, где бы можно было отдохнуть от тяжелой борьбы со стихиями, от земляной и кровавой работы, можно было бы найти бестревожный досуг и святую праздность – этих первых условий прогресса, свободы, искусства и сознания!

Чтоб сберечь этот дорого доставшийся покой, люди обставили свои гавани всякого рода пугалами и дали своему царю в руки палку, чтоб погонять и защищать, а жрецу – власть проклинать и благословлять.

Одолеевшее племя, естественно, кабалило себе племя покоренное и на его рабстве основывало свой досуг, то (205) есть свое развитие. Рабством собственно началось государство, образование, человеческая свобода. Инстинкт самосохранения навел на свирепые законы, необузданная фантазия доделала остальное. Предания, переходя из рода в род, покрывали больше и больше цветными туманами начала, и подавляющий владыка, так же как подавленный раб, склонялся с ужасом перед заповедями и верил, что при блеске молнии и треске грома их диктовал Иегова на Синае или что они были внушены человеку, избранному каким-нибудь паразитным духом, живущим в его мозгу.

Если свести все разнообразные основы этих краеугольных камней, на которых выводились государства, на главные начала; освобождая их от фантастического, детского, принадлежащего к возрасту, то мы увидим, что они постоянно одни и те же, соприносящи всякой церкви и всякому государству, декорации и формы меняются, но начала те же.

Дикая расправа царя-зверолова в Африке, который собственноручно прирезывает преступника, совсем не так далека от расправы судьи, доверяющего другому убийство. Дело в том, что ни судья в шубе, в белом парике, с пером за ухом, ни голый африканский царь, с пером в носу и совершенно черный, – не сомневаются,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru что они это делают для спасения общества, и не только имеют право в иных случаях убивать, но и священный долг.

Нескладная бессмыслица, произносимая каким-нибудь "лесным заклинателем, и складный вздор, произносимый каким-нибудь архиереем или первосвященником, также похожи друг на друга. Существенное не в том, как кто ворожит и каких духов призывает, а в том, допускают ли они, или нет какой-то заграничный мир, которого никто не видал, мир – действующий без тела, рассуждающий без мозга, чувствующий без нерв и имеющий влияние на нас не только после нашего перехода в эфирное состояние, но и при теперешнем податном состоянии? Если допускают, остальное – оттенки и подробности: египетские боги с собачьей мордой и греческие с очень красивым лицом, бог Авраама, бог Иакова, бог Иосифа Маццини, бог Пьера Леру, это все тот же бог, так ясно определенный в алкоране: "Бог есть бог".

Чем развитее народ, тем развитее его религия, но с тем вместе, чем религия дальше от фетишизма, тем она (206) глубже и тоньше проникает в душу людей. Грубый католицизм и позолоченный византизм не так суживают ум, как тощий протестантизм; а религия без откровения, без церкви и с притязанием на логику почти неискоренима из головы поверхностных умов, равно не имеющих ни довольно сердца, чтоб верить, ни довольно мозга, чтоб рассуждать308.

Тоже самое и в юридической церкви. Царь звероловов, исполняющий бердышом или топором свой приговор, близок к тому, что виновный или подсудимый, если у него бердыш длиннее, предупредит его. Сверх того, юрист с пером в носу, вероятно, будет казнить зря, по пристрастию, толпа будет роптать и, наконец, взбунтуется открыто или подчинится суду страдательно и без веры, как подчиняется человек чуме или наводнению. Но там, где нет лицепрития, где суд честен, то есть верен своим началам, что вовсе не мешает началам быть неверными, там он становится вдвое незыблее, и никто не сомневается в нем, не исключая самого пациента, который печально (207) отправляется на виселицу, уверенный, что так и надобно, что они дело делают, вешая его.

Сверх страха воли, того страха, который дети чувствуют, начиная ходить без помочей, сверх привычки к этим поручням, облитым потом и кровью, к этим ладьям, сделавшимся ковчегами опасения, в которых народы пережили не один черный день, – есть еще сильные контрфорсы, поддерживающие ветхое здание. Незрелость масс, не умеющих понимать, с одной стороны, и корыстный страх – с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок. Образованные сословия, противно своим убеждениям, готовы сами ходить на веревке, лишь бы не спускали с нее толпу.

Оно и в самом деле не совсем безопасно.

Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX век, а внизу разве XV, да и то не в самом низу, там уж готтентоты и кафры различных цветов, пород и климатов.

Если в самом деле подумать об этой цивилизации, которая оседает лаццаронами и лондонской чернью, людьми, свернувшими с полдороги и возвращающимися к состоянию лемунов и обезьян, в то время как на вершинах ее цветут бездарные Меровинги всех династий и тщедушные астеки всех аристократий, – действительно голова закружится. Вообразите себе этот зверинец на воле, без церкви, без инквизиции и суда, без попа, царя и палача!

Оуэн считал ложью, то есть отжившей правдой, вековые твердыни теологии и юриспруденции, и это понятно; но когда он под этим предлогом требовал, чтоб они сдались, он забыл храбрый гарнизон, защищающий крепость. Ничего в мире нет упорнее трупа, его можно убить, разбить на части, но убедить нельзя. К тому же на нашем Олимпе сидят уж не сговорчивые, не разгульные боги Греции, которым, по словам Лукиана, пока они придумывали меры против атеизма, пришли доложить, что дело их проиграно и что в Афинах доказали, что их нет, а они поблбднели, улетучились и исчезли. Греки – люди и боги, были проще. Греки верили в здору, играли в мраморные куклы из детской артистической потребности, а мы из процентов, из барышей поддерживаем иезуитов и old shop309, в обуздание народа и обеспечение эксплуатации его. Какая же логика тут возьмет? (208)

Это приводит нас к вопросу не о том, прав или не прав Р. Оуэн, а о том, совместны ли вообще разумное сознание и нравственная независимость с государственным бытом.

История свидетельствует, что общества постоянно достигают разумной аутономии, но свидетельствуют также, что они остаются в нравственной неволе. Разрешимы эти вопросы или нет, сказать трудно; их не решишь сплеча, особенно одной любовью к людям и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всех сферах жизни мы наталкиваемся на неразрешимые антиномии, на эти асимптоны, вечно, стремящиеся к своим гиперболам, никогда не совпадая с ними. Это крайние грани, между которыми колеблется жизнь, движется и утекает, касаясь то того берега, то другого.

Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести, - не новость; они являлись обличителями и пророками во всех сколько-нибудь назревших цивилизациях, особенно когда они старели. Это высший предел, перехватывающая личность, явление исключительное и редкое, как гений, как красота, как необыкновенный голос. Опыт не доказывает, чтоб их утопии были осуществяемы.

У нас перед глазами страшный пример. С тех пор, как род человеческий запомнит себя, не встречалось никогда такого стечения счастливых обстоятельств для разумного и свободного развития государственного, как в Северной Америке; все мешающее на истощенной исторической почве или на почве вовсе неведомой - отсутствовало. Учение великих мыслителей и революционеров XVIII века - без французской военщины; английский common law - без каст, легли в основу их государственного быта. Чего же больше? Все, о чем мечтала старая Европа: республика, демократия, федерация, самозаконность каждого клочка и - едва связывающий общий правительственный пояс с слабым узлом в середине.

Что же вышло из всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую власть; сам народ исполняет должность Николая Павловича, III отделения и палача; народ, объявивший восемьдесят лет тому назад "права человека", распадается из-за "права сечь". Преследования и гонения в Южных штатах, поставивших на своем знамени (209) слово Рабство, так, как некогда Николай ставил на своем слово Самодержавие, - за образ мысли и слова, не уступают в гнусности тому, что делал неаполитанский король и венский император.

В Северных штатах "рабство" не возведено в догмат религии; но каков уровень образования и свободы совести в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтоб заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квекеров!

В формах более мягких мы то же встречаем в Англии и в Швеции. Чем страна свободнее от правительственного вмешательства, чем больше признаны ее права на слово, на независимость совести - тем нетерпимее делается толпа, общественное мнение становится застенком; ваш сосед, ваш мясник, ваш портной, семья, клуб, приход держат вас под надзором и исправляют должность квартального. Неужели только народ, не способный к внутренней свободе, может достигнуть свободных учреждений? Или не значит ли это, наконец, что государство развивает постоянно потребности и идеалы, достижение которых исполняет деятельность лучшие умы, но которых осуществление несовместимо с государственной жизнью?

Мы не знаем решения этого вопроса; но считать его решенным не имеем права. История до сих пор его решает одним образом; некоторые мыслители, и в том числе Р. Оуэн, - иначе. Оуэн верит несокрушимой верой мыслителей XVIII столетия (прозванного веком безверия), что человечество накануне своего торжественного облечения в вирильную тогу. А нам кажется, что все опекуны и пастухи, дядьки и мамки могут спокойно есть и спать на счет недоросля. Какой бы вздор народы ни потребовали, на нашем веку они не потребуют права совершеннолетия. Человечество еще долго проходит с отложными воротничками a l'enfant310.

Причин на это бездна. Для того чтоб человеку образумиться и прийти в себя, надобно быть гигантом; да, наконец, и никакие колоссальные силы не помогут пробиться, если быт общественный так хорошо и прочно сложился, как в Японии или Китае. С той минуты, когда младенец, улыбаясь, открывает глаза у груди своей матери, до тех пор, пока, примирившись с совестью и богом, он так же спокойно закрывает глаза, уверенный, что, пока он спит, его перевезут в обитель, где нет ни плача, ни воздыхания, - все так улажено, чтоб он не развил



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru ни одного простого понятия, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Он с молоком матери сосет дурман; никакое чувство не остается не искаженным, не сбитым с естественного пути. Школьное воспитание продолжает то, что сделано дома, оно обобщает оптический обман, книжно упрочивает его, теоретически узаконивает традиционный хлам и приучает детей к тому, чтоб- они знали, не понимая, и принимали бы названия за определения.

Сбитый в понятиях, запутанный словами, человек теряет чутье истины, вкус природы. Какую же надобно иметь силу мышления, чтоб заподозрить этот нравственный чад и уже с кружением головы броситься из него на чистый воздух, которым вдобавок стращают все вокруг! На это Оуэн отвечал бы, что он именно потому и начинал свое социальное перерождение людей не с фаланстера, не с Икарии, а со школы, - со школы, в которую он брал детей с двухлетнего возраста и меньше.

Оуэн был прав, и еще больше, - он практически доказал, что он был прав, перед New Lanarkом противники Оуэна молчат. Этот проклятый New Lanark вообще костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике. "Что сделал Консидеран с Брейсбенном, что монастырь Сито, что портные в Клиши и Vanque du peuple Прудона?" Но против блестящего успеха New Lanarka сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды - все выходило с удивлением и благоговением из школы. Доктор герцога Кентского, скептик, говорил о Lanarke с улыбкой. Герцог, друг Оуэна, советовал ему съездить самому в New Lanark. Вечером доктор пишет герцогу: "Отчет я -оставляю до завтра; я так взволнован и тронут тем, что видел, что не могу еще писать; у меня несколько раз навертывались слезы на глазах". На этом торжественном признании я и жду моего старика. Итак, он доказал свою мысль на деле, - он был прав. Пойдемте далее.

New Lanark был на вершине своего благосостояния. Неутомимый Оуэн, несмотря ни на лондонские поездки, (211) ни на митинги, ни на беспрерывные посещения всех знаменитостей Европы, даже, как мы сказали, самого Николая Павловича - с той же деятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостоянием работников, между которыми развивал общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, он обанкротился? Учители перессорились, дети избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатели, школа процветала. Но одним добрым утром в эту школу вошли какие-то два черных шута, в низеньких шляпах, в намеренно дурно сшитых сертуках: это были двое квекеров, такие же собственники New Lanarka, как и сам Оуэн. Насупили они брови, видя веселых детей, нисколько не горюющих о грехопадении; ужаснулись, что маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавание какого-то своего катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов. Ревность о господе успокоилась на время: так греховная цифра была велика. Но совесть квекеров проснулась опять, и они еще настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать, ни светскому пению, а раскольничьему катехизису непременно.

Оуэн, у которого хоры, правильные эволюции и танцы играли важную роль в воспитании, не согласился. Были долгие прения; квекеры решились на этот раз упрочить свои места в раю и требовали введения псалмов и каких-то штанишек детям, ходившим по-шотландски. Оуэн понял, что крестовый поход квекеров на этом не остановится. "В таком случае, - сказал он им, - управляйте сами; я отказываюсь". Он не мог иначе поступить.

"Квекеры, - говорит биограф Оуэна, - вступив в управление New Lanarkом, начали с того, что уменьшили плату и увеличили число часов работы".

New Lanark пал!

Не надобно забывать, что успех Оуэна раскрывает еще одну великую историческую новость, именно ту, что бедный и подавленный работник, лишенный образования, с детства приученный к пьянству и обману, к войне с обществом, только сначала противудействует нововведениям, и то из недоверия; но как только он убеждается в том, что перемена не во вред ему, что при ней и он не забыт, он следует с покорностью, потом с доверчивой любовью. (212)

Среда, служащая тормозом, - не тут. Гейнц, литературный холоп Меттерниха, за

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
обедом во Франкфуркте сказал Роберту Оуэну:

- Положим, что вы бы успели, - что же бы из этого вышло?

- Очень просто, - отвечал Оуэн, - вышло бы то, что каждый был бы сыт, хорошо одет и получил бы дельное воспитание.

- Да ведь этого-то именно мы и не хотим, - заметил Цицерон Венского конгресса. Гейнц, чего нет другого, был откровенен.

С той минуты, как попы, лавочники догадались, что потешные роты работников и учеников - дело очень серьезное, гибель New Lanark была неминуема.

И вот отчего падение небольшой шотландской деревушки, с фабрикой и школой, имеет значение исторического несчастья. Развалины оуэнского New Lanark наводят на нашу душу не меньше грустных дум, как некогда другие развалины наводили на душу Мария; с той разницей, что римский изгнанник сидел на гробе старца и думал о суете суетствий; а мы то же думаем, сидя у свежей могилы младенца, много обещавшего и убитого дурным уходом и страхом - что он потребует наследства!

### III

Итак, Р. Оуэн был прав перед разумом; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Им только недоставало пониманья со стороны слушавших его.

- Это дело времени, когда-нибудь люди поймут.

- Я не знаю.

- Нельзя же думать, чтоб люди никогда не дошли до пониманья своих собственных выгод.

Однако до сих пор было так; этот недостаток пониманья восполнялся церковью и государством, то есть двумя главнейшими препятствиями к дальнейшему развитию. Это логический круг, из которого очень трудно выйти. Оуэн воображал, что достаточно людям указать на отжившую нелепость их, чтоб люди освободились, - и ошибся. Нелепость их, особенно церкви, очевидна; но это им нисколько не мешает. Несокрушимая твердость их осно(213)вана не на разуме, а на недостатке его, и потому они почти так же мало зависят от критики, как горы, леса, скалы. История развивалась нелепостями; люди постоянно стремились за бреднями, - а достигали очень действительных последствий. Наяву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небе, то небо на земле, а по дороге пели свои вечные песни, украшали храмы своими вечными изваяниями, построили Рим и Афины, Париж и Лондон. Одно сновидение уступает другому; сон становится иногда тоньше, но никогда не проходит. Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать; но они с ужасом отпрядают, когда между двумя религиями в раскрытую щель, в которую проходит дневной свет, дунет на них свежий ветер разума и критики. Если б, например, Р. Оуэн хотел исправить англиканскую церковь, ему так же бы удалось, как унитариям, квекерам и не знаю кому. Перестроивать церковь, ставить алтарь за перегородку или без перегородки, вынести образа или принести их еще больше, - это все можно, и тысячи пойдут за реформатором; но Оуэн хотел вести вон из церкви, - тут sta, viator!311 тут рубеж. До границы легко идти, труднейшее во всякой стране - это перейти ее; особенно, когда сам народ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь истории, как только накапливалось немного образования, попытки эти были; несколько человек просыпались, протестовали против спящих, заявляли, что они наяву, но других добудиться не могли. Появление их доказывает, без малейшего сомнения, возможность человека развиваться до разумного пониманья. Но этим не разрешается наш вопрос, может ли это исключительное развитие сделаться общим? Наведение, которое нам дает прошедшее, не в пользу положительного решения. Разве будущее пойдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его. Открытие Америки равняется геологическому перевороту; железные дороги, электрический телеграф изменили все человеческое отношения. То, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет; но, принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru почувствовали потребность(214) здорового смысла. Развитие мозга требует своего времени. В природе нет торопливости; она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю Исторического бреда ей станет надолго, им же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной в других сферах.

Люди, которые поняли, что это сон, воображают, что проснуться легко, сердятся на спящих, не соображая, что весь мир, их окружающий, не позволяет им проснуться. Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тут Роберт Оуэн поможет? Из вздора люди страдают с самоотвержением, из вздора идут на смерть, из вздора убивают других. В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается. Если ему досуг от работы, он торопится свить семейные сети, вьет их совершенно случайно, сам попадает в них, стягивает других, и если не должен спасаться от голодной смерти каторжной, нескончаемой работой, то начинает ожесточенное преследование жены, детей, родных или сам преследуете ими. Так люди гонят друг друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, делая ненавистными священнейшие связи. Когда же тут образумиться? Разве по другую сторону семьи, за ее гробом, когда человек все потерял, и энергию, и свежесть мысли, когда он ищет одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы целого муравейника или одного муравья отдельно; вникните в его домогательства и цели, в его радости и горе, в его понятия о добре и зле, о чести и позоре, – во все, что он делает в продолжение всей жизни, с утра до ночи; взгляните, на что он посвящает последние дня и чему жертвует лучшими мгновениями своей жизни, – вас обдаст детской, с ее лошадками на колесах, с блестящими и фольгой, с куклами, поставленными в угол, и с розгами, поставленными в другой. В ребячьем лепете слышится иной раз проблеск дела; но он теряется в детской рассеянности. Остановиться, обдуматься нельзя – дела расстроишь, отстанешь, будешь затерт; все слишком компрометировались, и все слишком быстро несутся, чтоб можно было остановиться, особенно (215) перед горстью людей, без пушек, без денег, без власти, протестующих во имя разума, не подтверждая даже своей истины чудесами.

Ротшильду или Монтефиоре надобно с утра в бюро, чтоб начать капитализацию сотога миллиона; в Бразилии мор, в Италии война, Америка распадается – все идет прекрасно; а тут ему говорят о безответственности человека и о ином распределении богатств – разумеется, он не слушает. Мак-Магон дни, ночи обдумывал, как вернее, в самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны; истребил их больше, чем думал, все его поздравляют, даже ирландцы, которые в качестве папистов побиты им, а ему говорят, что война – не только отвратительная нелепость, но и преступление. Разумеется, вместо того чтоб слушать, он станет любоваться мечом, поднесенным Ирландией.

В Италии я был знаком с одним стариком, главою богатого банкирского дома. Раз, поздно ночью, мне не спалось, я пошел гулять и возвращался, часу в пятом утра, мимо его дома. Работники выкатывали из подвалов бочонки с сливовым маслом для отправки морем. Старик банкир, в теплом сертуке, стоял с бумагой в руке, отмечая каждый бочонок. Утро было свежо, он зябнул.

– Вы уже встали? – сказал я ему.

– Я здесь больше часа, – отвечал он, улыбаясь и протягивая руку.

– Да вы замерзли, как в России.

– Что делать, стар становлюсь, силы отказывают. Приятели-то ваши (то есть его сыновья) спят еще, небось, – и пусть поспят, пока старик еще жив. А без собственного надзора нельзя. Я прежнего покроя человек, много нагляделся: пять революций, апісо тіо312. видел, возле прошли; а я за своей работой все так же: отпущу масло, пойду в контору. Я и кофей там пью, – прибавил он.

– И так до самого обеда?

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
- До самого обеда.

- Вы не балуете себя.

- А, впрочем, скажу вам откровенно, тут много делает привычка. Мне скучно без дела. (216)

"Не нынче-завтра он умрет. Кто же будет масло отпускать, как пойдет дом? думал я, оставив его. - Разве, к тем порам, старший сын тоже сделается человеком прежнего покроя и тоже будет скучать без дела и вставать в четыре часа. Так и пойдет одна тысяча золотых к другой, до тех пор, пока кто-нибудь из династов, и наверное самый лучший, проиграет все в карты или поднесет лоретке". - "Родители-то какие были! - скажут добрые люди, - они отказывали во всем себе и другим тоже и все копили про детей. А вот блудный сын!.."

Ну, где ж тут скоро добраться сквозь эту толщу нелепости до живого мяса?

Этим людям, занятым службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, - Р. Оуэн проповедовал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни. Убедить их он не мог, а озлобил их и опрокинул на себя всю нетерпимость непонимания. Один разум долготерпелив и милосерд, потому что он понимает.

Биограф Р. Оуэна очень верно судил, говоря, что он разрушил свое влияние, отрекаясь от религии. Действительно, стукнувшись о церковную ограду, ему следовало остановиться, а он перелез на другую сторону и остался там один-одинехонек, провожаемый благочестивым ругательством. Но нам кажется, что рано или поздно он точно так же остался бы и за другим черепком раковины один и outlaw!313

Толпа только потому не освиrepела на него с самого начала, что государство и суд не так популярны, как церковь и алтарь. Но за право наказания вступились бы, а la longue, люди получше подкованные, чем богобеснующиеся квекеры и фельетонные святоши.

О церковном учении и истинах катехизиса никто, уважающий себя, не спорит, зная вперед, что они не могут выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать постное зачатие девы Марии или уверять, что геологические исследования Моисея сходны с исследованиями Мурчисона. Светские церкви гражданского и уголовного суда и догматы юридического катехизиса стоят гораздо тверже и пользуются, впредь до рассмотрения, правами доказанных истин и незыблемых аксиом. (217)

Люди, опрокинувшие алтари, не дерзали коснуться до зеркала. Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие бога по имени - Разумом, были так же уверены во всех salutis roruli314 и других гражданских заповедях, как средневековые попы в каноническом праве и в необходимости жечь колдунов.

Давно ли один из сильнейших, из самых смелых мыслителей нашего века, для того чтоб нанести церкви последний удар, секуляризовал ее в трибунал и, вырывая из рук жрецов Исаака, приготовляемого на заклятие богу, отдал его под суд, то есть на заклятие справедливости?

Вековой спор, спор тысячелетний о воле и предопределении не кончен. Не один Оуэн в наше время сомневался в ответственности человека за его поступки; следы этого сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и у врачей и, что всего важнее, у всех занимающихся статистикой преступлений. Во всяком случае, спор не решен, но о том, что преступника наказывать справедливо и, притом, по мере преступления, об этом и спору нет, это всякий сам знает!

С которой же стороны lunatic asylum?

"Наказание есть неотъемлемое право преступника", сказал сам Платон.

Жаль, что он сам сказал этот каламбур, но, впрочем, мы не обязаны с Аддисоновым "Катоном" приговаривать ко всему: "Ты прав, Платон, ты прав", даже и тогда, когда он говорит, что "наш дух не умирает".

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Если быть выпоронному или повешенному составляет право преступника, пусть же он сам и предъявляет его, если оно нарушено. Права втеснять не надобно.

Бентам называет преступника дурным счетчиком; понятно, что кто обчелся, тот должен нести последствия ошибки, но ведь это – не право его. Никто не говорит, что. если вы стукнулись лбом, то вы имеете право на синее пятно, и нет особого чиновника, который бы посылал фельдшера сделать это пятно, если его нет. Спиноза еще проще говорят о могущей быть необходимости убить человека, мешающего жить другим, "так, как убивают бешеную собаку". Это понятно. Но юристы или так неоткровенны, или так забили свой ум, что они казнь вовсе не (218) хотят признать обороной или мстью, а каким-то нравственным вознаграждением, "восстановлением равновесия"; На войне дела идут прямее: убивая неприятеля, солдат не ищет его вины, не говорит даже, что это справедливо, а кто кого сможет, тот того и повалит.

- Но с этими понятиями придется затворить все суды.
- Зачем? Делали же из базилик приходские церкви; не попробовать ли теперь их отдать под приходские школы?
- С этими понятиями о безнаказанности не устоит ни одно правительство.
- Оуэн мог бы как первый исторический брат на это отвечать: "Разве мне было поручено упрочивать правительства?"
- Он в отношении правительств был очень уклончив и умел ладить с коронованными головами, с министрами-тори и с президентом американской республики.
- А разве он был дурен с католиками или протестантами?
- Что ж, вы думаете, Оуэн был республиканец?
- Я думаю, что Роберт Оуэн предпочитал ту форму правительства, которая наиболее соответствует принимаемой им церкви.
- Помилуйте, у него никакой нет церкви.
- Ну, вот видите.
- Однако нельзя быть без правительства.
- Без сомнения; хоть какое-нибудь дрянное, да надобно. Гегель рассказывает о доброй старухе, говорившей:  
"Ну, что ж, что дурная погода, все лучше чтоб была дурная, чем если б совсем погоды не было!"
- Хорошо, смейтесь, да ведь государство погибнет без правительства.
- А мне что за дело!

#### IV

Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением сильной правительственной власти. (219)

Декреты приготовлявшегося правительства уцелели с своим заголовком:

Egalite Liberte

Bonheur Commun<sup>315</sup>.

к которому иногда прибавляется в виде пояснения: "Он la mort!"<sup>316</sup>

Декреты, как и следует ожидать, начинаются с декрета полиции.

1. Лица, ничего не делающие для отечества, не имеют никаких политических прав, это иностранцы, которым республика дает гостеприимство.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

2. Ничего не делают для отечества те, которые не служат ему полезным трудом.

3. Закон считает полезными трудами:

Земледелие, скотоводство, рыбную ловлю, мореплавание.

Механические и ручные работы.

Мелкую торговлю (la vente en detail).

Извоз и ямщество.

Военное ремесло.

Науки и преподавание.

4. Впрочем, науки и преподавание не будут считаться полезными, если лица, занимающиеся ими, не представят в данное время свидетельство цивилизма, написанное по определенной форме.

6. Иностранцам воспрещается вход в публичные собрания.

7. Иностранцы находятся под прямым надзором высшей администрации, которой предоставляется право высылать их с места жительства и отправлять в исправительные места.

В декрете о "работах" все расписано и распределено, в какое время, когда что делать, сколько часов работать; старшины дают "пример усердия и деятельности", другие доносят обо всем, делающемся в мастерских, начальству. Работников посылают из Одного места в другое (так, как гоняют мужиков на шоссеиную работу у нас), по мере надобности рук и труда.

11. Высшая администрация посылает на каторжную работу (travaux forces), под надзор ею назначенных (220) общин, лиц обоего пола, которых инцивизм (incivisme<sup>317</sup>), лень, роскошь и дурное поведение дают обществу дурной пример. Их имущество будет конфисковано.

14. Особенные чиновники заботятся о содержании и приплоде скота, об одежде, переездах и облегчениях работающих граждан.

Декрет о распределении имущества.

1. Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему определяется законом и дано посредством облеченного властью чиновника (magistral).

2. Народная община с самого начала дает своим членам квартиру, платья, стирку, освещение, отопление, достаточное количество хлеба, мяса, кур, рыбы, яиц, масла, вина и других напитков.

3. В каждой коммуне, в определенные эпохи, будут общие трапезы, на которых члены общины обязаны присутствовать.

5. Всякий член, взявший плату за работу или хранящий у себя деньги, наказывается.

Декрет о торговле.

1. Заграничная торговля частным лицам запрещена. Товар будет конфискован, преступник наказан.

Торговля будет производиться чиновниками. Затем деньги уничтожаются. Золото и серебро не ведено ввозить. Республика не выдает денег, внутренние частные долги уничтожаются, внешние уплачиваются; а если кто обманет или сделает подлог, то наказывается вечным рабством (esclavage perpetuel).

За этим так и ждешь "Питер в Сарском Селе" или "граф Аракчеев в Грузии", а

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru подписал не Петр I, а первый социалист французский Гракх Бабёф!

Жаловаться трудно, чтоб в этом проекте недоставало правительства; обо всем попечение, за всем надзор, надо всем опека, все устроено, все приведено в порядок. Даже воспроизведение животных не предоставляется их собственным слабостям и кокетству, а регламентировано высшим начальством.

И для чего, вы думаете, все это? Для чего кормят "курами и рыбой, обмывают, одевают и утешают"<sup>318</sup> этих (221) крепостных благосостояния, этих приписанных к равенству арестантов? Не просто для них, декрет именно говорит, что все это будет делаться *mediocrement*<sup>319</sup>. "Одна Республика должна быть богата, великолепна и всемогуща".

Это сильно напоминает нашу Иверскую божию мать, *sie hat Perlen und Diamanten*<sup>320</sup>, карегу и лошадей, иеромонахов для прислуги, кучеров с незамерзаемой головой, словом, у нее все есть, – да ее только нет, она владеет всем добром *in effigie*<sup>321</sup>.

Противуположность Роберта Оуэна с Гракхом Бабёфом очень замечательна. Через века, когда все изменится на земном шаре, по этим двум коренным зубам можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки. Тем больше, что в сущности эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели и из тех же побуждений, тем ярче их различие.

Один видел, что, несмотря на казнь короля, на провозглашение республики, на уничтожение федералистов и демократический террор, народ остался ни при чем. Другой – что, несмотря на огромное развитие промышленности, капиталов, машин и усиленной производительности, "веселая Англия" делается все больше Англией скучной, и Англия обжорливая – все больше Англией голодной. Это привело обоих к необходимости изменения основных условий государственного и экономического быта. Почему они (и многие другие) почти в одно и то же время попали на этот порядок идей – понятно. Противоречия общественного быта становились не больше и не хуже, чем прежде, но они выступали резче к концу XVIII века. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонию, которая была прежде между ними при меньше благоприятных обстоятельствах.

Встретившись так близко в точке исхода, оба идут в противоположные стороны.

Оуэн видит в том, что общественное зло приходит к сознанию, последнее достижение, последнюю победу тяжелого, сложного исторического похода; он привет<sup>(222)</sup>ствует зарю нового дня, никогда не бывалого и невозможного в прошедшем, и уговаривает детей как можно скорее покинуть пеленки, помочи и стать на свои ноги. Он заглянул в двери будущего и, как путешественник, доехавший до места, не сердится больше на дорогу, не бранит ни станционных смотрителей, ни кляч.

Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал и Гракх Бабёф. Она декретировала восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных. Государственный быт – преступный плод узурпации, вследствие злодейского заговора тиранов и их сообщников – попов и аристократов. Их следует казнить, как врагов отечества, достояние их возвратить законному государю, которому теперь есть нечего и который называется поэтому санкюлотом. Пора восстановить его старые, неотъемлемые права... Где они были? Почему пролетарий государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими?.. А! Вы сомневаетесь, – вы подозрительный человек, ближний государь сведет вас к гражданину судье, а тот пошлет к гражданину палачу, и вы больше сомневаться не будете!

Практика хирурга Бабёфа не могла мешать практике акушера Оуэна.

Бабёф хотел силой, то есть властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжание. Для этого он сделал заговор; если б ему удалось овладеть Парижем, комитет *insurrecteur*<sup>322</sup> приказал бы Франции новое устройство, точно так, как Византии его приказал победоносный Османлис; он втеснил бы французам свое рабство общего благосостояния и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы бросив миру великую мысль в нелепой форме, мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство довольных.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Оуэн, видя, что люди образованных стран подрастают к переходу в новый период, не думал вовсе о насилии, а хотел только облегчить развитие. С своей стороны он так же последовательно, как Бабёф с своей, принялся за изучение зародыша, за развитие ячейки. Он начал, как все естествоиспытатели, с частного случая; его микроскоп, его лаборатория был New Lanark; его учение росло и (223) мужало вместе с ячейкой, и оно-то довело его до заключения, что главный путь водворения нового порядка – воспитание.

Заговор для Оуэна был не нужен, восстание могло только повредить ему. Он не только мог ужиться с лучшим в мире правительством, с английским, но со всяким другим. Он в правительстве видел устарелый, исторический факт, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойников, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительство, он не домогался нисколько и поправлять его. Если б святые лавочки не мешали ему, в Англии и Америке были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony<sup>323</sup>, в них втекали бы свежие силы рабочего народонаселения, они исподволь отвели бы лучшие жизненные соки от отживших государственных цистерн. Что же ему было бороться с умирающими? Он мог их предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенец, которого приносят в его школы, cest autant de pris<sup>324</sup> над церковь и правительством!

Бабёф был казнен. Во время процесса он вырастает в одну из тех великих личностей – мучеников и побитых пророков, перед которыми невольно склоняется человек. Он угас, а на его могиле росло больше и больше всепоглощающее чудовище Централизации. Перед нею особенность стерлась, завянула, побледнела личность и исчезла. Никогда на европейской почве, со времен тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны и от нее до исхода французской революции, человек не был так пойман правительственной паутиной, так опутан сетями администрации, как в новейшее время во Франции.

Оуэна исподволь затянуло илом. Он двигался, пока мог, говорил, пока его голос доходил. Ил пожимал плечами, качал головой; неотразимая волна мещанства (224) росла, Оуэн старелся и все глубже уходил в трясины; мало-помалу его усилия, его слова, его учение – все исчезло в болоте. Иногда будто попрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов – только либералов, аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает.

– Зато будущее их!..

– Как случится!

– Помилуйте, к чему же после этого вся история?

– Да и все-то на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю. Я, как "сестра Анна" в "Синей Бороде", смотрю для вас на дорогу и говорю, что вижу – одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... Вот едут... едут, кажется, они – нет, это не братья наши, это бараны, много баранов! Наконец-то приближаются два гиганта – разным дорогами. Ну уж не тот, так другой потреплет Рауля за синюю бороду. Не тут-то было! Грозных указов Бабёфа Рауль не слушается, в школу Р. Оуэна не идет, – одного послал на гильотину, другого утопил в болоте. Я этого вовсе не хвалю, мне Рауль не родной, я только констатирую факт, и больше ничего!

V

...Около того времени, когда в Вандоме упали в роковой мешок головы Бабёфа и Дорте, Оуэн жил на одной квартире с другим непризнанным гением и бедняком, Фультоном, и отдавал ему последние свои шиллинги, чтоб тот делал модели машин, которыми он обогатил и облагодетельствовал род человеческий. Случилось, что один молодой офицер показывал дамам свою батарею. Чоб быть вполне любезным, он без всякой нужды пустил несколько ядер (это рассказывает он сам); неприятель отвечал тем же, несколько человек пали, другие были изранены, дамы остались очень довольны нервным потрясением. Офицера немножко угрызала совесть: "Люди эти, говорит, погибли совершенно бесполезно"... но дело военное, это скоро прошло. Ce la prometait<sup>325</sup>, и впоследствии молодой человек пролил крови больше, чем все революции (225) вместе, потребил одной конскрипцией<sup>326</sup> больше солдат, чем надобно было Оуэну учеников, чтоб пересоздать весь свет.

Системы у него не было никакой, добра людям он не желал и не обещал. Он добра



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru желал себе одному, а под добром разумел власть. Теперь и посмотрите, как слабы перед ним Бабеф и Оуэн! Его имя тридцать лет после его смерти было достаточно, чтоб его племянника признали императором.

Какой же у него был секрет?

Бабеф хотел людям приказать благосостояние и коммунистическую республику.

Оуэн хотел их воспитать в другой экономической быт, несравненно больше выгодный для них.

Наполеон не хотел ни того, ни другого; он понял, что французы не в самом деле желают питаться спартанской похлебкой и возвратиться к нравам Брута Старшего, что они не очень удовлетворяются тем, что по большим праздникам "граждане будут сходиться рассуждать о законах<sup>327</sup> и обучать детей цивическим добродетелям". Вот дело другое – подражаться и похвастаться храбростью они, точно, любят.

Вместо того, чтоб им мешать и дразнить, проповедуя вечный мир, лакедемонский стол, римские добродетели и миртовые венки, Наполеон, видя, как они страстно любят кровавую славу, стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту. Его винить не за что, французы и без него были бы такие же. Но эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: для толпы он не был упреком, он ее не оскорблял ни своей чистотой, ни своими добродетелями, он не представлял ей возвышенный, преображенный идеал; он не являлся ни карающим пророком, ни поучающим гением, он сам принадлежал толпе и показал ей ее самое, с ее недостатками и симпатиями, с ее страстями и влечениями, возведенную в гения и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния; вот отчего толпа плакала об нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет. (226)

Если и он пал, то вовсе не от того, чтоб толпа его оставила, что она разглядела пустоту его замыслов, что она устала отдавать последнего сына и без причины лить кровь человеческую. Он додразнил другие народы до дикого отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своих господ. Христианская нравственность была удовлетворена; нельзя было с большим остервенением защищать своих врагов!

На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо, я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обещающая ничего светлого фигура – и этот седой, свирепо-добродушный немецкий кондотьер. Ирландец на английской службе, человек без отечества – и пруссак, у которого отечество в казармах, – приветствуют радостно друг друга; и как им не радоваться, они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат... Дело на рассвете... Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились. И отчего?.. Оттого, что Блюхер поторопился, а Груши опоздал! Сколько несчастий и слез стоила народам эта победа! А сколько несчастий и крови стоила бы народам победа противной стороны?

...Да какой же вывод из всего этого?

– Что вы называете вывод? Нравоучение вроде *fais ce que doit, advienne ce que pourra*<sup>328</sup> или сентенцию вроде

И прежде кровь лилась рекою,

И прежде плакал человек?

Понимание дела – вот и вывод, освобождение от лжи – вот и нравоучение.

– А какая польза?

– Что за корыстолюбие, и особенно теперь, когда все кричат о безнравственности взяток? "Истина – религия, – толкует старик Оуэн, – не требуйте от нее ничего больше, как ее самое". (227)

За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru за заблуждения – по крайней мере разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас... Это страшно много! Детский хлам, который мы утрачиваем, не занимает больше, он нам дорог только по привычке. Чего тут жалеть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотом веке сзади или о бесконечном прогрессе впереди, чудотворную склянку св. Януария или метеорологическую молитву о дожде, тайный умысел химических заговорщиков или *natura sic voluit*?329

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокруг все колеблется, несется; стой или ступай, куда хочешь ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Вероятно, и море пугало сначала беспорядком, но, как только человек понял его бесцельную суету, он взял дорогу с собой и в какой-то скорлупе переплыл океаны.

Ни природа, ни история никуда не идут, и потому готовы идти всюду, куда им укажут, если это возможно, то есть если ничего не мешает. Они слагаются *a fur et a mesure*330 бездной друг на друга действующих, друг с другом встречающихся, друг друга останавливающих и увлекающих частностей; но человек вовсе не теряется от этого, как песчинка в горе, не больше подчиняется стихиям, не круче связывается необходимостью, а вырастает тем, что понял свое положение, в рулевого, который гордо рассекает волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себе путем сообщения.

Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый может вставить в нее свой стих, и, если он звучен, он останется его стихом, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будет бродить в ее крови и памяти. Возможностей, эпизодов, открытий в ней и в природе дремлет бездна на всяком шагу. Стоит тронуть наукой скалу, чтоб из нее текла вода, да что вода, подумайте о том, что сделал сгнетенный пар, что делает электричество с тех пор, как человек, а не Юпитер взял их в руки. Человеческое участие велико и полно поэзии, это своего рода творчество. Стихиям, веществу все равно, (228) они могут дремать тысячелетия и вовсе не просыпаться, но человек шлет их на свою работу, и они идут. Солнце давно ходит по небу: вдруг человек перехватил его луч, задержал его след, и солнце стало ему делать портреты.

Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, религиозный поклев на нее, она не настолько умна, чтоб бороться, ей все равно: "По той мере, по которой человек ее знает, по той мере он может ею управлять", – сказал Бэкон и был совершенно прав. Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам; она – продолжая свое дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения, тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: "Общее благосостояние или смерть!", чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыть себе бесконечные фарватеры.

Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разом лодка, волна и кормчий. Хоть бы карта была!

– А будь карта у Колумба – не он открыл бы Америку.

– Отчего?

– Оттого, что она должна была быть открыта... чтоб попасть на карту. Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делаются чем-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса. Если события подтасованы, если вся история – развитие какого-то доисторического заговора и она сводится на одно выполнение, на одну его *mise en scene* – возьмемте по крайней мере и мы деревянные мечи и щиты из латуни. Неужели нам лить настоящую кровь и настоящие слезы для представления провиденциальной шарады. С predetermined планом история сводится на вставку чисел в алгебраическую формулу, будущее отдано в кабалу до рождения.

Люди, с ужасом говорящие о том, что Р. Оуэн лишает человека воли и нравственной доблести, мирят предопределение не только с свободой, но и с палачом! Разве (229) только на основании текста, что "Сын человеческий должен быть предан, но горе тому, кто его предаст"331.

В мистическом воззрении все это на месте, и там это имеет свою художественную сторону, которой в доктринаризме нет. В религии разворачивается целая драма;

тут борьба, возмущение и его усмирение; вечная Мессиада, Титаны, Луцифер, Абадонна, изгоняемый Адам, прикованный Прометей, караемые богом и искупаемые спасителем. Это роман, потрясающий душу, но его-то и отбросила метафизическая наука. Фатализм, переходя из церкви в школу, утратил весь свой смысл, даже тот смысл правдоподобия, который мы требуем в сказке. Из яркого, пахучего, опьяняющего, азиатского цветка доктринеры высушили бледное сено для гербариума. Отталкивая фантастические образы, они остались при голой логической ошибке - при нелепости пред исторической *arrière-pensée*<sup>332</sup>, воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами своих целей. Зачем, если она существует, она еще раз осуществляется? Если же ее нет и она только становится и отстает событиями, то что же за новый immaculatus<sup>333</sup> процесс зачатия зародил во временном прежде(230)сущую идею, которая, выходя из чрева истории, возвещает тотчас, что она была прежде и будет после? Это новое сводное бессмертие души, идущее в обе стороны, не личное, не чье-нибудь, а родовое... Бессмертная душа всего человечества... Это" стоит мертвых душ! Нет ли бессмертной березы всех берез?

Мудрено ли, что с таким освещением самые простейшие, обыденные предметы сделались при схоластическом объяснении совершенно непонятными. Может ли, например, быть факт доступнее всякому, как наблюдение, что чем человек больше живет, тем имеет больше случая нажиться; чем дольше глядит на один предмет, тем больше разглядывает его, если ничего не помешает или он не ослепнет? И из этого факта ухитрились сделать кумир прогресса, какого-то беспрерывно растущего и обещающего расти в бесконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что человек живет не для совершения судеб, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился для (как ни дурно это слово)... для настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию. Это кажется идеалистам унижительно и грубо; они никак не хотят обратить внимание на то, что все великое значение наше, при нашей ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и состоит, что, пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный нами узел, мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется, но это не цель наша, не назначенье, не заданный урок, а последствие той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами и началами, причинами и действиями.

И это не все, мы можем переменить узор ковра. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни-одинехоньки. Прежние ткачи судьбы, все эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрывают от нас их завещание, а покойники нам завещали свою власть.

- Но если, с одной стороны, вы отдаете судьбу человека на его произвол, а с другой - снимаете с него (231) ответственность, то с вашим учением он сложит руки и просто ничего не будет делать.

- Уж не перестанут ли люди есть и пить, любить и производить детей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнают, что едят и слушают, любят и наслаждаются для себя, а не для совершения высших предназначений и не для скорейшего достижения бесконечного развития совершенства?

Если религия, с своим подавляющим фатализмом, и доктринаризм, с своим безотрадным и холодным, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтоб это сделало воззрение, освобождающее их от этих плит. Одного чутья жизни и непоследовательности было достаточно, чтоб спасти европейские народы от религиозных проказ вроде аскетизма, квиетизма, которые постоянно были только на словах и никогда на деле; неужели разум и сознание окажутся слабее?

К тому же в реальном воззрении есть свой секрет; тот, кто от него сложит руки, тот не поймет его и не примет; он еще принадлежит к иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры, с одной стороны, дьявол с черным хвостом, с другой - ангел с белой лилией.

Стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить, так, как нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вот почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки от какого бы учения ни было. Найдутся ли лучшие условия жизни, совладеет ли с ними человек, или в ином месте собьется с дороги, а в другом наделает вздору – это другой вопрос. Говоря, что у человека никогда не пропадет голод, мы не говорим, будут ли всегда и для каждого съестные припасы, и притом здоровые.

Есть люди, удовлетворяющиеся малым, с бедными потребностями, с узким взглядом и ограниченными желаниями. Есть и народы с небольшим горизонтом, с странным воззрением, удовлетворяющиеся бедно, ложно, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, без сомнения, два народа, нашедшие наиболее соответствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они так неизменно одни и те же.

Европа, кажется нам, тоже близка к "насыщению" и стремится – усталая осесть, скристаллизироваться, найдя свое прочное общественное положение в мещан(232)ском устройстве. Ей мешают покойно служить монархически-феодалные остатки и завоевательное начало. Мещанское устройство представляет огромный успех в сравнении с олигархически-военным, в этом нет сомнения, но для Европы и в особенности для англо-германской, оно представляет не только огромный успех, но и успех достаточный. Голландия опередила, она первая успокоилась до прекращения истории. Прекращение роста – начало совершеннолетия. Жизнь студента полнее событий и идет гораздо бурнее, чем трезвая и работающая жизнь отца семейства. Если б над Англией не тяготел свинцовый щит феодального землевладения и она, как Уголино, не ступала бы постоянно на своих детей, умирающих с голоду; если б она, как Голландия, могла достигнуть для всех благосостояния мелких лавочников и небогатых хозяев средней руки, – она успокоилась бы на мещанстве. А с тем вместе уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизились, и жизнь без событий, развлекаемая иногда внешними толчками, свелась бы на однообразный круговорот, на слегка видоизменяющийся *semper idem*<sup>334</sup>. Собирался бы парламент, представлялся бы бюджет, говорились бы дельные речи, улучшались бы формы... и на будущий год то же, и через десять лет то же, это была бы покойная колея взрослого человека, его деловые будни. Мы и в естественных явлениях видим, как начала эксцентричны, а устоявшееся продолжение идет потихоньку, не буйной кометой, описывающей с распушенной косой свои неведомые пути, а тихой планетой, плывущей с своими сателлитами, вроде фонариков, битым и перебитым путем; небольшие отступления выставляют еще больше общий порядок... Весна помокрее, весна посуше, но после всякой – лето, но перед всякой – зима.

– Так это, пожалуй, все человечество дойдет до мещанства, да на нем и застрянет?

– Не думаю, чтобы все, а некоторые части наверно. Слово "человечество" препротивное, оно не выражает ничего определенного, а только к смутности всех остальных понятий подбавляет еще какого-то пегого полубога. Какое единство разумеется под словом "человечество"? Разве то, которое мы понимаем под всяким суммовым (233) названием, вроде икры и т. п. Кто в мире осмелится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинаким образом ирокезов и ирландцев, арабов и мадьяр, кафров и славян? Мы можем сказать одно – что некоторым народам мещанское устройство противно, а другие в нем как рыба в воде. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало мещанских элементов, общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, которое может им дать мещанство. Но из этого никак не следует, что они достигнут этого высшего состояния или что они не свернут на буржуазную дорогу. Одно стремление ничего не обеспечивает, на разницу возможного и неминуемого мы ужасно назираем. Недостаточно знать, что такое-то устройство нам противно, а надобно знать, какого мы хотим и возможно ли его осуществление. Возможностей много впереди, народы буржуазные могут взять совсем иной полет; народы самые поэтические – сделаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнет, стремлений авортирует<sup>335</sup>, развитии отклоняется. Что может быть очевиднее, осязаемее тех, – не только возможностей, – а начал личной жизни, мысли, энергии, которые умирают в каждом ребенке. Заметьте, что и эта ранняя смерть детей тоже не имеет в себе ничего неминуемого; жизнь девяти десятых наверно могла бы сохраниться, если б доктора знали медицину и медицина была бы в самом деле наукой. На это влияние человека и науки мы обращаем особенное внимание, оно чрезвычайно важно.

Заметьте еще посягательство обезьян (например, шимпанзе) на дальнейшее умственное развитие. Оно видно в их беспокойно озабоченном взгляде, в тоскливо

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru грустном присматривании ко всему, что делается, в недоверчивой и суетливой тревожности и любопытстве, которое, с другой стороны, не дает мысли сосредоточиться и постоянно ее рассеивает. Ряды и ряды поколений вновь и вновь стремятся к какому-то разумению, заменяются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умирают, – и так прошли десятки тысяч лет, и пройдут еще десятки.

Люди имеют большой шаг перед обезьянами; их стремления не пропадают бесследно, они облачаются словом, (234) воплощаются в образ, остаются в предании и передаются из века в век. Каждый человек опирается на страшное генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая; за нами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана – всемирной истории; мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу и нет ее "разве него", а с нею мы можем быть властью.

Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью; перед каждым открыты двери. Есть что сказать человеку пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение – пусть проповедует. Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой, ни она не самобытна, ни мы не независимы от общего фонда картины, от одинаких предшествовавших влияний, связь общая есть. Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?

– От кого?

– Как от кого?.. да от нас с вами, например. Как же после этого нам сложить руки!

<ГЛАВА X>. CAMICIA ROSSA336

Шекспиров день превратился в день Гарибальди. Сближение это вытянуто за волосы историей, такие натяжки удаются ей одной.

Народ, собравшись на Примроз-Гиль, чтоб посадить дерево в память threescentenary337, остался там, чтоб поговорить о скоропостижном отъезде Гарибальди. Полиция разогнала народ. Пятьдесят тысяч человек (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейских и, из глубокого уважения к законности, вполнину сгубили ве(235)ликое право сходов под чистым небом и во всяком случае поддержали незаконное вмешательство власти.

...Действительно, какая-то шекспировская фантазия пронеслась перед нашими глазами на сером фоне Англии с чисто шекспировской близостью великого и отвратительного, раздирающего душу и скрипящего по тарелке. Святая простота человека, наивная простота масс и тайные скопы за стеной, интриги, ложь. Знакомые тени мелькают в других образах – от Гамлета до короля Лира, от Гонериль и Корделий до честного Яго. Яго – всё крошечные, но зато какое количество и какая у них честность!

Пролог. Трубы. Является идол масс, единственная, великая, народная личность нашего века, выработавшаяся с 1848 года, является во всех лучах славы. Все склоняется перед ней, все ее празднуют, это – воочью совершающееся hero-worship338 Карлейля. Пушечные выстрелы, колокольный звон, выпела на кораблях – и только потому нет музыки, что гость Англии приехал в воскресенье, а воскресенье здесь постный день... Лондон ждет приезжего часов семь на ногах, овации растут с каждым днем; появление человека в красной рубашке на улице делает взрыв восторга, толпы провожают его ночью, в час, из оперы, толпы встречают его утром, в семь часов, перед Стаффорд Гаузом. Работники и дюки339, швеи и лорды, банкиры и high church340, феодальная развалина Дерби и осколок февральской революции – республиканец 1848 года, старший сын королевы Виктории и босой sweeper341, родившийся без родителей, ищут наперерыв его руки, взгляда, слова. Шотландия, Ньюкестль-он-Тейн, Глазгов, Манчестер трепещут от ожидания – а он исчезает в непроницаемом тумане, в синеве океана.

Как тень Гамлетова отца, гость попал на какую-то министерскую дощечку и исчез. Где он? Сейчас был тут и тут, а теперь нет... Остается одна точка, какой-то парус, готовый отплыть. (236)

Народ английский одурачен. "Великий, глупый народ", – как сказал о нем поэт. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джон Буль, и

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru жаль его, и смешно! Бык с львиными замашками – только что было тряхнул гривой и порасправился, чтоб встретить гостя так, как он никогда не встречал ни одного ни на службе состоящего, ни отрешенного от должности монарха, а у него его и отняли. Лев-бык бьет двойным копытом, царапает землю, сердится... но сторожа знают хитрости замков и засовов свободы, которыми он заперт, болтают ему какой-то вздор и держат ключ в- кармане... а точка исчезает в океане.

Бедный лев-бык, ступай на свой hard labour<sup>342</sup> тащи плуг, подымай молот. Разве три министра, один не министр, один джук, один профессор хирургии и один лорд пиетизма не засвидетельствовали всенародно в камере пэров и в низшей камере, в журналах и гостиных, что здоровый человек, которого ты видел вчера, болен, и болен так, что его надобно послать на яхте вдоль Атлантического океана и поперек Средиземного моря?.. "Кому же ты больше веришь: моему ослу или мне?" – говорил обиженный мельник, в старой басне, скептическому другу своему, который сомневался, слыша рев, что осла нет дома...

Или разве они не друзья народа? Больше, чем друзья – они его опекуны, его отцы с матерью...

...Газеты подробно рассказали о пирах и яствах, речах и мечях, адресах и кантатах, Чизвике и Гильдголле. Балет и декорации, пантомимы и арлекины этого "сновидения в весеннюю ночь" описаны довольно. Я не намерен вступать с ними в соревнование, а просто хочу передать из моего небольшого фотографического снаряда несколько картинок, взятых с того скромного угла, из которого я смотрел. В них, как всегда бывает в фотографиях, захватилось и осталось много случайного, неловкие складки, неловкие позы, слишком выступившие мелочи, рядом с нерукотворенными чертами событий и неподсласщенными чертами лиц...

Рассказ этот дарю я вам, отсутствующие дети (отчасти он для вас и писан), и еще раз очень, очень жалею, что вас здесь не было с нами 17 апреля. (237)

#### I. В БРУК ГАУЗЕ

Третьего апреля к вечеру Гарибальди приехал в Соутамтон. Мне хотелось видеть его прежде, чем его завертят, опутают, утомят.

Хотелось мне этого по-многому: во-первых, просто потому, что я его люблю и не видал около десяти лет. С 1848 я следил шаг за шагом за его великой карьерой; он уже был для меня в 1854 году лицо, взятое целиком из Корнелия Непота или Плутарха...<sup>343</sup>. С тех пор он перерос половину их, сделался "невенчанным царем" народов, их упованием, их живой легендой, их святым человеком и это от Украины и Сербии до Андалузии и Шотландии, от Южной Америки до Северных Штатов. С тех пор он с горстью людей победил армию, освободил целую страну и был отпущен из нее, как отпускают ямщика, когда он довел до станции. С тех пор он был обманут и побит, и так, как ничего не выиграл победой, не только ничего не проиграл поражением, но удвоил им свою народную силу. Рана, нанесенная ему своими, кровью спаяла его с народом. К величию героя прибавился венец мученика. Мне хотелось видеть, тот ли же это добродушный моряк, приведший "Common wealth" из Бостона в Indian Docks, мечтавший о пловучей эмиграции, носящейся по океану<sup>344</sup>, и угощавший меня ницким белетом, привезенным из Америки.

Хотелось мне, во-вторых, поговорить с ним о здешних интригах и нелепостях, о добрых людях, строивших одной рукой пьедестал ему и другой привязывавших "Маццини к позорному столбу. Хотелось ему рассказать об охоте по Станфильду и о тех нищих разумом либералах, которые вторили лаю готических свор, не понимая, что те имели по крайней мере цель – скovyрнуть на Станфильде пегое и бесхарактерное министерство и заменить его своей подагрой, своей ветошью и своим линиялым тряпьем с гербами.

...В Соутамтоне я Гарибальди не застал. Он только что уехал на остров Байт. На улицах были видны остатки торжества: знамена, группы народа, бездна иностранцев... (238)

Не останавливаясь в Соутамтоне, я отправился в Коус. На пароходе, в отелях все говорило о Гарибальди, о его приеме. Рассказывали отдельные анекдоты, как он вышел на палубу, опираясь на дюка Сутерландского, как, сходя в Коусе с парохода, когда матросы выстроились, чтоб проводить его, Гарибальди пошел было, поклонившись, но вдруг остановился, подошел к матросам и каждому подал руку,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
вместо того чтоб подать на водку.

В Коус я приехал часов в девять вечера, узнал, что Брук Гауз очень не близок, заказал на другое утро коляску и пошел по взморью. Это был первый теплый вечер 1864. Море совершенно покойное, лениво шая, колыхалось; кой-где сверкало, исчезая, фосфорический свет; я с наслаждением вдыхал влажно-йодистый запах морских испарений, который люблю, как запах сена; издали раздавалась бальная музыка из какого-то клуба или казино, все было светло и празднично.

Зато на другой день, когда я часов в шесть утра отворил окно, Англия напомнила о себе: вместо моря и неба, земли и дали, была одна сплошная масса неровного серого цвета, из которой лился частый, мелкий дождь, с той британской настойчивостью, которая вперед говорит: "Если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану". В семь часов поехал я под этой душой в Брук Гауз.

Не желая долго толковать с тугой на пониманье и скупой на учтивость английской прислужкой, я послал записку к секретарю Гарибальди - Гверцони. Гверцони провел меня в свою комнату и пошел сказать Гарибальди. Вслед за тем я услышал постукивание трости и голос: "Где он, где он?" Я вышел в коридор. Гарибальди стоял передо мной и прямо, ясно, кротко смотрел мне в глаза, потом протянул обе руки и, сказав: "Очень, очень рад, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете!" - обнял меня. - "Куда вы хотите? Это комната Гверцони; хотите ко мне, хотите остаться здесь?" - спросил он и сел.

Теперь была моя очередь смотреть на него.

Одет он был так, как вы знаете по бесчисленным фотографиям, картинкам, статуэткам: на нем была красная шерстяная рубашка и сверху плащ, особым образом застегнутый на груди; не на шее, а на плечах был (239) платок, так, как его носят матросы, узлом завязанный на груди. Все это к нему необыкновенно шло, особенно его плащ.

Он гораздо меньше изменился в эти десять лет, чем я ожидал. Все портреты, все фотографии его никуда не годятся, на всех он старше, чернее, и, главное, выражение лица нигде не схвачено. А в нем-то и высказывается весь секрет не только его лица, но его самого, его силы - той притяжательной и отдающейся силы, которой он постоянно покорял все окружавшее его... какое бы оно ни было, без различия диаметра: кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, drappello345 гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии, народные массы всех стран, целые части земного шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильного и скорее напоминающего славянский тип, чем итальянский, оживлена, проникнута беспредельной добротой, любовью и тем, что называется *bienveillance* (я употребляю французское слово, потому что наше "благоволение" затаскалось до того по передним и канцеляриям, что его смысл исказился и оподдел). То же в его взгляде, то же в его голосе, и все это так просто, так от души, что если человек не имеет задней мысли, жалованья от какого-нибудь правительства и вообще не остережется, то он непременно его полюбит.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характер, ни выражение его лица, рядом с его добродушием и увлекаемостью чувствуется несокрушимая нравственная твердость и какой-то возврат на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты, меланхолической, печальной, я прежде не замечал в нем.

Минутами разговор обрывается; по его лицу, как тучи по морю, пробегают какие-то мысли - ужас ли то перед судьбами, лежащими на его плечах, перед тем народным помазанием, от которого он уже не может отказаться? Сомнение ли после того, как он видел столько измен, столько падений, столько слабых людей? Искушение ли величия? Последнего не думаю, - его личность давно исчезла в его деле...

Я уверен, что подобная черта страдания перед призванием была и на лице девы Орлеанской, и на лице (240) Иоанна Лейденского, - они принадлежали народу, стихийные чувства, или, лучше, предчувствия, заморенные в нас, сильнее в народе. В их вере был фатализм, а фатализм сам по себе бесконечно грустен. "Да совершится воля твоя", - говорит всеми чертами лица Сикстинская мадонна. "Да совершится воля твоя", - говорит ее сын-плебей и спаситель, грустно молясь на Масличной горе.

...Гарибальди вспомнил разные подробности о 1854 годе, когда он был в Лондоне, как он ночевал у меня, опоздавши в Indian Docks; я напомнил ему, как он в этот день пошел гулять с моим сыном и сделал для меня его фотографию у Кальдези, об обеде у американского консула с Бюхананом, который некогда наделал бездну шума и, в сущности, не имел смысла<sup>346</sup>.

- Я должен вам покаяться, что я поторопился к вам приехать не без цели, сказал я, наконец, ему, - я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишком английская, то есть туманная, для того, чтоб ясно видеть закулисную механику одной пьесы, которая с успехом разыгрывается теперь в парламенте... чем вы дальше поедете, тем гуще будет туман. Хотите вы меня выслушать?

- Говорите, говорите - мы старые друзья. Я рассказал ему дебаты, журнальный вопль, нелепость выходок против Маццини, пытку, которой подвергали Стансфильда.

- Заметьте, - добавил я, - что в Стансфильде тори и их сообщники преследуют не только революцию, которую они смешивают с Маццини, не только министерство Палмерстона, но, сверх того, человека, своим личным достоинством, своим трудом, умом достигнувшего в довольно молодых летах места лорда в адмиралтействе, человека без рода и связей в аристократии. На вас прямо они не смеют нападать на сию минуту, но посмотрите, как они бесцеремонно вас трактуют. Вчера в Коусе я купил последний лист "Standarda"; ехавши к вам, я его прочитал, посмотрите. "Мы уверены, что Гарибальди поймет настолько обязанности, возлагаемые на него гостеприимством Англии, что не будет иметь сношений с прежним товарищем своим, и найдет на(241)столько такта, чтоб не ездить в 35, Thurloe square"<sup>347</sup>. Затем выговор par anticipation<sup>348</sup>, если вы этого не исполните.

- Я слышал кое-что, - сказал Гарибальди, - об этой интриге. Разумеется, один из первых визитов моих будет к Стансфильду.

- Вы знаете лучше меня, что вам делать; я хотел вам только показать без тумана безобразные линии этой интриги.

Гарибальди встал; я думал, что он хочет окончить свидание, и стал прощаться.

- Нет, нет, пойдемте теперь ко мне, - сказал он, и мы пошли.

Прихрамывает он сильно, но, вообще его организм вышел торжественно из всякого рода моральных и хирургических сондирований, операций и проч.

Костюм его, скажу еще раз, необыкновенно идет к нему и необыкновенно изящен, в нем нет ничего профессионально-солдатского и ничего буржуазного, он очень прост и очень удобен. Непринужденность, отсутствие всякой аффектации в том, как он носит его, остановили салонные пересуды и тонкие насмешки. Вряд существует ли европеец, которому бы сошла с рук красная рубашка в дворцах и палатах Англии.

Притом костюм его чрезвычайно важен, в красной рубашке народ узнает себя и своего. Аристократия думает, что, схвативши его коня под уздцы, она его поведет куда хочет и, главное, отведет от народа; но народ смотрит на красную рубашку и рад, что дюки, маркизы и лорды пошли в конюхи и официанты к революционному вождю, взяли на себя должности мажордомов, пажей и скороходов при великом плебее в плебейском платье.

Консервативные газеты заметили беду и, чтоб смягчить безнравственность и бесчиние гарибальдиевского костюма, выдумали, что он носит мундир монтевидейского волонтера. Да ведь Гарибальди с тех пор был пожалован генералом - королем, которому он пожаловал два королевства; отчего же он носит мундир монтевидейского волонтера? (242)

Да и почему то, что он носит, - мундир?

К мундиру принадлежит какое-нибудь смертоносное оружие, какой-нибудь знак власти или кровавых воспоминаний. Гарибальди ходит без оружия, он не боится никого и никого не страшает; в Гарибальди так же мало военного, как мало аристократического и мещанского. "Я не солдат, - говорил он в Кристаль-паласе итальянцам, подносившим ему меч, - и не люблю солдатского ремесла. Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтоб их выгнать". "Я



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru работник, происхожу от работников и горжусь этим", - сказал он в другом месте.

При этом нельзя не заметить, что у Гарибальди нет также ни на йоту плебейской грубости, ни изученного демократизма. Его обращение мягко до женственности. Итальянец и человек, он на вершине общественного мира представляет не только плебея, верного своему началу, но итальянца, верного эстетичности своей расы.

Его мантия, застегнутая на груди, не столько военный плащ, сколько риза воина-первосвященника, рго-phetare349, Когда он поднимает руку, от него ждут благословения и приветов, а не военного приказа.

Гарибальди заговорил о польских делах. Он дивился отваге поляков.

- Без организации, без оружия, без людей, без открытой границы, без всякой опоры выступить против сильной военной державы и продержаться с лишком год такого примера нет в истории... Хорошо, если б другие народы переняли. Столько героизма не должно, не может погибнуть, я полагаю, что Галиция готова к восстанию?

Я промолчал.

- Так же, как и Венгрия - вы не верите?

- Нет, я просто не знаю.

- Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движения в России?

- Никакого. С тех пор, как я вам писал письмо, в ноябре месяце, ничего не переменялось. Правительство, чувствующее поддержку во всех злодействах в Польше, идет очертя голову, ни в грош не ставит Европу, обще(243)ство падает глубже и глубже. Народ молчит. Польское дело - не его дело, - у нас враг один, общий, но вопрос розно поставлен. К тому же у нас много времени впереди - а у них его нет.

Так продолжался разговор еще несколько минут, начали в дверях показываться арханглийские физиономии, шурстеть дамские платья... Я встал.

- Куда вы торопитесь? - сказал Гарибальди.

- Я не хочу вас больше красть у Англии.

- До свиданья в Лондоне - не правда ли?

- Я непременно буду. Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландского?

- Да, - сказал Гарибальди и прибавил, будто извиняясь: - не мог отказаться.

- Так я явлюсь к вам, напудрившись, для того чтоб лакеи в Стаффорд Гаузе подумали, что у меня пудренный слуга.

В это время явился поэт лавреат Теннисон с женой, - это было слишком много лавров, и я по тому же непрерывному дождю отправился в Коус.

Перемена декорации, но продолжение той же пьесы. Пароход из Коуса в Соутамтон только что ушел, а другой отправлялся через три часа, в силу чего я пошел в ближайший ресторан, заказал себе обед и принялся читать "Теймс". С первых строк я был ошеломлен. Семидесятипятилетний Авраам, судившийся месяца два тому назад за какие-то шашни с новой Агарью, принес окончательно на жертву своего галифаксского Исаака. Отставка Станфильда была принята. И это в самое то время, когда Гарибальди начинал свое торжественное шествие в Англии. Говоря с Гарибальди, я этого даже не предполагал.

Что Станфильд подал во второй раз в отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему с самого начала следовало стать во весь рост и бросить свое лордшипство. Станфильд сделал свое дело. Но что сделал Палмерстон с товарищами? И что он лепетал потом в своей речи?.. С какой подобострастной лестью отзывался он о великодушном союзнике, о претрепетном желании ему долговечья и всякого блага, навеки (244) нерушимого. Как будто кто-нибудь брал au serieux350 эту полицейскую фарсу Greco, Trabucso et C°.

Это была Мажента.

Я спросил бумаги и написал письмо к Гверцони, написал я его со всей свежестью досады и просил его прочесть "Теймс" Гарибальди; я ему писал о безобразии этой апотеозы Гарибальди рядом с оскорблениями -Маццини.

"Мне пятьдесят два года, - говорил я, - но признаюсь, что слезы негодования навертываются на глазах при мысли об этой несправедливости" и проч.

За несколько дней до моей поездки я был у Маццини. Человек этот многое вынес, многое умеет выносить, это старый боец, которого ни утомить, ни низложить нельзя; но тут я его застал сильно огорченным именно тем, что его выбрали средством для того, чтобы выбить из стремян его друга. Когда я писал письмо к Гверцони, образ исхудалого, благородного старца с сверкающими глазами носился предо мной.

Когда я кончил и человек подал обед, я заметил, что я не один: небольшого роста белокурый молодой человек с усиками и в синей пальто-куртке, которую носят моряки, сидел у камина, а l'americaine хитро утвердивши ноги в уровень с ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинциальный акцент, делавший для меня его речь непонятной, убедили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующий на берегу мичман, и я перестал им заниматься - говорил он не со мной, а со слугой. Знакомство окончилось было тем, что я ему подвинул соль, а он за то потряхнул головой.

Вскоре к нему присоединился пожилых лет черноватенький господин, весь в черном и весь до невозможности застегнутый с тем особенным видом помешательства, которое дает людям близкое знакомство с небом и натянутая религиозная экзальтация, делающаяся натуральной от долгого употребления.

Казалось, что он хорошо знал мичмана и пришел, чтоб с ним повидаться. После трех-четырех слов он перестал говорить и начал проповедовать. "Видел я, - говорил он, - Маккавея, Гедеона... орудие в руках промысла, его меч, его пращ... и чем более я смотрел на (245) него, тем сильнее был тронут и со слезами твердил: меч господень! меч господень! Слабого Давида избрал он побить Голиафа. Оттого-то народ английский, народ избранный, идет ему на сретение, как к невесте ливанской... Сердце народа в руках божиих; оно сказало ему, что это меч господень, орудие промысла, Гедеон!"

...Отворились настезь двери, и вошла не невеста ливанская, а разом человек десять, важных бриттов, и в их числе лорд Шефсбюри, Линдзей. Все они уселись за стол и потребовали что-нибудь перекусить, объявляя, что сейчас едут в Brook House. Это была официальная депутация от Лондона с приглашением к Гарибальди. Проповедник умолк; но мичман поднялся в моих глазах, он с таким недвусмысленным чувством отвращения смотрел на взошедшую депутацию, что мне пришло в голову, вспоминая проповедь его приятеля, что он принимает этих людей если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросил его, как следует надписать письмо в Brook House, достаточно ли назвать дом, или надобно прибавить ближний город. Он сказал, что не нужно ничего прибавлять.

Один из депутации, седой, толстый старик спросил меня, к кому я посылаю письмо в Brook House?

- К Гверцони.

- Он, кажется, секретарем при Гарибальди?

- Да.

- Чего же вам хлопотать, мы сейчас едем, я охотно свезу письмо.

Я вынул мою карточку и отдал ее с письмом. Может ли что-нибудь подобное случиться на континенте? Представьте себе, если б во Франции кто-нибудь спросил бы вас в гостинице, к кому вы пишете, и, узнавши, что это к секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано, и я на другой день имел ответ в Лондоне.

Редактор иностранной части "Morning Star" узнал меня. Начались вопросы о том, как я нашел Гарибальди, о его здоровье. Поговоривши несколько минут с ним, я ушел в smoking-room<sup>351</sup>. Там сидели за пель-элеом (246) и трубками мой белокурый моряк и его черномазый теолог.

- Что, - сказал он мне, - нагляделись вы на эти лица?.. А ведь это неподражаемо хорошо: лорд Шефсбюри, Линдзей едут депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедия! Знают ли они, кто такой Гарибальди?

- Орудие промысла, меч в руках господних, его пращ... потому-то он и вознес его и оставил его в святой простоте его...

- Это все очень хорошо, да зачем едут эти господа? Спросил бы я кой у кого из них, сколько у них денег в Алабаме?.. Дайте-ка Гарибальди приехать в Нюкестль-он-Тейн да в Глазгов, - там он увидит народ поближе, там ему не будут мешать лорды и дюки.

Это был не мичман, а корабельный постройщик. Он долго жил в Америке, знал хорошо дела Юга и Севера, говорил о безвыходности тамошней войны, на что утешительный теолог заметил:

- Если господь раздвоил народ этот и направил брата на брата, он имеет свои виды, и если мы их не понимаем, то должны покоряться провидению даже тогда, когда оно карает.

Вот где и в какой форме мне пришлось слышать в последний раз комментарий на знаменитый гегелевский мотто<sup>352</sup>. "Все что действительно, то разумно".

Дружески пожав руку моряку и его капеллану, я отправился в Соутамтон.

На пароходе я встретил радикального публициста Голиока; он виделся с Гарибальди позже меня; Гарибальди через него приглашал Маццини; он ему уже телеграфировал, чтоб он ехал в Соутамтон, где Голиок намерен был его ждать с Менотти Гарибальди и его братом. Голиоку очень хотелось доставить еще в тот же вечер два письма в Лондон (по почте они прийти не могли до утра). Я предложил мои услуги.

В одиннадцать часов вечера приехал я в Лондон, заказал в York Hotel, возле Ватерлооской станции, комнату и поехал с письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успел перестать. В час или в начале второго приехал я в гостиницу, - заперто. Я стучался, сту<sup>(247)</sup>чался... Какой-то пьяный, оканчивавший свой вечер возле решетки кабака, сказал: "не тут стучите, в переулке есть night-bell"<sup>353</sup>, Пошел я искать night-bell, нашел и стал звонить. Не отворяя дверей, из какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая, чего мне?

- Комнаты.

- Ни одной нет.

- Я в одиннадцать часов сам заказал.

- Говорят, что нет ни одной! - и он захлопнул дверь преисподней, не дождавись даже, чтоб я его обругал, что я и сделал платонически, потому что он слышать не мог.

Дело было неприятное: найти в Лондоне в два часа ночи комнату, особенно в такой части города, не легко. Я вспомнил об небольшом французском ресторане и отправился туда.

- Есть комната? - спросил я хозяина.

- Есть, да не очень хороша.

- Показывайте.

Действительно, он сказал правду: комната была не только не очень хороша, но

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru прескверная. Выбора не было; я отворил окно и сошел на минуту в залу. Там все еще пили, кричали, играли в карты и домино какие-то французы. Немец колоссального роста, которого я видал, подошел ко мне и спросил, имею ли я время с ним поговорить наедине, что ему нужно мне сообщить что-то особенно важное.

- Разумеется, имею; пойдите в другую залу, там никого нет.

Немец сел против меня и трагически начал мне рассказывать, как его патрон-француз надул, как он три года эксплуатировал его, - заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что он его примет в товарищи, и вдруг, не говоря худого слова, уехал в Париж и там нашел товарища. В силу этого немец сказал ему, что он оставляет место, а патрон не возвращается...

- Да зачем же вы верили ему без всякого условия?

- weil ich ein dummer Deutscher bin<sup>354</sup>.

- Ну, это другое дело. (248)

- Я хочу запечатать заведение и уйти,

- Смотрите, он вам сделает процесс; знаете ли вы здешние законы?

Немец покачал головой.

- Хотелось бы мне насолить ему... А вы, верно, были у Гарибальди?

- Был.

- Ну, что он? Ein famoser Kerl!..<sup>355</sup> Да ведь если б он мне не обещал целые три года, я бы иначе вел дела... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

- Кажется, ничего.

- Эдакая бестия, все скрыл и в последний день говорит: у меня уж есть товарищ-associé... Я вам, кажется, надоел?

- Совсем нет, только я немного устал, хочу спать, я встал в шесть часов, а теперь два с хвостиком.

- Да что же мне делать? Я ужасно обрадовался, когда вы взошли; ich habe so bei mir gedacht, der wird Rat schaffen<sup>356</sup>. Так не запечатывать заведения?

- Нет, а так как ему полюбилось в Париже, так вы ему завтра же напишете: "Заведение запечатано, когда вам угодно принимать его?" Вы увидите эффект, он бросит жену и игру на бирже, прискачет сюда и - и увидит, что заведение не заперто.

- Sapperlot! das ist eine Idee - ausgezeichnet<sup>357</sup>; я пойду писать письмо.

- А я - спать. Gute Nacht.

- Schlafen sie wohl<sup>358</sup>.

Я спрашиваю свечку. Хозяин подает ее собственноручно и объясняет, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сделался духовником.

- Что вам надобно? Оно немного поздно, но я готов.

- Несколько слов. Я вас хотел спросить, как вы думаете, если я завтра выставлю бюст Гарибальди, знаете, с цветами, с лавровым венком, ведь это будет очень хорошо? Я уж и о надписи думал... трехцветными буквами "Garibaldi liberateur!"<sup>359</sup> (249)

- Отчего же - можно! Только французское посольство запретит ходить в ваш ресторан французам, а они у вас с утра до ночи.

- Оно так... Но знаете, сколько денег зашибешь, выставивши бюст... а потом

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru забудут...

- Смотрите, - заметил я, решительно вставая, чтоб идти, - не говорите никому: у вас украдут эту оригинальную мысль.

- Никому, никому ни слова. Что мы говорили, останется, я надеюсь, я прошу, между нами двумя.

- Не сомневайтесь, - и я отправился в нечистую спальню его.

Сим оканчивается мое первое свиданье с Гарибальди в 1864 году"

## II. В СТАФФОРД ГАУЗЕ

В день приезда Гарибальди в Лондон я его не видал, а видел море народа, реки народа, запруженные им улицы в несколько верст, наводненные площади, везде, где был карниз, балкон, окно, выступили люди, и все это ждало в иных местах шесть часов... Гарибальди приехал в половине третьего на станцию Нейн-Эльмс и только в половине девятого подъехал к Стаффорд Гаузу, у подъезда которого ждал его джук Сутерланд с женой.

Английская толпа груба, многочисленные сборища ее не обходятся без драк, без пьяных, без всякого рода отвратительных сцен и главное без организованного на огромную скалу воровства. На этот раз порядок был удивительный, народ понял, что это его праздник, что он чувствует одного из своих, что он больше чем свидетель, и посмотрите в полицейском отделе газет, сколько было покраж в день въезда невесты Вельского и сколько 360 при проезде Гарибальди, а полиции было несравненно меньше. Куда же делись пикпocketы? 361

У Вестминстерского моста, близ парламента, народ так плотно сжался, что коляска, ехавшая шагом, остановилась и процессия, тянувшаяся на версту, ушла (250) вперед с своими знаменами, музыкой и проч. С криками ура народ облепил коляску; все, что могло продраться, жало руку, целовало края плаща Гарибальди, кричало: "welcome!" 362 С каким-то упоением любясь на великого плебея, народ хотел отложить лошадей и везти на себе, но его уговорили. Джук и лордов, окружавших его, никто не замечал - они сошли на скромное место гайдуков и официантов. Эта овация продолжалась около часа; одна народная волна передавала гостя другой, причем коляска двигалась несколько шагов и снова останавливалась.

Злоба и остервенение континентальных консерваторов совершенно понятны. Прием Гарибальди не только обиден для табеля о рангах, для ливреи, но он чрезвычайно опасен как пример. Зато бешенство листов, состоящих на службе трех императоров и одного "imperial"-торизма, вышло из всех границ, начиная с границ учтивости. У них помутилось в глазах, зашумело в ушах... Англия дворцов, Англия сундуков, забыв всякое приличие, идет вместе с Англией мастерских на сретение какого-то "aventurier" - мятежника, который был бы повешен, если б ему не удалось освободить Сицилии. "Отчего, - говорит опростоволосившаяся "La France", - отчего Лондон никогда так не встречал маршала Пелисье, которого слава так чиста?", и даже, несмотря на то, забыла она прибавить, что он выжигал сотнями арабов с детьми и женами так, как у нас выжигают тараканов.

Жаль, что Гарибальди принял гостеприимство джук Сутерландского. Неважное значение и политическая стертость "пожарного" джук до некоторой степени делали Стаффорд Гауз гостиницей Гарибальди... Но все же обстановка не шла, и интрига, затеянная до въезда его в Лондон, расцвела удобно на дворцовом грунте. Цель ее состояла в том, чтоб удалить Гарибальди от народа, то есть от работников, и отрезать его от тех из друзей и знакомых, которые остались верными прежнему знамени, и, разумеется, - пуще всего от Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдули большую половину этих ширм, но другая половина осталась, именно невозможность говорить с ним без (251) свидетелей. Если б Гарибальди не вставал в пять часов утра и не принимал в шесть, она удалась бы совсем; по счастью, усердие интриги раньше половины девятого не шло; только в день его отъезда дамы начали вторжение в его спальню часом раньше. Раз как-то Мордини, не успев сказать ни слова с Гарибальди в продолжение часа, смеясь, заметил мне: "В мире нет человека, которого бы было легче видеть, как Гарибальди, но зато нет человека, с которым бы было труднее говорить".

Гостеприимство джук было далеко лишено того широкого характера, которое некогда

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru мирило с аристократической роскошью. Он дал только комнату для Гарибальди и для молодого человека, который перевязывал его ногу; а другим, то есть сыновьям Гарибальди, Гверцони и Базилио, хотел нанять комнаты. Они, разумеется, отказались и поместились на свой счет в Bath Hotel. Чтоб оценить эту странность, надо знать, что такое Стаффорд Гауз. В нем можно поместить, не стесняя хозяев, все семьи крестьян, пущенных по миру отцом дюка, а их очень много.

Англичане – дурные актеры, и это им делает величайшую честь. В первый раз как я был у Гарибальди в Стаффорд Гаузе, придворная интрига около него бросилась мне в глаза. Разные фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали непрерывно. Какой-то итальянец сделался полицмейстером, церемониймейстером, экзекутором, дворецким, бутафором, суфлером. Да и как не сделаться за честь заседать с дюками и лордами, вместе с ними предпринимать меры для предупреждения и пресечения всех сближений между народом и Гарибальди, и вместе с дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянского вождя и которую хромой генерал рвал ежедневно, не замечая ее.

Гарибальди, например, едет к Маццини. Что делать? Как скрыть? Сейчас на сцену бутафоры, фактотумы, – средство найдено. На другое утро весь Лондон читает:

"Вчера, в таком-то часу, Гарибальди посетил в Онсло-террас Джона Френса". Вы думаете, что это вымышленное имя – нет, это – имя хозяина, содержащего квартиру.

Гарибальди не думал отречься от Маццини, но он мог уехать из этого водоворота, не встречаясь с ним при людях и не заявив этого публично. Маццини отказался (252) от посещений к Гарибальди, пока он будет в Стаффорд Гаузе. Они могли бы легко встретиться при небольшом числе, но никто не брал инициативы. Подумав об этом, я написал к Маццини записку и спросил его, примет ли Гарибальди приглашение в такую даль, как Теддингтон; если нет, то я его не буду звать, тем дело и кончится, если же поедет, то я очень желал бы их обоих пригласить. Маццини написал мне на другой день, что Гарибальди очень рад и что если ему ничего не помешает, то они приедут в воскресенье, в час. Маццини в заключение прибавил, что Гарибальди очень бы желал видеть у меня Ледрю-Роллена.

В субботу утром я поехал к Гарибальди и, не застав его дома, остался с Саффи, Гверцони и другими его ждать. Когда он возвратился, толпа посетителей, ожидавших в сенях и коридоре, бросилась на него; один храбрый бритт вырвал у него палку, всунул ему в руку другую и с каким-то азартом повторил:

– Генерал, эта лучше, вы примите, вы позвольте, эта лучше.

– Да зачем же? – спросил Гарибальди, улыбаясь, – я к моей палке привык.

Но видя, что англичанин без боя палки не отдаст, пожал слегка плечами и пошел дальше.

В зале за мною шел крупный разговор. Я не обратил бы на него никакого внимания, если б не услышал громко повторенные слова:

– Capite 363, Теддингтон в двух шагах от Гамптон Корта. Помилуйте, да это невозможно, материально невозможно... в двух шагах от Гамптон Корта, – это шестнадцать – восемнадцать миль.

Я обернулся и, видя совершенно мне незнакомого человека, принимавшего так к сердцу расстояние от Лондона до Теддингтона, я ему сказал:

– Двенадцать или тринадцать миль. Споривший тотчас обратился ко мне:

– И тринадцать миль – страшное дело. Генерал должен быть в три часа в Лондоне... Во всяком случае Теддингтон надо отложить.

Гверцони повторял ему, что Гарибальди хочет ехать и поедет. (253)

К итальянскому опекуну прибавился аглицкий, находивший, что принять приглашение в такую даль сделает гибельный antecedent... Желая им напомнить неделикатность дебатировать этот вопрос при мне, я заметил им:

– Господа, позвольте мне покончить ваш спор, – и тут же, подойдя к Гарибальди,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru сказал ему: – Мне ваше посещение бесконечно дорого, и теперь больше, чем когда-нибудь, в эту черную полосу для России ваше посещение будет иметь особое значение, вы посетите не одного меня, но друзей наших, заточенных в тюрьмы, сосланных на каторгу. Зная, как вы заняты, я боялся вас звать. По одному слову общего друга, вы велели мне передать, что приедете. Это вдвое дороже для меня. Я верю, что вы хотите приехать, но я не настаиваю (*je n'insiste pas*), если это сопряжено с такими непреодолимыми препятствиями, как говорит этот господин, которого я не знаю, – я указал его пальцем.

– В чем же препятствия? – спросил Гарибальди, *Impresario* подбежал и скороговоркой представил ему все резоны, что ехать завтра в одиннадцать часов в Теддингтон и приехать к трем невозможно.

– Это очень просто, – сказал Гарибальди, – значит, надо ехать не в одиннадцать, а в десять; кажется, ясно? *Impresario* исчез.

– В таком случае, чтоб не было ни потери времени, ни искания, ни новых затруднений, – сказал я, – позвольте мне приехать к вам в десятом часу и поедемте вместе,

– Очень рад, я вас буду ждать.

От Гарибальди я отправился к Ледрю-Роллену. В последние два года я его не видал. Не потому, чтоб между нами были какие-нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общего. К тому же лондонская жизнь, и в особенности в его предместьях, разводит людей как-то незаметно. Он держал себя в последнее время одиноко и тихо, хотя и верил с тем же ожесточением, с которым верил 14 июня 1849 в близкую революцию во Франции. Я не верил в нее почти так же долго и тоже оставался при моем неверии.

Ледрю-Роллен, с большой вежливостью ко мне, отказался от приглашения. Он говорил, что душевно был бы рад опять встретиться с Гарибальди и, разумеется, готов бы был ехать ко мне, но что он, как представитель французской республики, как пострадавший за (254) Рим (13 июня 1849 года), не может Гарибальди видеть в первый раз иначе, как у себя.

– Если, – говорил он, – политические виды Гарибальди не позволяют ему официально показать свою симпатию французской республике в моем ли лице, в лице Луи Блана, или кого-нибудь из нас – все равно, я не буду сетовать. Но отклоню свиданье с ним, где бы оно ни было. Как частный человек, я желаю его видеть, но мне нет особенного дела до него; французская республика – не куртизана, чтоб ей назначать свиданье полутайком. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете к себе, и скажите откровенно, согласны вы с моим рассуждением или нет?

– Я полагаю, что вы правы, и надеюсь, что вы не имеете ничего против того, чтоб я передал наш разговор Гарибальди?"

– Совсем напротив.

Затем разговор переменялся. Февральская революция и 1848 год вышли из могилы и снова стали передо мной в том же образе тогдашнего трибуна, с несколькими морщинами и сединами больше. Тот же слог, те же мысли, те же обороты, а главное – та же надежда.

– Дела идут превосходно. Империя не знает, что делать. *Elle est debordee*364. Сегодня еще я имел вести: невероятный успех в общественном мнении. Да и довольно, кто мог думать, что такая нелепость продержится до 1864.

Я не противоречил, и мы расстались довольные друг другом.

На другой день, приехавши в Лондон, я начал с того, что взял карету с парой сильных лошадей и отправился в Стаффорд Гауз.

Когда я взшел в комнату Гарибальди, его в ней не было. А ярый итальянец уже с отчаянием проповедовал о совершенной невозможности ехать в Теддингтон.

– Неужели вы думаете, – говорил он Гверцони, – что лошади дюка вынесут двенадцать или тринадцать миль взад и вперед? Да их просто не дадут на такую

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru поездку.

- Их не нужно, у меня есть карета.
- Да какие же лошади повезут назад, все те же? (255)
- Не заботьтесь, если лошади устанут, впрягут других.

Гверцони с бешенством сказал мне:

- Когда это кончится эта каторга! Всякая дрянь распоряжается, интригует.
- Да вы не обо мне ли говорите? – кричал бледный от злобы итальянец. – Я, милостивый государь, не позволю с собой обращаться, как с каким-нибудь лакеем! – и он схватил на столе карандаш, сломал его и бросил – да если так, я все брошу, я сейчас уйду!
- Об этом-то вас просят.

Ярый итальянец направился быстрым шагом к двери, но в дверях показался Гарибальди. Покойно посмотрел он на них, на меня и потом сказал:

- Не пора ли? Я в ваших распоряжениях, только доставьте меня, пожалуйста, в Лондон к двум с половиной или трем часам, а теперь (позвольте мне принять старого друга, который только что приехал; да вы, может, его знаете, Мордини.
- Больше, чем знаю, мы с ним приятеля. Если вы не имеете ничего против, я его приглашу.
- Возьмем его с собой.

Взошел Мордини, я отошел с Саффи к окну. Вдруг фактотум, изменивший свое намерение, подбежал ко мне и храбро спросил меня:

- Позвольте, я ничего не понимаю, у вас карета, а едете – вы сосчитайте генерал, вы, Менотти, Гверцони, Саффи и Мордини... Где вы сядете?
- Если нужно, будет еще карета, две...
- А время-то их достать...

Я посмотрел на него и, обращаясь к Мордини, сказал ему:

- Мордини, я к вам и к Саффи с просьбой: возьмите энзам365 и поезжайте сейчас на Ватерлооскую станцию, вы застанете train, а то вот этот господин заботится, что нам негде сесть и нет времени послать за другой каретой, Если б я вчера знал, что будут такие затруднения, я пригласил бы Гарибальди ехать по железной дороге, теперь это потому нельзя, что я не отвечаю, найдем ли мы карету, или коляску у теддингтонской станции, А пешком идти до моего дома я не хочу его заставить. (256)
- Очень рады, мы едем сейчас, – отвечали Саффи и Мордини.

- Поедемте и мы, – сказал Гарибальди, вставая. Мы вышли; толпа уже густо покрывала место перед Стаффорд Гаузом. Громкое продолжительное ура встретило и проводило нашу карету.

Менотти не мог ехать с нами, он с братом отправлялся в Виндзор. Говорят, что королева, которой хотелось видеть Гарибальди, но которая одна во всей Великобритании не имела на то права, желала нечаянно встретиться с его сыновьями. В этом дележе львиная часть досталась не королеве...

### III. У НАС

День этот удался необыкновенно и был одним из самых светлых, безоблачных и прекрасных дней – последних пятнадцати лет. В нем была удивительная ясность и полнота, в нем была эстетическая мера и законченность – очень редко случающиеся. Одним днем позже – и праздник наш не имел бы того характера. Одним не итальянцем



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru больше, и тон был бы другой, по крайней мере была бы боязнь, что он исказится. Такие дни представляют вершины .. Дальше, выше, в сторону – ничего, как в пропетых звуках, как в распустившихся цветах.

С той минуты, как исчез подъезд Стаффорд Гауза с фактотумами, лакеями и швейцаром сутерландского дюка и толпа приняла Гарибальди своим ура – на душе стало легко, все настроилось на свободный человеческий диапазон, и так осталось до той минуты, когда Гарибальди, снова теснимый, сжимаемый народом, целуемый в плечо и в полы, сел в карету и уехал в Лондон.

На дороге говорили об разных разностях. Гарибальди дивился, что немцы не понимают, что в Дании побеждает не их свобода, не их единство, а две армии двух деспотических государств, с которыми они после не сладят<sup>366</sup>.

– Если б Дания была поддержана в ее борьбе, – говорил он, – силы Австрии и Пруссии были бы отвле(257)чены, нам открылась бы линия действий на противоположном берегу.

Я заметил ему, что немцы – страшные националисты, что на них наклепали космополитизм, потому что их знали по книгам. Они патриоты не меньше французов, но французы спокойнее, зная, что их боятся. Немцы знают невыгодное мнение о себе других народов и выходят из себя, чтоб поддержать свою репутацию.

– Неужели вы думаете, – прибавил я, – что есть немцы, которые хотят отдать Венецию и квадрилатер? Может, еще Венецию, – вопрос этот слишком на виду, неправда этого дела очевидна, аристократическое имя действует на них; а вы поговорите о Триесте, который им нужен для торговли, и о Галиции или Познани, которые им нужны для того, чтоб их цивилизовать.

Между прочим, я передал Гарибальди наш разговор с Ледрю-Ролленом и прибавил, что, по моему мнению, Ледрю-Роллен прав.

– Без сомнения, – сказал Гарибальди, – совершенно прав. Я не подумал об этом. Завтра поеду к нему и к Луи Блану. Да нельзя ли заехать теперь? прибавил он.

Мы были на Вондсвортском шоссе, а Ледрю-Роллен живет в Сен Джонс Вуд-парке, то есть за восемь миль. Пришлось и мне a limpresario сказать, что это материально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчал, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминал. Он глядел вдаль, словно искал чего-то на горизонте. Я не прерывал его, а смотрел и думал: "Меч ли он в руках проведения", или нет, но наверное не полководец по ремеслу, не генерал. Он сказал святую истину, говоря, что он не солдат, а просто человек, вооружившийся, чтоб защитить поруганный очаг свой. Апостол-воин, готовый проповедовать крестовый поход и идти во главе его, готовый отдать за свой народ свою душу, своих детей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, рассеять его прах... и, позабывши потом победу, бросить окровавленный меч свой вместе с ножнами в глубину морскую...

Все это и именно это поняли народы, поняли массы, поняла чернь – тем ясновидением, тем откровением, ко(258)торым некогда римские рабы поняли непонятную тайну пришествия Христова, и толпы страждущих и обремененных, женщин и старцев – молились кресту казненного. Понять, значит для них уверовать, уверовать – значит чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейский Теддингтон и толпился у решетки нашего дома, с утра поджидая Гарибальди. Когда мы подъехали, толпа в каком-то исступлении бросилась его приветствовать, жала –ему руки, кричала:

"God bless you, Garibaldi!"<sup>367</sup>; женщины хватили руку его и целовали, целовали край его плаща – я это видел своими глазами, – подымали детей своих к нему, плакали... Он, как в своей семье, улыбаясь, жал им руки, кланялся и едва мог пройти до сеней. Когда он взошел, крик удвоился – Гарибальди вышел опять и, положа обе руки на грудь, кланялся во все стороны. Народ затих, но остался и простоял все время, пока Гарибальди уехал.

Трудно людям, не видавшим ничего подобного, – людям, выросшим в канцеляриях,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru казармах и передней, понять подобные явления – "флибустьер", сын моряка из Ниццы, матрос, повстанец... и этот царский прием! Что он сделал для английского народа?... И добрые люди ищут, ищут в голове объяснения, ищут тайную пружину. "В Англии удивительно с каким плутовством умеет начальство устраивать демонстрации... Нас не проведешь – wir wissen, was wir wissen<sup>368</sup> мы сами Гнейста читали!"

Чего доброго, может, и лодочник в Неаполе, который рассказывал<sup>369</sup>, что медальон Гарибальди и медальон богородицы предохраняют во время бури, был подкуплен партией Сиккарди и министерством Венеты!

Хотя оно и сомнительно, чтоб журнальные Видоки, особенно наши москворецкие, так уж ясно могли отгадывать игру таких мастеров, как Палмерстон, Гладстон и К°, но все же иной раз они ее скорее поймут, по сочувствию крошечного паука с огромным тарантулом, чем секрет гарибальдиевского приема. И это превосходно для них, – пойми они эту тайну, им придется по(259)веситься на ближней осине. Клопы на том только основании и могут жить счастливо, что они не догадываются о своем запахе. Горе клопу, у которого раскроется человеческое обоняние...

...Маццини приехал тотчас после Гарибальди, мы все вышли его встречать к воротам. Народ, услышав, кто это, громко приветствовал; народ вообще ничего не имеет против него. Старушечий страх перед конспиратором, агитатором начинается с лавочников, мелких собственников и проч.

Несколько слов, которые сказали Маццини и Гарибальди, известны читателям – "Колокола", мы не считаем нужным их повторять.

...Все были до того потрясены словами Гарибальди о Маццини, тем искренним голосом, которым они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало в них, той торжественностью, которую они приобретали от ряда предшествовавших событий, что никто не отвечал, один Маццини протянул руку и два раза повторил: "Это слишком". Я не видал ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида rescue<sup>11370</sup> и не было бы взволновано сознанием, что тут пали великие слова, что эта минута вносилась в историю.

...Я подошел к Гарибальди с бокалом, когда он говорил о России, и сказал, что его тост дойдет до друзей наших в казематах и рудниках, что я благодарю его за них.

Мы перешли в другую комнату. В коридоре понабрались разные лица, вдруг продирается старик итальянец, стародавний эмигрант, бедняк, делавший мороженое, он схватил Гарибальди за полу, остановил его и, заливаясь слезами, сказал:

– Ну, теперь я могу умереть; я его видел, я его видел!

Гарибальди обнял и поцеловал старика. Тогда старик, перебиваясь и путаясь, с страшной быстротой народного итальянского языка, начал рассказывать Гарибальди свои похождения и заключил свою речь удивительным цветком южного красноречия:

– Я теперь умру покойно, а вы – да благословит вас бог – живите долго, живите для нашей родины, живите для нас, живите, пока я воскресну из мертвых! (260)

Он схватил его руку, покрыл ее поцелуями и, рыдая, ушел вон.

Как ни привык Гарибальди ко всему этому, но, явным образом взволнованный, он сел на небольшой диван, дамы окружили его, я стал возле дивана, и на него налетело облако тяжелых дум – но на этот раз он не вытерпел и сказал:

– Мне иногда бывает страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... Слишком много хорошего. Я помню, когда изгнанником я возвращался из Америки в Ниццу – когда я опять увидал родительский дом, нашел свою семью, родных, знакомые места, знакомых людей – я был удручен счастьем... Вы знаете, – прибавил он, обращаясь ко мне, – что и что было потом, какой ряд бедствий. Прием народа английского превзошел мои ожидания... Что же дальше? Что впереди?

Я не имел ни одного слова успокоения, я внутренне дрожал перед вопросом: что дальше, что впереди?

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
...Пора было ехать. Гарибальди встал, крепко обнял меня, дружески простился со всеми – снова крики, снова ура, снова два толстых полицейских, и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу; снова "God bless you, Garibaldi, for ever"<sup>371</sup>, и карета умчалась.

Все остались в каком-то поднятом, тихо торжественном настроении. Точно после праздничного богослужения, после крестин или отъезда невесты у всех было полно на душе, все перебирали подробности и примыкали к грозному, безответному – "а что дальше?"

Князь П. В. Долгорукий первый догадался взять лист бумаги и записать оба тоста. Он записал верно, другие пополнили. Мы показали Маццини и другим и составили тот текст (с легкими и несущественными переменами), который, как электрическая искра, облетел Европу, вызывая крик восторга и рев негодования...

Потом уехал Маццини, уехали гости. Мы остались одни с двумя-тремя близкими, и тихо настали сумерки.

Как искренно и глубоко жалел я, дети, что вас не было с нами в этот день, такие дни хорошо помнить долгие годы, от них свежеет душа и примиряется с изнанкой жизни. Их очень мало... (261)

#### IV.26, PRINCES GATE

"Что-то будет?"... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Как в старых эпопеях, в то время как герой спокойно отдыхает на лаврах, пирует или спит, – Раздор, Месть, Зависть в своем парадном костюме съезжаются в каких-нибудь тучах, Месть с Завистью варят яд, куют кинжалы, а Раздор раздувает мехи и оттачивает остря, Так случилось и теперь, в приличном переложении на наши мирно-кроткие нравы. В наш век все это делается просто людьми, а не аллегориями; они собираются в светлых залах, а не во "тьме ночной", без растрепанных фурий, а с пудренными лакеями; декорации и ужасы классических поэм и детских пантомим заменены простой мирной игрой – в крапленые карты, колдовство – обыденными коммерческими проделками, в которых честный лавочник клянется, продавая какую-то смородинную ваксу с водкой, что это "порт" и притом "олдпорт \*\*\*"<sup>372</sup>, зная, что ему никто не верит, но и процесса не сделает, а если сделает, то сам же и будет в дураках.

В то самое время, как Гарибальди называл Маццини своим "другом и учителем", называл его тем ранним, бдящим сеятелем, который одиноко стоял на поле, когда все спало около него, и, указывая просыпавшимся путь, указал ему тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, из которого вышел вождем народа итальянского; в то время как, окруженный друзьями, он смотрел на плакавшего бедняка изгнанника, повторявшего свое "ныне отпускаеши", и сам чуть не плакал – в то время, когда он поверял нам свой тайный ужас перед будущим, какие-то заговорщики решили отделаться, во что б ни стало, от неловкого гостя и, несмотря на то что в заговоре участвовали люди, состарившиеся в дипломатиях и интригах, поседевшие и падшие на ноги в каверзах и лицемерии, они сыграли свою игру вовсе не хуже честного лавочника, продающего на свое честное слово смородинную ваксу за Old Port \*\*\*.

Английское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди, это все вздор, выдуманный глубокомысленными журналистами на континенте. Ан(262)гличане, приглашавшие Гарибальди, не имеют ничего общего с министерством. Предположение правительственного плана так же нелепо, как тонкое замечание наших кретин о том, что Палмерстон дал Станфильду место в адмиралтействе именно потому, что он друг Маццини. Заметьте, что в самых яростных нападках на Станфильда и Палмерстона об этом не было речи ни в парламенте, ни в английских журналах, подобная пошлость возбудила бы такой же смех, как обвинение Уркуарда, что Палмерстон берет деньги с России. Чамберс и другие спрашивали Палмерстона, не будет ли приезд Гарибальди неприятен правительству. Он отвечал то, что ему следовало отвечать: правительству не может быть неприятно, чтоб генерал Гарибальди приехал в Англию, оно с своей стороны не отклоняет его приезда и не приглашает его.

Гарибальди согласился приехать с целью снова выдвинуть в Англии итальянский вопрос, собрать настолько денег, чтоб начать поход в Адриатике и совершившимся

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru фактом увлечь Виктора-Эммануила.

Вот и все.

что Гарибальди будут овации – знали очень хорошо приглашавшие его и все желавшие его приезда. Но оборота, который приняло дело в народе, они не ждали.

Английский народ при вести, что человек "красной рубашки", что раненный итальянской пулей едет к нему в гости, восторженно и взмахнул своими крыльями, отвыкшими от полета и потерявшими гибкость от тяжелой и непрерывной работы. В этом взмахе была не одна радость и не одна любовь – в нем была жалоба, был ропот, был стон – в апофеозе одного было порицание другим.

Вспомните мою встречу с корабельщиком из Нью-Кестля. Вспомните, что лондонские работники были первые, которые в своем адресе преднамеренно поставили имя Маццини рядом с Гарибальди.

Английская аристократия на сию минуту от своего могучего и забитого недоросля ничего не боится, сверх того, ее Ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революции. Но все же ей был крайне неприятен характер, который принимало дело. Главное, что коробило Народных пастырей в мирной агитации работников, это то, что она выводила их из достоюлжного строя, отвлекала их от доброй, нравственной и притом безвыход(263)ной заботы о хлебе насущном, от пожизненного hard labour, на который не они его приговорили, а наш общий фабрикант, our Maker373, бог Шефсбюри, бог Дерби, бог Сутерландов и Девонширов – в неисповедимой премудрости своей и нескончаемой благодати.

Настоящей английской аристократии, разумеется, и в голову не приходило изгонять Гарибальди; напротив, она хотела утянуть его в себя, закрыть его от народа золотым облаком, как закрывалась волоокая Гера, забавляясь с Зевсом. Она собиралась заласкать его, закормить, запить его, не дать ему прийти в себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочет денег, – много ли могут ему собрать осужденные благодатью нашего "фабриканта", фабриканта Шефсбюри, Дерби, Девоншира, на тихую и благословенную бедность? Мы ему набросаем полмиллиона, миллион франков, полпари за лошадь на эпсомской скачке, мы ему купим

Деревню, дачу, дом,

Сто тысяч чистым серебром.

Мы ему купим остальную часть Капреры, мы ему купим удивительную яхту – он так любит кататься по морю, – а чтоб он не бросил на вздор деньги (под вздором разумеется освобождение Италии), мы сделаем майорат, мы предоставим ему пользоваться рентой374.

Все эти планы приводились в исполнение с самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди, точно месяц в ненастную ночь, как облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались – выходил светлый, ясный и светил к нам вниз.

Аристократия начала несколько конфузиться. На выручку ей явились дельцы. Их интересы слишком скоротечны, чтоб думать о нравственных последствиях агитации, им надобно владеть минутой, кажется, один Цезарь поморщился, кажется, другой насупился – как бы этим не воспользовались тори... и то Станфильдова история вот где сидит. (264)

По счастью, в самое это время Кларендону занудилось попилигримствовать в Тюльери. Нужда была небольшая, он тотчас возвратился. Наполеон говорил с ним о Гарибальди и изъявил свое удовольствие, что английский народ чтит великих людей, Дрюэн-де-Люис говорил, то есть он ничего не говорил, а если б он заикнулся

я близ Кавказа рождена,

Civis romanus sum!375

Австрийский посол даже и не радовался приему умвельцунгс-генерала376. Все обстояло благополучно. А на душе – то кошки... кошки.

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Не спится министерству; шепчется "первый" с вторым, "второй" - с другом Гарибальди, друг Гарибальди - с родственником Палмерстона, с лордом Шефсбюри и с еще большим его другом Сили. Сили шепчется с оператором Фергуссоном... Испугался Фергуссон, ничего не боявшийся, за ближнего и пишет письмо за письмом о болезни Гарибальди. Прочитавши их, еще больше хирурга испугался Гладстон. Кто мог думать, какая пропасть любви и сострадания лежит иной раз под портфелем министра финансов?..

...На другой день после нашего праздника поехал я в Лондон. Беру на железной дороге вечернюю газету и читаю большими буквами: "Болезнь генерала Гарибальди", потом весть, что он на днях едет в Капреру, не заезжая ни в один город. Не будучи ни так нервно чувствителен, как Шефсбюри, ни так тревожлив за здоровье друзей, как Гладстон, я нисколько не обеспокоился газетной вестью о болезни человека, которого вчера видел совершенно здоровым, - конечно, бывают болезни очень быстрые; император Павел, например, хирел не долго, но от апоплексического удара Гарибальди был далек, а если б с ним что и случилось, кто-нибудь из общих друзей дал бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monte377.

Ехать к Гарибальди было поздно. Я отправился к Маццини и не застал его, потом - к одной даме, от (265) которой узнал главные черты министерского сострадания к болезни великого человека. Туда пришел и Маццини, таким я его еще не видал: в его чертах, в его голосе были слезы.

Из речи, сказанной на втором митинге на Примроз-Гиле Шеном, можно знать ep gros378, как было дело., "Заговорщики" были им названы, и обстоятельства описаны довольно верно. Шефсбюри приезжал советоваться с Сили; Сили, как деловой человек, тотчас сказал, что необходимо письмо Фергуссона; Фергуссон слишком учтивый человек, чтоб отказать в письме., С ним-то в воскресенье вечером, 17 апреля, явились заговорщики в Стаффорд Гауз и возле комнаты, где Гарибальди спокойно сидел, не зная ни того, что он так болен, ни того, что он едет, ел виноград, - сговаривались, что делать. Наконец храбрый Гладстон взял на себя трудную роль и пошел в сопровождении Шефсбюри и Сили в комнату Гарибальди. Гладстон заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, депутации, мудрено ли было заговорить Гарибальди, к тому же он речь вел на итальянском языке, и хорошо сделал, потому что вчетвером говорил без свидетелей. Гарибальди ему отвечал сначала, что он здоров, но министр финансов не мог принять случайный факт его здоровья за оправдание и доказывал по Фергуссону, что он болен, и это с документом в руке. Наконец, Гарибальди, догадавшись, что нежное участие прикрывает что-то другое, спросил Гладстона, "значит ли все это, что они желают, чтоб он ехал?" Гладстон не скрыл от него, что присутствие Гарибальди во многом усложняет трудное без того положение.

- В таком случае я еду.

Смягченный Гладстон испугался слишком заметного успеха и предложил ему ехать в два-три города и потом отправиться в Капреру.

- . Выбирать между городами я не умею, - отвечал оскорбленный Гарибальди, - и даю слово, что -через два дня уеду.

...В понедельник была интерпелляция в парламенте., Ветреный старичок Палмерстон в одной и быстрый пилигрим Кларендон в другой палате все объясняли по (266) чистой совести, Кларендон удостоверил пэров, что Наполеон вовсе не требовал высылки Гарибальди. Палмерстон, с своей стороны, вовсе не желал его удаления, он только беспокоился о его здоровье... и тут он вступил во все подробности, в которые вступает любящая жена или врач, присланный от страхового общества, - о часах сна и обеда, о последствиях раны, о диете, о волнении, о летах. Заседание парламента сделалось консультацией лекарей. Министр ссылался не на Чатама и Кем-беля, а на лечебники и Фергуссона, помогавшего ему в этой трудной операции.

Законодательное собрание решило, что Гарибальди болен. Города и села, графства и банки управляются в Англии по собственному крайнему разумению. Правительство, ревниво отталкивающее от себя всякое подозрение в вмешательстве, дозволяющее ежедневно умирать, людям с голоду - боясь ограничить самоуправление рабочих домов, позволяющее морить на работе и кретинизировать целые населения, - вдруг делается больницы сиделкой, дядькой. Государственные люди бросают кормило великого корабля и шушукуются о здоровье человека, не просящего их о том,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru прописывают ему без его спроса Атлантический океан и сутерландскую "Ундину", министр финансов забывает баланс, income-tax, debet и credit и едет на консилиум. Министр министров докладывает этот патологический казус парламенту. Да неужели самоуправление желудком и ногами меньше свято, чем производ богоугодных заведений, служащих введением в кладбище?

Давно ли Станфильд пострадал за то, что, служа королеве, не счел обязанностью поспорить с Маццини. А теперь самые местные министры пишут не адреса, а рецепты и хлопочут из всех сил о сохранении дней такого же революционера, как Маццини?

Гарибальди должен был усомниться в желании правительства, изъявленном ему слишком горячими друзьями его, – и остаться. Разве кто-нибудь мог сомневаться в истине слов первого министра, сказанных представителям Англии, – ему это советовали все друзья.

– Слова Палмерстона не могут развязать моего честного слова, – отвечал Гарибальди и велел укладываться.

Это Сольферино! (267)

Белинский давно заметил, что секрет успеха дипломатов состоит в том, что они с нами поступают, как с дипломатами, а мы – с дипломатами, как с людьми.

Теперь вы понимаете, что одним днем позже – и наш праздник и речь Гарибальди, его слова о Маццини не имели бы того значения.

...На другой день я поехал в Стаффорд Гауз и узнал, что Гарибальди переехал к Сили, 26 Princes gate, возле Кензинтонского сада. Я отправился в Princes gate;

говорить с Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали с глаз; человек двадцать гостей ходило, сидело, молчало, говорило в зале, в кабинете.

– Вы едете? – сказал я и взял его за руку. Гарибальди пожал мою руку и отвечал печальным голосом:

– я покоряюсь necessities (je me plie aux necessites).

Он куда-то ехал; я оставил его и пошел вниз, там застал я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона, все были вне себя от отъезда Гарибальди. Взошла m-me Сили и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась с чрезвычайным красноречием к хозяйке дома, говоря о счастье познакомиться с такой personne distinguee379. M-me Сили обратилась к Станфильду, прося его перевести, в чем дело. Француженка продолжала:

– Ах, боже мой, как я рада! Это, верно, ваш сын? позвольте мне ему представиться.

Станфильд разуверил француженку, не заметившую, что m-me Сили одних с ним лет, и просил ее сказать, что ей угодно. Она бросила взгляд на меня (Саффи и другие ушли) и сказала:

– Мы не одни.

Станфильд назвал меня. Она тотчас обратилась с речью ко мне и просила остаться, но я предпочел ее оставить в fete a tete со Станфильдом и опять ушел вверх. Через минуту пришел Станфильд с каким-то крюком или рванью. Муж француженки избрал его, и она хотела одобрения Гарибальди. (268)

Последние два дня были смутны и печальны. Гарибальди избегал говорить о своем отъезде и ничего не говорил о своем здоровье... во всех близких он встречал печальный упрек. Дурно было у него на душе, но он молчал.

Накануне отъезда, часа в два, я сидел у него, когда пришли сказать, что в приемной уже тесно. В этот день представлялись ему члены парламента с семействами и разная nobility и gentry380, всего, по "Теймсу", до двух тысяч человек, – это было grande levee381, царский выход, да еще такой, что не только король виртембергский, но и прусский вряд натянет ли без профессоров и

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
унтер-офицеров.

Гарибальди встал и спросил:

- Неужели пора?

Стансфильд, который случился тут, посмотрел на часы и сказал:

- Еще минут пять есть до назначенного времени. Гарибальди вздохнул и весело сел на свое место. Но тут прибежал фактотум и стал распоряжаться, где поставить диван, в какую дверь входить, в какую выходить.

- Я уйду, - сказал я Гарибальди.

- Зачем, оставайтесь.

- Что же я буду делать?

- Могу же я, - сказал он, улыбаясь, - оставить одного знакомого, когда принимаю столько незнакомых.

Отворились двери; в дверях стал импровизированный церемониймейстер с листом бумаги и начал громко читать какой-то адрес-календарь: The girht honourable so and so - honourable - esquire - lady - esquire - Lordship - miss - esquire - m. p. - m. p. - m. p.382 без конца. При каждом имени врывались в дверь и потом покойно плыли старые и молодые кринолины, аэростаты, седые головы и головы без волос, крошечные и толстенные старички-крепьши и какие-то худые жи(269)рафы без задних ног, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что как-то подпирали верхнюю часть головы, на огромные желтые зубы... Каждый имел три, четыре, пять дам, и это было очень хорошо, потому что они занимали место пятидесяти человек и таким образом спасали от давки. Все подходило по очереди к Гарибальди, мужчины трясли ему руку с той силой, с которой это делает человек, поймав пальцем в кипяток, иные при этом что-то говорили, большая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрели так страстно и долго на Гарибальди, что в нынешнем году, наверное, в Лондоне будет урожай детей с его чертами, а так как детей и теперь уж водят в таких же красных-рубашках, как у него, то дело станет только за плащом.

Откланявшиеся плыли в противоположную дверь, открывавшуюся в залу, и спускались по лестнице; более смелые не торопились, а старались побыть в комнате.

Гарибальди сначала стоял, потом садился и вставал, наконец просто сел. Нога не позволяла ему долго стоять, конца приему нельзя было и ожидать... кареты все подъезжали... церемониймейстер все читал памятки.

Грянула музыка horse-guardsov383, я постоял, постоял и вышел сначала в залу, а потом вместе с потоком кринолинных волн достиг до каскады и с нею очутился у дверей комнаты, где обыкновенно сидели Саффи и Мордини. В ней никого не было; на душе было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка с позолотой и рядом эта комедия царского приема? Усталый, бросился я на диван; музыка играла из "Лукреции", и очень хорошо; я стал слушать. - Да, да, "Non curiamo l'incerto dramai"384.

В окно был виден ряд карет; эти еще не подъехали, вот двинулась одна и за ней вторая, третья, опять остановка, и мне представилось, как Гарибальди, с раненой рукой, усталый, печальный, сидит, у него по лицу идет туча, этого никто не замечает, и все плывут кринолины, и все идут right honourableи седые, плешивые, скулы, жирафы... (270)

...Музыка гремит, кареты подъезжают... Не знаю, как это случилось, но я заснул; кто-то отворил дверь и разбудил меня... Музыка гремит, кареты подъезжают, конца не видать... Они в самом деле его убьют!

Я пошел домой.

На другой день, то есть в день отъезда, я отправился к Гарибальди в семь часов утра и нарочно для этого ночевал в Лондоне. Он был мрачен, отрывист, тут только можно было догадаться, что он привык к начальству, что он был железным вождем на

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
поле битвы и на море.

Его поймал какой-то господин, который привел сапожника-изобретателя обуви с железным снарядом для Гарибальди. Гарибальди сел самоотверженно на кресло сапожник в поте лица надел на него свою колодку, потом заставил его потопать и походить; все оказалось хорошо.

- Что ему надобно заплатить? - спросил Гарибальди.

- Помилуйте-с, - отвечал господин, - вы его осчастливите, принявши.

Они отретировались.

- На днях это будет на вывеске, - заметил кто-то, а Гарибальди с умоляющим видом сказал молодому человеку, который ходил за ним:

- Бога ради, избавьте меня от этого снаряда, мочи нет, больно.

- Это было ужасно смешно.

Затем явились аристократические дамы - менее важные толпой ожидали в зале.

Я и Огарев, мы подошли к нему,

- Прощайте, - сказал я. - Прощайте и до свиданья в Капрере.

Он обнял меня, сел, протянул нам обе руки и голосом, который так и резнул по сердцу, сказал:

- Простите меня, простите меня; у меня голова кругом идет, приезжайте в Капреру, и он еще раз обнял нас.

Гарибальди после приема собирался ехать на свидание с дюком Вольским в Стаффорд Гауз. Мы вышли из ворот и разошлись. Огарев пошел к Маццини, я - к Ротшильду. У Ротшильда в конторе еще не было никого. Я взошел в таверну св. Павла, (271) и там не было никого... Я спросил себе ромстик и, сидя совершенно один, перебирал подробности этого "сновидения в весеннюю ночь"...

- Ступай, великое дитя, великая сила, великий юродивый и великая простота. Ступай на свою скалу, плебей в красной рубашке и король Лир! Гонерилья тебя гонит, оставь ее, у тебя есть бедная Корделия, она не разлюбит тебя и не умрет!

Четвертое действие кончилось...

Что-то будет в пятом?

15 мая 1864.

1 гостиной (англ.).

2 прихода и расхода (лат.).

3 в "Поляр. звезда" (Прим. А. И. Герцена)

4 Всегда твой друг Виктор (итал.).

5 настороже (франц.).

6 до кончика ногтей (франц.).

7 народ-инициатор (франц.).

8 Этот разговор был осенью 1852. (Прим. А. И. Герцена.)

9 Уменьшительное от Джузеппе. (Прим. А. И. Герцена.)

10 радикалами (исп.).



- 11 единственным истолкователем божественного закона (итал.).
- 12 "Пол. звезда" V. (Прим. А. И. Герцена.)
- 13 по мелочам (франц.).
- 14 добрым малым... любителем хорошо пожить (франц.).
- 15 Мужички дальних краев любили Le Due Rollina и жалели только, что им руководствует женщина, с которой он связался - La Martine. Что она-то дюка и сбивает, а что он сам pour le populaire <за народ (франц.)>. (Прим. А. И. Герцена.)
- 16 приветствовать торжественной речью (от франц. haranguer).
- 17 революция сделана, это ясно, как день (франц.).
- 18 несчастных (от франц. miserable).
- 19 до свидания (франц.).
- 20 гостиной (от англ. parlour).
- 21 к старику, к старику (южно-нем.).
- 22 теперь и всегда (итал.).
- 23 изгнанники (от франц. refuge).
- 24 почва (франц.).
- 25 офранцужены (исп.).
- 26 теперь или никогда (итал.).
- 27 острове Уайт (англ.).
- 28 о свободе (англ.).
- 29 общественное положение (франц.).
- 30 да (англ.).
- 31 да (нем.).
- 32 хорошо (англ.).
- 33 облик (лат.).
- 34 в области теории (нем.).
- 35 в кутузку (франц.).
- 36 в полном сборе (франц.).
- 37 Ну вот, а вы еще говорите об этой отвратительной стране с ее проклятою свободой! (франц.).
- 38 грубая сила на службе у черного фанатизма? (франц.).
- 39 и предводитель шайки (франц.).
- 40 В пояснение того, что мой красный приятель употреблял в разговоре с полисменом, слово "monsieur", чтобы не употреблять во зло слово "citoyen", надо вот что рассказать. В одной из темных, бедных и нечистых улиц, лежащих между Сого и Лестер-сквером, где обыкновенно кочует недостаточная часть эмиграции, завел какой-то красный ликворист небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашел к нему,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
взять седативной воды. За прилавком сидел он сам, высокий, с грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большим носом и ртом несколько на сторону. Настоящий уездный террорист 94 года, к тому же и бритый. "Распалевой воды на шесть пенсов, monsieur", - сказал я. Он отвечивал какую-то траву, за которой пришла девочка, не обращая никакого внимания на мой вопрос, я мог досыта налюбоваться этим Collet d'herbois, пока он, наконец, припечатал сургучом уголки бумажного пакета, надписал и потом довольно строго обратился ко мне с "platt-il?" (что прикажете? (франц.)) - "Распалевой воды на шесть пенсов, - повторил я, - monsieur". Он посмотрел на меня с каким-то свирепым выражением и, оглядев с головы до ног, важным и густым голосом сказал мне: "Citoyen, s'il vous platt!" (Гражданин, пожалуйста! (франц.)) (Прим. А. И. Герцена.)

41 это я, "сударь", ибо я, конечно, воздерживаюсь от того, чтобы называть такую сволочь "гражданином" (франц.).

42 начальник полицейских (франц.).

43 Да здравствует демократическая и социальная республика! (франц.)

44 Ну! Это остановка в грязи... это ненормально! (франц.)

45 уравнилельных (от франц. egalitaire.).

46 скромный (франц.).

47 Здесь: людей свободных профессий (франц.).

48 Не играйте с огнем. (Буквально; не будьте спящей кошки) (франц.).

49 столичной полиции (англ.).

50 - Зачем вы испортили вашего "Chiffonnier", навязав ему в . конце счастливую развязку - портящую и нравственность пьесы и ее артистическое единство? - спросил я раз Пиа. - Затем, - отвечал он, - что если б я огорчил парижан мрачной судьбой старика и девушки, на другое представление никто бы не пошел. (Прим. А. И. Герцена.)

51 Революционная коммуна (франц.).

52 в стране неверных (лат.).

53 бывшим изгнанником и бывшим поляком (франц.).

54 юрист (англ.).

55 королеве (от англ. queen).

56 домашнего обыска (франц.).

57 чрезвычайно живой (франц.).

58 он все уяснил для себя (нем.).

59 Все это, за исключением некоторых добавок и поправок, писано лет десять тому назад. Я должен признаться, что последние события заставили меня отчасти изменить мое мнение о Луи Блане. Он действительно сделал шаг вперед - и, как следовало ожидать от якобинских старообрядцев, - он ему не прошел даром.

- Что делать, - говорил еще мне в разгар Мехиканской войны Луи Блан, честь нашего знамени компрометирована.

Мнение чисто французское и совершенно противучеловеческое. Видно, оно сильно мучило Луи Блана. Через год, за обедом, который давал в Брюсселе В. Гюго после издания "Les Misérables", Луи Блан в своей речи сказал: "Горе народу, когда его понятие о чести вообще - не совпадает с понятием военной чести". Тут был целый переворот. Он-то и обличился при начале последней войны. Энергические, полные меткости и истины статьи Луи Блана, помещаемые в "Le Temps" возбудили грозу "Sieclen" и "Opinion National" - они чуть не выдали Луи Блана за австрийского

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru агента – и выдали бы совсем, если б он не пользовался действительно заслуженной репутацией – чистоты.

Не даром достается французам прогресс. (Прим. А. И. Герцена.)

60 До чего доходило остервенение хранителей порядка в этот день, можно измерить тем, что Национальная гвардия схватила на бульваре Луи Блана, которого вовсе не следовало арестовать и которого полиция тотчас велела освободить. Видя это, национальный гвардеец, державший его, схватил его за палец, врезал в него свои ногти и повернул последний сустав. (Прим. А. И. Герцена.)

61 "История десяти лет" (франц.).

62 закон Линча (англ.).

63 "Всемирное братство, как основа всемирной республики. – Долой наемный труд и да здравствует солидарность народов!" (франц.)

64 "Для меня, видите ли, республика не форма правления, это – религия, и она тогда только будет истинной республикой, когда будет религией." – "И когда религия станет республикой." – "неприменно!" (франц.)

65 театральный эффект (франц.).

66 набата (франц.)

67 вопрос чести (франц.).

68 самодовольства (франц.).

69 отмены (от франц. *revoquer*).

70 сельского стражника (франц.).

71 Я был в Ницце во время варского и драгиньянского восстания. Двое крестьян, замешанных в дело, пробрались до реки Вара, составляющей границу. Тут они были настигнуты жандармом. Жандарм выстрелил в одного из них и ранил в ногу – тот свалился, в это время другой пустился бежать. Жандарм хотел раненого привязать к лошади, но, боясь упустить того, он выстрелил в голову *a bout jportant* (в упор (франц.)) раненому; уверенный, что убил его, он поскакал за другим. Изуродованный крестьянин остался жив. (Прим. А. И. Герцена.)

72 помятыми (от франц. *chif fanner*).

73 В следующей главе два процесса работника Бартелеми. (Прим. А. И. Герцена.)

74 "Гренадеры, вперед, к оружию! Шагом мэрш... в штыки!" (франц.)

75 Шаррьер, на улице Медицинской школы (франц.).

76 "Благо народа" (лат.).

77 "Храни императора" (лат.).

78 полном облачении (от лат. *ornafum*).

79 переливания (от франц. *transfusion*).

80 "выйдет на свет божий" (нем.).

81 Да погибнут те, кто раньше нас высказал сказанное нами (лат.).

82 управления (от англ. *board*).

83 лавочниками (франц.).

84 Смотрите сюда, на этот портрет и на тот... Кудри Гипериона, чело самого Юпитера, взгляд, как у Марса... Посмотрите теперь на другой, вот ваш супруг

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru (англ.).

85 великое неизвестное (лат.).

86 "Христианская нравственность имеет весь характер реакции, это большею частию один протест против язычества. Ее идеал скорее отрицательный, чем положительный, страдательный – чем деятельный. Она больше проповедует воздержание от зла, чем делание добра. Ужас от чувственности доведен до аскетизма. Награды на небе и наказания в аду придают самым лучшим поступкам чисто эгоистический характер, и в этом отношении христианское воззрение гораздо ниже античного. Лучшая часть в наших смутных понятиях об общественных обязанностях взята из греческих и римских источников. Все доблестное, благородное, самое понятие чести передано нам светским воспитанием нашим – а не духовным, проповедующим слепое повиновение как высшую добродетель". J.-S. Mill. (Прим. А. И. Герцена.)

87 коллективная посредственность (англ.).

88 филантропическая забава (англ.).

89 Пусть читатели вспомнят, что было сказано об этом в "Западных арабесках", "Полярная звезда" на 1856 год. (Прим, А. И. Герцена.)

90 Всегда то же самое (лат.).

91 респектабельность (англ.).

92 Этот разбор книги Д. С. Милля мы берем из V книжки "Полярной звезды", которая выйдет к 1 мая. (Прим. А. И. Герцена)

93 Правь, Британия! (англ.)

94 Рассказ этот относится к отрывку, помещенному в VI кн. "Полярной звезды", (Прим. А. И. Герцена.)

95 мятеж (от франц. Emeute).

96 братством (от нем. Bruder).

97 партий, кружков (от франц. coterie).

98 "Черт возьми!" (англ.)

99 пивных (англ.).

100 лорд верховный судья (англ.).

101 стряпчих, поверенных (от англ. attorney, solicitor).

102 верховного судьи (от англ. chief-justice).

103 стоять в очереди (от франц. fvre la queue).

104 человекоубийстве (англ.).

105 Пардигон, схваченный в Июньские дни, был брошен в тюльерийский подвал; там находилось тысяч до пяти человек. Тут были холерные, раненые, умиравшие. Когда правительство прислало Корменена освидетельствовать положение их, то, отворивши двери, он и доктора отпрянули от удушающей заразной вонючей вони. К окошечкам *soupiraille* <отдушины (франц.)> было запрещено подходить. Пардигон, изнемогая от духоты, поднял голову, чтоб подышать, это заметил часовой из Национальной гвардии и сказал ему, чтоб он отошел, или он выстрелит. Пардигон медлил, тогда почтенный буржуа опустил дуло и выстрелил в него, пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть, он упал. Вечером часть арестантов повели в форты, в том числе подняли раненого Пардигона, связали ему руки и повели. Тут известная тревога на Карузельской площади, в которой Национальная гвардия со страха стреляла друг в друга, раненый Пардигон выбился из сил и упал, его бросили на пол в полицейскую кордегардию, и он остался с связанными руками, лежа на спине и захлебываясь своей кровью из раны. Так его застал какой-то политехник, разругавший этих

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru каннибалов и заставивший их снести больного в больницу. Помнится, я этот случай рассказал в "Письмах из Италии и Франции"... но это не мешает протверживать, чтоб не забывать, что такое образованная парижская буржуазия. (Прим. А. И. Герцена.)

106 ссылку (от франц. deportation).

107 защиты (франц.).

108 единоверцев (от франц. coreligionnaire).

109 свидетельские показания (англ.).

110 скандально (англ.).

111 самохвальства (франц.).

112 по должности (лат.).

113 буквально (франц.).

114 против статьи "Теймса" аббат Roux напечатал "The murderer Barthelemy" ("Убийца Бартелеми" (англ.)).

(Перевод) "Господину редактору "Теймса".

Господин редактор, я только что прочел в сегодняшнем номере Вашей уважаемой газеты о последних минутах несчастного Бартелеми – рассказ, к которому, я мог бы многое прибавить, указав и на большое количество странных неточностей. Но Вы, господин редактор, понимаете, к какой сдержанности обязывает меня мое положение католического священника и духовника заключенного.

Итак, я решил отстраниться от всего, что будет напечатано о последних минутах этого несчастного (и я действительно отказывался отвечать на все вопросы, с которыми ко мне обращались газеты всех направлений); но я не могу обойти молчанием позорящее меня обвинение, которое ловко вкладывают в уста бедного уздика, якобы сказавшего: "что я достаточно воспитан, чтобы не беспокоить его вопросами религии".

Не знаю, говорил ли Бартелеми действительно что-либо подобное и когда он это говорил. Если речь идет о первых трех моих посещениях, то он говорил правду. Я слишком хорошо знал этого человека, чтобы пытаться заговорить с ним о религии, не завоевав прежде его доверия; в противном случае со мной случилось бы то же, что и со всеми другими католическими священниками, посещавшими его до меня. Он не захотел бы меня больше видеть; но, начиная с четвертого посещения, религия являлась предметом наших постоянных бесед. В доказательство этого я желал бы указать на нашу столь оживленную беседу, состоявшуюся в воскресенье вечером, о вечных муках – догмате нашей, или, скорее, его религии, который больше всего угнетал его. Вместе с Вольтером он отказывался верить, что "тот бог, который излил на дни нашей жизни столько благодетелей, по окончании этих дней предаст нас вечным мукам".

Я мог бы привести еще слова, с которыми он обратился ко мне за четверть часа до того, как он взшел на эшафот; но так как эти слова не имели бы иного подтверждения, кроме моего собственного свидетельства, я предпочитаю сослаться на следующее письмо, написанное им в самый день казни, в шесть часов утра, в тот самый миг, когда он спал глубоким сном, по словам Вашего корреспондента:

"Дорогой господин аббат. Сердце мое, прежде чем перестав биться, испытывает потребность выразить Вам свою благодарность за нежную заботу, которую Вы с такой евангельской щедростью проявили по отношению ко мне в течение моих последних дней. Если бы мое обращение было возможно, оно было бы совершено Вами; я говорил Вам: "Я ни во что не верю!" Поверьте, мое неверие вовсе не является следствием сопротивления, вызванного гордыней; я искренне делал все, что мог, пользуясь Вашими добрыми советами; к несчастью, вера не пришла ко мне, а роковой момент близок... Через два часа я познаю тайну смерти. Если я ошибался, и если будущее, ожидающее меня, подтвердит Вашу правоту, то, несмотря на этот суд людской, я не боюсь предстать перед богом, который, в своем бесконечном милосердии, конечно,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
простит мне мои грехи, совершенные в сем мире.

Да, я желал бы разделять Ваши верования, ибо я понимаю, что тот, кто находит убежище в религии, черпает, в момент смерти, силы надежде на другую жизнь, тогда как мне, верующему лишь в вечное уничтожение, приходится в последний час черпать силы в философских рассуждениях, быть может ложных, и в человеческом мужестве.

Еще раз спасибо! и прощайте!

Е. Бартелеми. Ньюгет, 22 янв. 1855, 6 ч. утра.

P. S. Прошу вас передать мою благодарность г. Клиффорду".

Прибавлю к этому письму, что бедный Бартелеми сам заблуждался, или, вернее, пытался ввести меня в заблуждение несколькими фразами, которые были последней уступкой человеческой гордыне. Эти фразы, несомненно, исчезли бы, если бы письмо было написано часом позднее. Нет, Бартелеми не умер неверующим; он поручил мне в минуту смерти объявить, что он прощает всем своим врагам, и просил меня быть около него до той минуты, когда он перестанет жить. Если я держался на некотором расстоянии, - если я остановился на последней ступеньке эшафота, то причина этого известна властям. В конце концов я выполнил, согласно религии, последнюю волю моего несчастного соотечественника. Покидая меня, он сказал мне с выражением, которого я никогда в жизни не забуду: "Молитесь, молитесь, молитесь!" Я горячо молился от всего сердца и надеюсь, что тот, кто объявил, что он родился католиком и что он хотел умереть католиком, вероятно, в последний час испытал одно из тех невыразимых чувств раскаяния, которые очищают душу и открывают ей врата вечной жизни.

Примите, г. редактор, выражение моего глубочайшего уважения.

Аббат Ру. Chapel-house, Cadogane-terrace, янв. 24".

(Прим. А. И. Герцена.)

115 "Не виновен" (англ.).

116 "Здесь танцуют!" (франц.)

117 Закон о заговорах (англ.).

118 "Хлоп, вот идет ласка!" (англ.)

119 "Французский шпион!.." (англ.)

120 "Извозчик! Извозчик!" (от англ cabman.)

121 сплоченная посредственность (англ.).

122 покушения (от франц. attentat).

123 тираноубийство (франц.).

124 Начальник Metropolitan Police. (Прим. А. И. Герцена.)

125 вполне английское слово (англ.).

126 Кажется, так. (Прим. А. И. Герцена.)

127 пристав (франц.).

128 показания свидетелей (франц.).

129 гимнастических упражнений (нем.).

130 Видите ли, вы с жаром едите вашу холодную телятину... а мы хладнокровно съедаем наш горячий бифштекс (франц.).

131 сыскной полиции (англ.).

- 132 резкий (франц.).
- 133 суд присяжных (англ.).
- 134 красного цвета (франц.).
- 135 тайной полиции (франц.).
- 136 Барабанщики! Барабанщики! тревогу бьют они вдали... (англ)
- 137 тише! (от англ. silence.)
- 138 "Это невозможно! Господин иностранец, привлеченный к суду..." (англ.)
- 139 оправдали (от франц. acquitter).
- 140 дело народов (франц.).
- 141 Превосходная статуя Белы в саду Чиани, пусть русские, особенно женщины, сходят взглянуть на нее. (Прим. А. И. Герцена.)
- 142 Новые мучения и новые мученики! - "Ад" (итал.).
- 143 Д-р П. Дараш рассказывал мне случай, бывший с ним самим. Он студентом медицины участвовал в восстании 1831. После взятия Варшавы отряд, в котором он был, перешел границу и небольшими кучками стал пробираться во Францию. Везде по городам и деревням мужчины и женщины выходили на дорогу звать изгнанников к себе, предлагая свои комнаты, часто - свои кровати. В одном небольшом городке хозяйка заметила, что у него изорван (помнится, кисет, и взяла его починить. На другой день на пути Дараш, ощупав в кисете что-то постороннее, нашел в нем тщательно зашитыми два золотых. Дараш, у которого не было ни гроша, бросился назад, чтоб отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знает, потом принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тут надобно вспомнить, что в маленьком немецком городке для небогатой женщины значат два золотых; они составляли, вероятно, плод откладывания в Sparbuchse (копилку (нем..)) разных крейцеров, пфеннигов, хороших и дурных грошей в продолжение нескольких лет... Прощай, все мечты об шелковом платье, о цветной мантилии, о яркой шали. Перед такими подвигами я на коленях! (Прим. А. И. Герцена.)
- 144 истерзанной Варшаве (франц.).
- 145 разумный (франц.).
- 146 "его превосходительству господину нунцию" (франц.).
- 147 Какая удача (франц.).
- 148 Благовоспитанный человек становится старше, но никогда не стареет! (франц.)
- 149 "Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне" - сборник Л. Чернецкого, стр. VIII. (Прим. А. И. Герцена.)
- 150 возрождение (итал.).
- 151 Маццини, Кошут, Ледрю-Роллен, Арнольд Руге, Братиано и Ворцель. (Прим. А. И. Герцена.)
- 152 в душе, про себя (итал.).
- 153 исповедания веры (франц.).
- 154 негласного пайщика (франц.).
- 155 дорогой Герцен (франц.).
- 156 подоходный налог (англ.).

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
157 Итальянская эмиграция выше всякого подозрения.. В французской был один забавный случай. Бароне, о котором была речь в рассказе о дуэли Бартелеми, собрал по поручению Ледрю-Роллена какие-то деньги и прожил их. После этого желание возвратиться в Лондон сильно уменьшилось – и он стал просить разрешения остаться в Марсели. Бильо отвечал, что Бароне как политический человек так безопасен, что мог бы остаться, но что бесчестный поступок его с своей собственной партией показывает, что он не надежный человек – в силу чего он ему отказывает.

Своего рода пальма и тут принадлежит немцам. Они сколотили сборами в Америке и Манчестере, помнится, тысяч двадцать франков. Деньги эти, назначенные для агитации, пропаганды, поддержания процессов и пр., они положили в один из лондонских банков – и избрали распорядителями Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха – трех непримиримых врагов. Те тотчас догадались, какой богатый источник неприятностей друг другу им дан в руки – а потому и поспешили написать в условиях взноса, чтоб банк не выдавал никакой суммы без всех трех подписей. Стоило одному или двум даже подписаться – третий не соглашался. Что ни делало немецкое эмиграционное общество – одной подписи не доставало. Так и лежит сумма нетронутая и поднесь в банке, – вероятно, приданым будущей тевтонской республики. (Прим. А. И. Герцена.)

158 судебные исполнители (от англ. Broker).

159 смертельный удар (франц.).

160 первого этажа (франц.).

161 Бронтомском туберкулезном санатории (англ.).

162 теперь или никогда (читил.).

163 "Сборник типографии", стр. 163 – 164. (Прим. А. И. Герцена.)

164 Стой, путник! Могила героя... (лат.)

165 конец Польше? (лат.)

166 складу (франц.).

167 и менее аристократично (франц.).

168 Шайка поджигателей; буквально, серная шайка (нем).

169 повстанческого (от франц. Insurrection).

170 партизанов (от нем Freischarler).

171 Юпитер (от лат. Fovis).

172 Юнона (от лат. Juno).

173 Вот и покончено с Италией (франц.).

174 елейность (нем.).

175 кельнеров (англ.).

176 поднятия щитов... бряцания мечей (нем.).

177 "Я – человек возможностей" (нем.).

178 высокой комедии (франц.).

179 Дрожайшая Иоганна, ты, ангел мой, так добра – налей мне еще одну чашку превосходного чая, который ты так хорошо приготавливаешь. – Это слишком божественно, дорогой Готфрид, что чай пришелся тебе по вкусу. Налей мне, милый, несколько капель сливок! (нем.)



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
180 паштета из гусяной печени (от франц. *pate de foie gras*).

181 Абсолютно верно! (нем.)

182 В свою очередь, и мне жаль, что я написал эти строки. Вскоре потом бедная женщина бросилась из окна четвертого этажа на каменный ярд; ревность и болезнь в сердце довели ее до этой страшной смерти. (Прим. А. И. Герцена.)

183 показать себя (нем.).

184 практики (нем.).

185 "Церковь и государство" (нем.).

186 что злоупотребили его доверием (франц.).

187 Несмотря на то, что они себе позволяют ужасно много. Для их характеристики расскажу один случай, бывший с Луи Бланом. "Теймс" напечатал, что Луи Блан, бывший членом Временного правительства, истратил "милльона полтора фр. казенных денег" на составление себе партии между работниками. Луи Блан отвечал редакции, что она имеет неверные сведения о нем, что, при пущем желании, он не мог ни украсть, ни истратить полтора милльона фр., потому что во все время его заведования люксембургской комиссией у него не было в распоряжении более 30 000 фр. "Теймс" не поместил его ответа. Луи Блан отправился в редакцию сам и потребовал свидания – с главным издателем. Ему отвечали, что главного издателя вовсе нет, что "Теймс" издается как-то артелью. Луи Блан требовал ответственного артельщика – ему отвечали, что никто лично ни за что не отвечает.

– К кому же, наконец, я должен обратиться, у кого требовать отчет в том, что мое письмо в деле, касающемся до моего доброго имени, не было помещено?

– Здесь, – сказал ему один из чиновников при "Теймсе", – не так, как во Франции, у нас нет ни *gerant responsable* (ответственного редактора (франц.)), ни законного обязательства помещать ответы.

– Решительно нет ответственного редактора? – спросил Луи Блан.

– Нету.

– Очень, очень жаль, – заметил Луи Блан, зло улыбаясь, – что нет главного редактора, а то я непременно надавал бы ему пощечин. Прощайте, господа.

– Good day, Sir, good gay. God b'less you! (Добрый день, сударь, добрый день. Да благословит вас господь! (англ.)) – повторил чиновник при "Теймсе", учтиво и спокойно отворяя двери. (Прим. А. И. Герцена.)

188 высшую школу (нем.).

189 торговцев бумагой, газетами (от англ. *stationer*).

190 Это печатал некто Колачек в одном американском журнале – по поводу второго французского издания "*Du developpement des idees revolutionnaires en Russie*". Пикантное этого состоит в том, что весь текст этой книги был прежде напечатан по-немецки, в "*Deutsche Jahrbucher*", – издаваемых... тем же самым Колачком! (Прим. А. И. Герцена.)

191 подмастерьев (от нем. *Hesell*).

192 раб (лат.).

193 Отсутствие немца на обеде напоминает мне похороны матери Гарибальди. Она умерла в Ницце в 1851 году, друзья ее сына пригласили изгнанников разных стран нести покойницу; в том числе был приглашен и я. Когда мы собрались у сеней дома. оказалось, что приглашенные были: два римлянина (один из них был Орсини), два ломбарда, два неаполитанца, два француза, Хоецкий – поляк и русский. "Господа, – сказал Хоецкий, – заметьте, *L'Europe entiere est representee; meme il manque un Allemand!*" (Европа представлена полностью, нет даже ни одного немца) (франц.)) (Прим. А. И. Герцена.)

194 за и против (лат.).

195 я ни слова тогда не говорил по-английски Бюханан плохо понимал по-французски. Ворцель ему передал мои слова. (Прим. А. И. Герцена.)

196 недоразумение (лат.).

197 порывом благодарности (франц.).

198 я думаю, это ошибка (англ.).

199 потеря (англ.).

200 газетным писакам (от франц. folliculaire).

201 сердечного согласия (франц.).

202 "Моя ссылка в Сибирь" (англ.).

203 "дело г. Герцена" (англ.).

204 дочь полка... по праву завоевания и по праву рождения (франц.).

205 четвероугольник крепостей (от франц. Quadrilatere).

206 освободительной войны (от нем. Befreiungskrieg).

207 ты (нем.).

208 гуляка (нем.).

209 туше (нем.).

210 пивной (от нем. Bierkneip).

211 служанка (нем.).

212 хлеб и зрелище (лат.).

213 годы наслаждения (нем.).

214 чистого мышления и немецких попоек (нем.).

215 "Хороша... но мала. Государь любит большие картины, государь очень умен; бог умнее, но государь еще молод" (нем.).

216 Никто никогда не терпел такой неудачи, как бургомистр Чех. ведь он прострелил подкладку в мундире матери страны (нем.).

217 "Ах, ради неба, оставьте свои глупости и ступайте своей дорогой!" (нем.)

218 то есть в сумерки (от франц. поговорки entre chien et temp).

219 гортанным (от франц. gutturale).

220 в конце концов (франц.).

221 И. Тургенев говорил о Мюллере, что, садясь за закуску, он с опытностью искусного полководца осматривал позицию, и, если находил слабое место, что недостает вина или мяса, он тотчас нападал на него и брал себе двойную порцию. (Прим. А. И. Герцена.)

222 "Бригадир, - ответила Пандора" (искаж. франц. "Brigadir, repondit Pandore")

223 "к оружию!" (искаж. франц. "Aux armes!")

224 "Тьфу, пропасть!" (нем)

- 225 Гуляке (от нем. *Vummler*).
- 226 бараньи котлетки (от франц. *presale*).
- 227 тоски по родине (нем.).
- 228 Здесь: поездку в удешевленном праздничном поезде (франц.)
- 229 остров Уайт (англ.).
- 230 *Die Schwefelbande*. (Прим. А. И. Герцена.)
- 231 из V тома "Былое и думы". (Прим. А. И. Герцена.)
- 232 питейным домам (англ.).
- 233 не простившись (франц.).
- 234 красная (франц.).
- 235 прекрасную отчизну (франц.).
- 236 это привлекает внимание (франц.).
- 237 изгнанный из своего отечества (франц.).
- 238 А, если вы настаиваете... я протестовал по-своему (франц.).
- 239 Да, черт возьми! (франц.).
- 240 великую волну прилива (англ.).
- 241 хирург (англ.).
- 242 великий Жюльен (франц.).
- 243 пригородами (от англ. *suburb*).
- 244 ее величества (англ.).
- 245 с листа (франц.).
- 246 танец цветка и бабочки (англ.).
- 247 гостиной (англ.).
- 248 кружку (от англ. *Chope*).
- 249 Дорогой доктор (франц.).
- 250 малому не повезло в Лондоне, ему приходится очень плохо (нем.).
- 251 судейской (от франц. *parquet*).
- 252 усидчивостью (нем.).
- 253 Господин N. N. учит французскому языку по новой и легкой методе быстрого усвоения, занимался с членами британского парламента и со многими уважаемыми лицами, как удостоверяют свидетельства, переводит и объясняет этот всемирный язык, и по-английски, удивительным образом. Цены умеренные: три урока в неделю - шесть шиллингов (искаж. англ.).
- 254 Вы - учитель французского языка?.. Вы мне не подходите (искаж. франц.).
- 255 юрист (от франц *legist*)
- 256 единомышленникам (от франц *coreligionnaire*).

- 257 общественным бедствием (франц)
- 258 говорить, доказывать (от франц plaider)
- 259 Привет и братство! (франц)
- 260 "Шамбертен (из лучших вин и очень редкое). Кот-рота (Комета). Помар (1823). Ньюи (из погребов Агвадо!)" (франц)
- 261 болеутоляющей (от франц. sedatif).
- 262 монета в 25 су (франц.).
- 263 из ряда вон (франц.).
- 264 как говорит Шиллер (нем.).
- 265 граф (нем.).
- 266 Господин, я – галл, изгнанный из своего отечества за дело свободы народа. Мне нечего есть, если можешь что-нибудь для меня сделать, к радуюсь, сердце мое возрадуется. Среда 15 мая 1859 (лат.).
- 267 бегать по урокам (франц.).
- 268 в крайнем случае (итал.).
- 269 есть что-то подозрительное (франц.)
- 270 будущей и всемирной (франц.).
- 271 священную дорогу (лат.).
- 272 сбор пожертвований (от франц. collecte).
- 273 русский офицер Стремоухов (англ.).
- 274 поезд (франц.).
- 275 его преподобию (англ.).
- 276 но какое дело до этого барону фон Бруннову! (нем.).
- 277 ложной стыдливости (франц).
- 278 за кражу со взломом (франц.).
- 279 чувство чести (франц.).
- 280 рекомендация (франц.).
- 281 выкладывайте! (нем.)
- 282 в курсе (франц.).
- 283 Сегодня мы – те же, что были вчера, пойдем завтракать! (франц.)
- 284 Очень хорошо! (нем.).
- 285 Заприте весь мир, но откройте Бедлам, и вы, может, удивитесь; найдя, что все идет тем же путем, что и при "soi-disant" <так называемых (франц.)> нормальных людях; это я безо всякого сомнения мог бы. доказать, если бы у человечества была хоть капля здравого смысла, но до того времени, пока этот point d'appui <точка опоры (франц.)> найдется, увы, я, как Архимед, оставляю землю такой, как она есть. Байрон, Дон-Жуан.)
- 286 При этом не могу не вспомнить тот же голубой взгляд детства под седыми

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
бровями Лелевеля. (Прим. А. И. Герцена)

287 скорбящую мать (лат.).

288 Ассоциации общественных наук (англ.).

289 защиты (франц.).

290 Известный по делу Орсини. (Прим. А. И. Герцена.)

291 и все было кончено (англ.).

292 вихрем (нем.).

293 Бесплезная жизнь – это ранняя смерть (нем.).

294 звездные (от франц. Sideral).

295 один экс-торговец холстом (англ.).

296 фурье начал с того, что был сидельцем в суконной лавке своего отца; Прудон – сын безансонского крестьянина. какое подлое начало социализма! От таких ли полубогов и полуразбойников ведут; начало династии? (Прим. А. И. Герцена.)

297 он не был мучеником, но отверженным! (англ.).

298 "Опыт изменить сумасшедший дом общественного устройства в рациональный", (Прим. А. И. Герцена.)

299 когда он разбивает цепь (нем.).

300 обычном праве (англ.).

301 законе неприкосновенности личности (лат.).

302 В нынешнем году мирный судья Темпл не принял показания одной женщины из Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной форме, говоря, что не верит в наказания на том свете. Тре-лонэ (сын известного приятеля Байрона и Шеллея); спрашивал 12 февраля в парламенте министра внутренних дел, какие меры он предполагает взять в отстранение таких отводов. Министр отвечал, что никаких. Подобные случаи повторялись много раз, например, с известным публицистом Голиоком. Лгать присягой делается необходимостью. (Прим. А. И. Герцена.)

303 сумасшедший дом (англ.).

304 как способ выражения (франц.).

305 поперечный проход (от франц. Trancept).

306 по праву рождения (франц.).

307 достижения (нем.).

308 Нет той логической абстракции, нет того собирательного имени, нет того неизвестного начала или неисследованной причины, которая не побывала бы, хоть на короткое время, божеством или святыней. Иконоборцы рационализма, сильно ратующие против кумиров, с удивлением видят, что по мере того, как они сбрасывают одних с пьедесталей, на них являются другие. А по большей части они и не удивляются, потому ли, что вовсе не замечают, или сами их принимают за истинных богов.

Естествоиспытатели, хвастающиеся своим материализмом, толкуют о каких-то вперед задуманных планах природы, о ее целях и ловком избрании средств; ничего не поймешь, как будто *natura sic voluit* (так захотела природа (лат.)) яснее *fiat lux* <да будет свет (лат.)>? Это фатализм в третьей степени, в кубе; на первой кипит кровь Януария, на второй орошаются поля дождем по молитве, на третьей – открываются тайные замыслы химического процесса, хвалятся экономические способности жизненной силы, заготавливающей желтки для зародышей, и т. п. Как ни смешны протестантские статьи, издающиеся над кипением крови св. Януария,

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru помещаемые рядом с молитвами архиереев о снабжении такой-то страны дождем или засухой, – как будто кипятить кровь в католической склянке труднее для бега, чем мочить и сушить по надобности протестантские поля, – но тут иной раз проглядывает наивная глупость, и потому они ничего не значат в сравнении с благочестивой риторикой, которую мы беспрестанно находим в физиологических или геологических лекциях и трактатах, в которых естествоиспытатель с умилением толкует о благодати провидения, снабдившего птиц крыльями, без которых бедняжки бы попадали и расшиблись в прах, и проч. (Прим. А. И. Герцена.)

309 старую лавку. Здесь: церковь (англ.).

310 по-детски (франц.).

311 стой, путник! (лат.)

312 друг мой (итал.).

313 отверженный (англ.).

314 общественных благах (лат.).

315 Равенство. Свобода. всеобщее благоденствие (франц.).

316 Или смерть! (франц.)

317 отсутствие гражданских добродетелей (франц.).

318 "Каждый гражданин будет от администрации *loge nourri, habille et amuse*" (укрыт, накормлен, одет и утешен (франц.)). (Прим. А. И. Герцена.)

319 Здесь: скудным образом (франц.)

320 она имеет жемчуга и алмазы (нем).

321 в изображении (лат).

322 повстанческий (франц.)

323 С легкой руки Оуэна начали в Англии развиваться кооперативные рабочие ассоциации; их считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бедно 15 лет тому назад, с капиталом в двадцать восемь ливров, строит теперь на общественные деньги фабрику с двумя машинами, каждая в шестьдесят сил, и которая им стоит за тридцать тысяч фунтов. Кооперативные общества печатают журнал "The Cooperator", который издается исключительно рабочими (Прим А И Герцена)

324 это маленькая победа (франц.).

325 Это обещало много (франц.).

326 набором в армию (от лат *conscriptio*).

327 Не из наших ли законов взял Гракх Бабёф это развлечение? Когда в коллегии нет дела, члены должны читать законы! (Прим. А. И. Герцена.)

328 делай то, что должно, а будет то, что будет (франц.).

329 природа так захотела (лат).

330 постепенно (франц.).

331 Теологи отважнее доктринеров вообще; они прямо говорят, что без воли божией не падет волос с головы, а ответственность за каждое действие, даже за помысел, оставляют на человеке. Ученый фатализм утверждает, что у них и речи нет о личностях, о случайных носителях идеи... (то есть речи нет о нашем брате, обыкновенном человеке, а что касается до таких личностей, как Александр Македонский или Петр I, – нам уши прожужжали их всемирно историческим призванием). Доктринеры, видите, как большие господа, – хозяйством истории распоряжаются *en gros* (в общих чертах (франц.)), гуртом... но где граница стада

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru и личностей, где несколько зерен-то, как спрашивали мои милые афинские софисты, – становятся кучей?

Само собою разумеется, что мы никогда не смешивали предопределений с теорией вероятностей, мы вправе наведением делать посылки от прошедшего к будущему. Делая индукцию, мы знаем, что делаем, основываясь на постоянстве некоторых-законов и явлений, но допуская также и нарушения. Мы видим человека тридцати лет и имеем полное право предполагать, что через другие тридцать лет он будет сед или плешив, несколько сгорбится и проч. Это не значит, что его назначение сесть, плешиветь, сгорбится, что ему это на роду написано. Умри он тридцати пяти лет, он не будет сесть, а пойдет "на замазку", как говорит Гамлет, – или на салат. (Прим. А. И. Герцена.)

332 тайной мыслью (франц.).

333 непорочный (от франц *innocente*).

334 всегда одно и то же (лат.).

335 не имеет успеха (от франц. *Avorter*).

336 Статья эта назначена была для "Полярной звезды", но "Полярная звезда" не выйдет в нынешнем году; а в "Колоколе", благодаря террору, наложившему печать молчания на большую часть наших корреспондентов, довольно места для нее и еще для двух-трех статей. (Прим. А. И. Герцена.)

*Camiscia rossa* – красная рубашка (итал.).

337 трехсотлетия (англ.).

338 поклонение героям (англ.).

339 я прошу позволение дюков называть дюками, а не герцогами. Во-первых, оно правильнее, а во-вторых, одним немецким словом меньше в русском языке. *Autant depris sur le Deutchtum* (Все-таки победа над немецким духом (франц.)). (Прим. А. И. Герцена)

340 Здесь: высшее духовенство (англ.).

341 трубочист (англ.).

342 каторжный труд (англ.)

343 "Полярная звезда", кн. V, "Былое и думы". (Прим. А. И. Герцена.)

344 Там же. (Прим. А. И. Герцена.)

345 отряд (итал.).

346 в ненапечатанной части "Былое и думы" обед этот рассказан. (Прим. А. И. Герцена.)

347 Квартира Стансфильда. (Прим. А. И. Герцена.)

348 авансом (франц.).

349 пророка-царя (лат.).

350 всерьез (франц).

351 курительную комнату (англ.).

352 изречение (от итал. *motto*).

353 ночной звонок (англ.).

354 Потому что я глупый немец (нем.).

Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
355 великолепный малый! (нем.)

356 я подумал про себя: этот что-нибудь посоветует (нем.).

357 черт возьми! вот так идея – прямо великолепно (нем.).

358 доброй ночи.

– спите спокойно (нем.).

359 Гарибальди – освободитель! (франц.)

360 я помню один процесс кражи часов и две три драки с ирландцами (Прим А и Герцена)

361 карманные воришки (от англ. pickpocket)

362 добро пожаловать! (англ)

363 поймите (итал.).

364 Ее захлестнуло (франц.).

365 кабриолет (от англ. hansom).

366 Не странно ли, что Гарибальди в оценке своей шлезвиггольш-тинского вопроса встретился с К Фогтом? (Прим. А. И. Герцена)

367 Господь да благословит вас, Гарибальди! (англ.)

368 Мы знаем, что знаем (нем.).

369 "Колокол", No 177 (1864). (Прим. А. И. Герцена.)

370 сосредоточенного (франц.).

371 Бог да благословит вас, Гарибальди, навсегда (англ.).

372 старый портвейн, "Три звездочки" (англ.).

373 наш создатель (англ.).

374 как будто Гарибальди просил денег для себя. Разумеется, он отказался от приданого английской аристократии, данного на таких нелепых условиях, к крайнему огорчению полицейских журналов, рассчитавших грош в грош, сколько он увезет на Капреру. (Прим. А. И. Герцена.)

375 я – римский гражданин! (лат.).

376 генерала от переворота (от нем Umwälzungs).

377 заранее подготовленная проделка (франц.).

378 в общем (франц.).

379 выдающейся личностью (франц.).

380 знать и дворянство (англ.)

381 большое вставание (франц.).

382 Достопочтенный такой-то и такой-то – почтенный – эсквайр – леди эсквайр – его милость – мисс – эсквайр – член парламента – член парламента член парламента (англ.); m. p. – член парламента (от англ. Member of Parliament).

383 конногвардейцев (англ.).

384 Мы не заботимся о неизвестном завтрашнем дне (итал.).



Былое и думы (Часть 6). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!